Новый Журнал

XLI

THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

Книга 36-я. Содержание: ПРОЗА: Гайто Газданов — Пилигримы. *Борис Зайцев* — Чехов. *Галина Кузнецова* — Поцелуй свиданья. *Т. Петровская* — Интеллигенция. *СТИХИ:* В. Злобина, В. Корвин-Пиотровского, С. Маковского, Н. Моршена, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, М. Толстой. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов* — После Бунина. *А.* и *Т. Фесенко* — Язык войны и послевоенного периода. *В. Седуро* — Истоки белорусского искусства. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Бердяев* — Выдержки из писем к г-же Х. *Ф. Степун* — Россия накануне войны 1914 года. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов* — Ранние годы Ленина. *Е. Двойченко-Маркова* — Американское Философское общество и Россия. *Д. Анин* — Перспективы и внутренние противоречия большевизма. *Н. Бурназельский* — Хартия вольностей. *Д. Далин* — Американская политика и Россия. *ПАМЯТИ УШЕДШИХ: М. Вишняк* — Памяти друга, *С. Васильев* — В. М. Зензинов, *Н. Калашников* — Из воспоминаний о В. М. Зензинове. *БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Андреев* — G. Vernadsky. The Mongol and Russia. *М. Карпович* — L. C. Stevens. Russian Assignment. *М. Вишняк* — I. Steinberg. In the Workshop of the Revolution. *Ю. Денике* — Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». *Прот. А. Шмеман* — «Православная мысль». *Роман Гуль* — И. Елагин «По дороге оттуда».

КНИГА 37-я. Содержание: ПРОЗА: Б. Зайцев — Чехов. *П. Ершов* — Нинель. *В. Набоков* — Другие берега. *СТИХИ:* В. Брюсова, Л. Алексеевой, Н. Бернера, З. Гиппиус, В. Злобина, Н. Моршена, И. Одоевцевой. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Роман Гуль* — Цветаева и ее проза. *Н. Ульянов* — Еще об историческом романе. *Ю. Елагин* — Мейерхольд и Коммиссаржевская. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Ф. Степун* — В русской провинции. *М. Вишняк* — З. Н. Гиппиус в письмах. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов* — Ленин в Симбирске. *Г. Аронсон* — Е. Д. Кускова. *Н. Лосский* — Какой идеал противопоставить коммунизму? *М. Карпович* — Комментарии. *СООБЩЕНИЯ И ФАКТЫ: А. Давыдов* — «Государственные банкиры». *Подп. В. Ершов* — Работа НКВД в госпиталях во время войны. *БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Струве* — Чехов в советской цензуре. *Б. Гершун* — Courts, Lawyers, and Trials under the last three Tzars by S. Kucherov. *В. Р.* The Secret History of Stalin's Crimes by A. Orlov. *С. Петров* — Н. Клюев. Плач о Есенине. *М. Г. Э. Бок.* Как я стал американцем.

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Четырнадцатый год издания

Кн.
XLI
1955

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

NEW REVIEW, June 1955.
Quarterly, No. 41.
223 *West* 105*th St. New York* 25, *N. Y.*
Publisher: New Review, Inc.
Subscription Price $7. — *for one year.*
Second Class Mail Privileges authorized at
New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

М. Алданов — Бред 5
В. Бондаренко — Исигона 53
С. Юрасов — Страх 68

СТИХИ:

Ив. Елагина (93), *Вл. Злобина* (94), *А. Величковского* (97, 175), *А. Браиловского* (98), *И. Одоевцевой* (99), *И. Легкой* (100), *Ек. Таубер* (67, 102), *Вл. Корвин-Пиотровского* (136), *Ю. Трубецкого* (52, 121).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. Варшавский — Незамеченное поколение 103
А. К—й — О Качалове 122

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Т. Манухина — Мать Мария 137
Евг. Жуков — Последние дни Дахау 158

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Валентинов — Ранние годы Ленина 176
С. Левицкий — Вл. Соловьев и Достоевский 197
Ю. Марголин — Проблема еврейского национализма 210
М. Вишняк — Право убежища 224
В. Годин — Проблемы и внутренние противоречия послесталинского большевизма 246
М. Карпович — Комментарии 260

БИБЛИОГРАФИЯ:

Д. Чижевский — Три книги о Гоголе. *А. К.* — Н. Н. Евреинов. История русского театра. *П. Фатьянов* — S. de Beauvoir. Les Mandarins. *М. Коряков* — E. Lermolo. Face of Victim. *Роман Гуль* — N. Voinov. The Waif, Андрей Седых. Только о людях, Л. А. Коварская. Русские писатели. *М. Вишняк* — Max Eastman. Reflection on the Failure of Socialism. *Ек. Таубер* — А. Шиманская. Новолунье 277

БРЕД*

XXI

Шелль был дома и пригласил полковника встретиться с ним у Квадри в половине седьмого. Хотел было пригласить его на обед, но раздумал: теперь обедал с Наташей в маленьком недурном ресторане — не на площади святого Марка и не на Большом канале. Наташа говорила, что этот ресторан очень живописен; на самом деле не могла привыкнуть к тому, что они на обед в гостинице тратят по семь-восемь тысяч лир.

— Вы, конечно, знаете, где Квадри?

— Я старый венецианец, — ответил, смеясь, полковник. «Другой назначил бы мне свидание где-нибудь на верхушке Кампаниллы, они все обожают конспирацию», — подумал он, выходя из телефонной будки. — «Значит, за ним слежки нет. Я за собой тоже не замечал. Кажется, обрадовался встрече со мной. У него, быть может, и предложений труда теперь гораздо меньше чем бывало, и он чувствует себя, как на благотворительных базарах стареющая дама, к которой больше не подходят покупатели».

В это утро Эдда была показана Рамону. Она очень хорошо, в самом неправдоподобном наряде, прошла мимо Флориана и бросила на них высокомерный взгляд. «Лучше и желать нельзя!» — подумал Шелль. Он толкнул богача.

— Не узнаете? — спросил он, когда Эдда отошла. — Это знаменитая артистка, вы верно ее видели на экране.

---

* См. кн. 38, 39 и 40 «Нов. Журн.».

Copyright 1955, by "New Review Inc." All rights reserved.

— Никогда не видел. Кто такая? — спросил Рамон, очень заинтересованный пышной женщиной. Шелль назвал настоящую фамилию Эдды, или ту, которую она объявляла настоящей. Риска не было: Рамон никого и ничего не знал.

— Вы ее пригласили ко мне на праздник?

— Нет, еще не приглашал, но могу пригласить. Вы подаете хорошую мысль, — сказал Шелль. «Кажется, клюнуло», — с удовлетворением подумал он.

— Сегодня же ее разыщите, — сказал Рамон и поправился, зная, что Шелль не любит повелительных наклонений: — Пожалуйста, попросите секретаршу найти ее. Она не в нашей гостинице, я ее у нас не видел, уж я обратил бы на нее внимание.

Днем Шелль доложил ему, что Эдду разыскать не удалось, но ее берлинский адрес установлен, и ей посылается приглашение.

— Как же не удалось! — возмущенно спросил Рамон. — Я желаю ее видеть!

— Мало чего вы желаете! — ответил Шелль с обиженным видом человека, подающего аппелляционную жалобу на несправедливое решение суда. — Она верно была здесь лишь несколько часов проездом. Но если вы так хотите с ней познакомиться, то ей можно предложить роль в спектакле. Я вас понимаю, она очень красива, именно в вашем Рубенсовском вкусе... Послушайте! — сказал он, хлопнув себя по лбу (вышло недурно). — Что, если именно ей предложить роль догарессы! В ее внешности есть что-то венецианское.

— Я именно это имел в виду.

— Это будет стоить довольно дорого. Думаю, что меньше, чем за три тысячи долларов, она не приедет.

— Предложите ей пять тысяч, но чтобы она была здесь!

На этот раз Шелль не счел нужным обидеться. Независимость уже проявил, а слишком часто раздражать Рамона было бы рискованно. И главное, цифра была приятной неожиданностью. Он и не думал брать себе комиссию с этих

денег. Однако при такой оплате было легко навсегда освободиться от Эдды.

— Будет сделано, — примирительно сказал он.

— ...Так Майков не кончил самоубийством? — спросил Шелль.

Полковник развел руками.

— Не знаю. Мне только известно, что он умер. Почему вы думаете?

— Просто предположение.

— Оно очень возможно.

— А может быть, рак простаты?

— Почему рак простаты?

— Или просто он задохнулся в советской атмосфере. — Шелль хотел было сказать о рыбах, задыхающихся в Мертвом море, но вспомнил, что уже это говорил .

— Как вы можете тут делать какие бы то ни было предположения?

— Ололиукви помогло.

Полковник смотрел на него удивленно.

— Не понимаю. Это, кажется, то ваше снадобье? Сотворное?

— О, нет, не снотворное. Между бредом и сном очень мало общего. Да и бред от этого снадобья особенный. Он вначале почти разумен и логичен, всё часто освещается по новому, всё ясно, проникаешь даже и в чужую душу. Потом начинаются заскоки, тоже промежуточные, прогрессирующие, с прорывами в бессмыслицу. Кончается обычно полной ерундой, особенно когда *хочешь* прийти в себя... Неужели у вас никогда не было такого чувства: сейчас увижу то, чего другие не видят!

— Не было, — сухо ответил полковник. — Я никаких снадобий не принимаю... Я хотел поговорить с вами о вашей дальнейшей работе. Прежде всего искренно благодарю вас за ту даму.

— Она оказалась полезной?

— Более или менее.

— Ее карьера устроилась, — сообщил весело Шелль и рассказал о Празднике Красоты.

— Если б вы здесь пробыли некоторое время, я послал бы вам приглашенье. У вас наверное есть с собой фрак или смокинг? Теперь и к английской королеве можно, кажется, приходить во фланелевом пиджачке, но к нам нельзя. Я буду в маскарадном костюме. Я изображаю одного из телохранителей дожа.

— Одного из телохранителей дожа, — повторил полковник, слушавший внимательно, как всегда, но с всё росшим удивлением. — Извините меня, вы уверены, что вы здоровы?

— Совершенно уверен. Маскарад очень приятное развлеченье. Там вы увидели бы и Эдду.

— Мне она больше не нужна. А вот для вас я скоро буду иметь дело.

— Спасибо, но едва ли я могу быть вам полезен, — сказал Шелль и вынул чековую книжку, предвкушая эффект. — Так как наше дело не состоялось, то позвольте вернуть вам ваши две тысячи долларов. Я их получил в швейцарских франках и в швейцарских же франках вам возвращаю: восемь тысяч пятьсот сорок франков, так? — небрежно спросил он.

— Позвольте... Это не к спеху. В том, что дело отпало за смертью Майкова, никакой вашей вины нет.

— И вашей тоже нет.

— Но я не отказываюсь от работы с вами в дальнейшем. Разве *вы* отказываетесь? Или вы мною недовольны?

— Нисколько. Просто я не привык получать деньги даром. Если вы помните, я вам говорил, что, быть может, брошу разведочную работу. Тогда я всего вам не сказал. Видите ли, я женился, — сказал Шелль, хотя решил было этого не говорить.

— Женились?

— Да. Женился.

Полковник вдруг расхохотался. Это случалось с ним не часто.

— Поздравляю вас!.. Искренно поздравляю... Желаю счастья.

— Спасибо. А почему вы развеселились, если смею спросить?

— Пожалуйста, извините меня... Видите ли, я всё не мог понять, что вы за человек... Вы ведь и на виолончели играете!.. Теперь это понятнее. Быть может, вы пошли в разведку, чтобы устроить себе необыкновенную жизнь, а вдруг ваша жизнь станет обыкновенной? Если вы «раскаялись», то в вас раскаялось, так сказать, виолончельное начало.

— Очень может быть, — холодно ответил Шелль.

— Позвольте выпить за ваше счастье этого зеленовато-желтого вина, почему-то называемого белым.

Они выпили еще по бокалу. Шелль взглянул на часы.

— Вы спешите?

— У меня есть немного времени... Вы, очевидно, прежде считали меня авантюристом по природе?

— Не в худом смысле. Но ведь у вас в самом деле было немало авантюр. Если позволите сказать откровенно, я думал, что вас в жизни интересуют только авантюры, женщины и деньги.

— Да ведь это очень много. Всё же, можно пройти через большое число авантюр, не будучи авантюристом. По природе люди авантюристами бывают редко, их создают обстоятельства. В СССР, например, авантюристами могут быть только сановники... В былые времена я избрал бы карьеру военного.

— Вы ведь и были летчиком в пору гражданской войны в Испании. Кажется, в лагере республиканцев?

— Так точно. Они платили иностранным летчикам огромные жалованья.

— Отчего же вы лучше не служили в русской армии? Впрочем, я забыл, что вы не русский, а аргентинец.

— Я не русский ни по паспорту, ни по крови. И у меня были очень серьезные причины не служить советскому правительству. Кроме того, когда я был молод, советская армия была еще очень слаба, а я слабых не люблю... В былые вре-

мена еще была карьера для людей, любящих авантюры, хорошая, быстрая, никаких достоинств и дарований от человека не требовавшая: революция. Но ее в наше время монополизировали коммунисты, а я их ненавижу. Теперь мне делать нечего.

— У вас *есть* однако интересное дело.

— Вы его считаете интересным? Правда, вы в нем, так сказать, поэт. Странно: в разведке трудно не стать циником и мизантропом, а вы циник и мизантроп лишь в меру, в очень небольшую меру.

— Я даже совсем не циник и не мизантроп.

— И еще удивительно: вы не болтун. Как ни странно, у нас огромное множество болтунов.

— Это, к сожалению, верно, — сказал полковник. «Ты первый», — подумал он. — Так, так... Я надеюсь, что на службу к нашим противникам вы ни в каком случае не пойдете?

— В этом вы можете быть совершенно уверены. Кажется, какой-то из английских королей шантажировал папу Александра тем, что грозил принять мусульманскую веру. Я в большевистскую веру не перейду. Если во мне есть хоть что-либо подлинное, то это ненависть к ней... Еше не знаю, что буду делать. Теперь самая опасная из профессий это быть летчиком, пробующим новые аэропланы.

«Ох, вечно рисуется! И храбростью, и цитатами», — с досадой подумал полковник.

— Сильные страсти исчезают у людей с годами или, так сказать, приходят в коллоидальное состояние, — сказал он, и в его тоне скользнула насмешка.

— Да, вы правы. Я не так стар, как вы, но тоже немолод, и мне надоело рисковать жизнью. А от всего связанного с политикой, я буду всячески сторониться. Мне нынешнее положение в мире напоминает тот бессмысленный хаос, который бывает в конце старых комических фильмов, когда все куда-то бегут, кого-то толкают, что-то опрокидывают. Публика хохочет, хотя смешного ровно ничего нет. Так теперь и в мире.

— Не вижу этого. А смешного действительно мало... Так

вы выходите в отставку? Собственно, женитьба для отставки не причина.

— Я женился на барышне, у которой нет ни души родных, и я ее надолго оставлять не могу. Вы, конечно, предположили, что она богата. У нее нет ни гроша.

— Но если вы небогаты, то тем более, зачем же вам покидать службу и возвращать мне аванс? Я думал, всё-таки, что вы любите наше ремесло.

— Терпеть не могу.

— Да, вы мне это сказали. Но люди часто так говорят. Спросите знаменитых писателей, журналистов, политических деятелей. Они вам скажут, что проклинают день и час, когда избрали свое занятие.

— Не все. Людовик XIV говорил: «mon délicieux métier de Roy...» Вы служите своей стране, а я служил тем, кто больше давал.

— Вы слишком часто говорите такие вещи, для того, чтобы они были правдой. Полной правдой... А я и в разведке знавал бессребренников.

— Вам, значит, повезло, я таких ни в каком деле не знал. Во всяком случае я сам отнюдь не бессребренник. Я люблю то, что дают деньги: «красивую жизнь», как часто иронизируют. Вернее, не столь люблю красивую, сколь ненавижу некрасивую, жизнь бедняков. Большевики, быть может, и погибнут оттого, что они дают своим людям мало красивой жизни. По моему, вам следовало бы тратить миллиарды на подкуп государственных людей во враждебных государствах, это было бы далеко не самым непроизводительным из ваших расходов.

— Так и воевать было бы легко: подкупили вражеского главнокомандующего, вот победа и обеспечена, правда? Только я таких случаев в военной истории что-то не помню, — ответил полковник. «Он и в разведку верно пошел отчасти для красивой жизни. И наружность у него такая. Кажется, во французской армии при каком-то из Людовиков был установлен приз за воинственную наружность. Я ему присудил бы, и он был бы очень доволен. Будь он среднего роста, вся его

жизнь, быть может, сложилась бы иначе. О таких, как он, говорят: «похож на хищную птицу». На птицу нисколько не похож, а что-то хищное в его наружности есть, особенно в профиль». — Вы не очень понятный мне человек.

— Ничего непонятного. Я человек без рода и племени, вечный повсеместный «sale étranger». И вдобавок предельный эгоист, «со всех сторон окруженный самим собой», как говорил Тургенев. Точнее я *был* таким. А выбор ведь у нас почти у всех ограниченный. Когда человек молод, его жизнь чаще всего отравляет бедность. Когда он стар, ему нет большой радости и от денег. А у меня вкусы менялись. Ребенком я мечтал о том, чтобы стать приказчиком в кондитерской, потом хотел стать шофером, еще позднее военным. Теперь же мечтаю о тихой спокойной жизни.

— Да уж будто вы вправду к нашему делу не вернетесь? Французы говорят: «кто пил, тот и будет пить».

— Нет, я рецидивистом не стану. Я боксер-тяжеловес, достигший предельного возраста.

— Да им-то верно до самой смерти по ночам снится ринг.

— Однако они на ринг не возвращаются.

— Чем же вы думаете заняться?

— Праздностью. Это самое лучшее занятие.

— Недурное, — сказал неуверенно полковник, вспомнив о своем доме в Коннектикуте. — Куда же вы теперь собираетесь с женой?

— Поселимся где-нибудь в Италии, — ответил Шелль. Ему не хотелось сообщать о покупке виллы.

— Тут на море есть чудесные уголки и недорогие.

— Может быть, и тут. Хотя я не люблю моря. Несмотря на мою любовь к авантюрам, я ни одного романа Конрада дочитать не мог. Буду читать книги, мемуары, биографии, это мое любимое чтение. Немного любознательности у меня всё-же еще осталось. Когда я был мальчиком, чуть не плакал, что не видел и никогда не увижу Наполеона! — сказал он, засмеявшись. — Так получите деньги.

— Спасибо, — сказал полковник, бегло взглянув на чек. «Надеюсь, что с покрытием». — Я очень сожалею. Добавлю, что в подобных обстоятельствах не все вернули бы аванс. Очень ценю.

Они помолчали, с любопытством глядя друг на друга. Взгляд полковника снова остановился на руках Шелля: «*всё-таки* это руки убийцы», — подумал полковник. — «Верно больше никогда в жизни его не встречу», — с неожиданным сожалением подумал Шелль. «А наш разговор с ним — вроде тех, какими часто заканчиваются детективные романы: гениальный сыщик после поимки преступника «за бутылкой вина» рассказывает своему другу, как он всё раскрыл. А то читатель романа и не понял бы. Если же рассказать раньше, то пропал бы эффект».

— Не знаю, удастся ли это, но я хотел бы остаток жизни прожить просто как рантье. Верно приятная жизнь. Французские буржуа мудрые люди.

— Ничего не будете делать до конца жизни?

— Отчего же нет? Много ли осталось? Месяц моей жизни надо считать за год. Успею подготовиться. По-моему, не надо умирать скоропостижно: нужно подумать о смерти как следует.

— Дело вкуса. И это хорошо говорить в сорок лет, — сказал с неудовольствием полковник и допил вино. Шелль опять посмотрел на часы.

— Теперь позвольте вас покинуть, меня ждет жена.

— Тогда не смею задерживать. Еще раз поздравляю... А если передумаете, мы всегда будем к вашим услугам, — сказал полковник, крепко пожимая ему руку, на этот раз без всякой брезгливости. «Один из интересных номеров в моей коллекции, виолончелист», — подумал он. «Помнится, Джим говорил, будто кто-то о ком-то сказал: «Он был оригинален, хотя и очень хотел стать им».

XXII

— ...Постой, я угощу тебя шампанским, — сказал полковник. «Уж если и шампанское Джима не утешит, то видно в самом деле плохо дело», — подумал он. «Dostoievsky mood, просто беда». Джим продолжал свой монолог:

— ...В сущности, и пользы от вашей работы очень мало. В пору войны величайшая армада в истории прошла через Атлантический океан и произвела десант, а Гитлер об этом ничего не знал. В 1939-ом году Франция и Англия не имели ни малейшего понятия о военной мощи Германии. В 1941-ом году Германия не имела ни малейшего понятия о военной мощи России, а Сталин не знал, что немцы собираются на него напасть. Между тем все они тратили сотни миллионов на разведку! Так и теперь. Что вам могут сообщать ваши агенты с той стороны Железного Занавеса? Их сведения либо верны и не имеют никакого значения, либо имели бы значение, но неверны...

— Не говори о том, чего ты не знаешь, — сердито перебил его полковник. — Теперь самое главное это знать, твердо знать, что делается там. И потому, хотя это звучит нескромно и парадоксально, та деятельность, которой я занимаюсь, сейчас самая полезная в мире.

— Вы доставляли, конечно, в Вашингтон множество сведений о советских атомных бомбах. Однако президент Труман не так давно сказал, что ему неизвестно, существуют ли в России атомные бомбы или нет. Вот вам теперь удалось одно дело, доставили куда надо важную дезинформацию и радуетесь. А десять других дел не удаются, только даром выбрасываете наши деньги налогоплательщиков. Да и то, что удается, тотчас уравновешивается *их* делами, почти всё взаимно нейтрализуется. Мало того, они тут всегда будут иметь огромное преимущество перед вами, так как они ни перед чем не останавливаются, а у вас есть моральные границы, которых вы не переходите. Всё, что делает их разведка, наверное сплошное преступление, и это их нимало не беспокоит. А из того, что делает наша разведка, преступна, скажем, только четверть, и

есть вещи, каких вы вообще делать не можете и не хотите. Значит, все преимущества a priori на их стороне... Вы сердитесь, дядя, это плохой признак. Да и так ли нужна та «правда», которую будто бы вам доставляют ваши агенты? Тайна была бы некоторой, разумеется очень слабой, гарантией против войны. Страх перед неведомым был бы сдерживающим началом.

— Преступники тоже ведут борьбу с полицией и тоже, в отличие от нее, ни перед чем не останавливаются, тем не менее работа полиции бывает успешна. Большевики при помощи своих шпионов получили о наших атомных вооружениях очень ценные для них сведения. Мы были бы совершенными дураками, если б не делали того же, что делают они. Это было бы просто преступлением против родины. Предложи Кремлю, чтоб *он* прекратил шпионаж.

— Я знаю, это сильный, даже неотразимый, довод, — сказал грустно Джим. — Предлагать большевикам что бы то ни было путное бесполезно, хотя бы потому, что они обещают и всё равно не выполнят. Однако едва ли и вы тут можете искренно желать соглашенья: если б они пошли на соглашенье, то вам было бы решительно нечего делать и вся ваша жизнь оказалась бы ошибкой.

— Об этом, пожалуйста, не беспокойся. И наше правительство менее всего считалось бы с этим.

— Пользы от вашей работы очень мало, а вред большой. Если когда-нибудь начнется третья война, то она произойдет скорее всего из-за какого-нибудь инцидента, созданного разведкой, или из-за неверных сведений, которые она кому-нибудь даст. Судьбы мира зависят от пяти или шести полковников на земле! Быть может, один из них сообщит своему правительству, что противник очень слаб, и его правительство начнет наступательную войну. Быть может, он сообщит, что противник скоро станет слишком могущественным, и правительство начнет превентивную войну. Для меня теперь разведочное дело символ мирового зла, в нем кристаллизуется вся эта проклятая холодная война! — сказал Джим и успокоился: отвел душу.

— Очень тебе благодарен. Я этим делом занимаюсь всю жизнь. Оно кстати позволило мне дать тебе образование.

— Я этого не забываю, дядя, — ответил Джим, смутившись. Он оглянул скромный номер полковника, и ему стало совестно, что дядя, так часто дарящий ему деньги, живет в более дешевой гостинице, чем он. «Но так должно быть: старые люди знали настоящую жизнь до первой войны, а вот наше несчастное поколение видело мало хорошего», — тотчас разжалобившись над самим собой, подумал он. — Дорогой дядя, вы кажется, упомянули о шампанском?

— То-то! Сейчас закажу... Но какую чепуху ты несешь, уши вянут!

— Вы иначе говорить не можете. И какой у разведчиков горделивый вид и тон, точно они занимаются необыкновенно важным и полезным делом!

— Ты просто сочиняешь! У меня никакого горделивого вида нет и никогда не было!

— Я говорю не лично о вас, дядя. Вы отлично знаете, как я вас люблю и что о вас думаю. Вы прекраснейший человек, я вам всем обязан. Но, не сердитесь на меня, вы в первый раз в жизни дали мне нехороший совет. Я сделал гадость.

— Говори просто, что ты влюбился в эту дуру!

— А еще вы думаете, что видите людей насквозь! Я не только в нее не влюбился, но она мне противна. Я по-настоящему понял это, когда ехал сюда из Парижа, понял и ее, и себя. Дорога обостряет все чувства, человек в вагоне или на пароходе не совсем такой, как всегда, он всё понимает яснее. И я сам себе стал противен.

— Да что ты такого сделал? Какое несчастье от этого произошло? Она благополучно улепетнула из Франции, ей больше никакая опасность не грозит. Судя по тому, что ты мне о ней говорил, она развратная, продажная баба. Они хотели причинить нам большой вред. Мы это, слава Богу, расстроили и повернули дело против них же: причинили им вред и, надеюсь, немалый. Ты выполнил свою роль отлично. В чем же дело? Чего ты от меня хочешь?

— У вас, вероятно, есть и личный враг? Поручили ли бы вы мне сойтись с какой-либо *его* женщиной, чтобы причинить ему вред?

— Тут нет никакого сходства. Государства постоянно делают то, чего частные люди не имеют права делать. Так всегда было и так всегда будет. Ты можешь прочесть и в Ветхом Завете. Иисус Навин посылал перед походом разведчиков в Обетованную землю: «И послал Иисус, сын Навина, из Ситтима двух соглядатаев тайно, и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». Не цитирую дальнейшего. Это в книге Навина.

— Вероятно, все разведчики помнят и повторяют одну эту цитату из всего Священного Писания.

— Ну, хорошо, можешь оставить последнее слово за собой, я ничего против этого не имею... Скажу тебе, у меня в молодости, когда я начинал работу, тоже были сомнения, хотя и гораздо более слабые. Я их быстро в себе преодолел. Ты преодолевать не хочешь, — твое дело. Я не думал, что ты так сантиментален. Что ж, я вижу, ты для моего ведомства не подходишь. Следовательно...

— Подхожу или нет, но я работать в нем не хочу. Повторяю, ваше ведомство становится огромной общественной проблемой или, вернее, огромной политической опасностью! Я впрочем отлично понимаю, что никакого выхода предложить не могу. Для отдельного человека, пожалуй, есть, но тоже дурной: он в том, чтобы держаться в стороне от всего зла, делающегося в мире.

— Хорош выход для государства! И довольно об этом!

— Сделали со мной что хотели, а теперь «довольно об этом». Я потерял к себе уважение. Я говорил себе, что если ее арестуют, то я покончу с собой, — сказал Джим. Это впрочем только что пришло ему в голову.

— Да ты совершенно сошел с ума. Вот что значит начитаться Достоевского!

— Достоевский тут ни при чем.

— Никто тебя насильно не держит. Уходи на здоровье. Ты можешь в любой день вернуться на твою прежнюю службу. Ты верно еще не забыл тех имен?

— Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненбор Стаккувер? — спросил Джим, засмеявшись. — Нет, не забыл. Но я туда не вернусь.

— Делай что тебе угодно. Лучше всего переходи в армию. Два твоих предка были военными. Кавалеристами, — добавил полковник со вздохом. — Я нисколько не препятствую и даже тебе помогу... Какие же теперь вопросы? Как расстаться с ней? С Раав. Я знаю, что она завтра уезжает в Берлин.

— Откуда вам это известно?

— Как видишь, разведка всё-таки кое-что знает.

— Вы с ней говорили, дядя!

— Нет. Но, разумеется, я за ней слежу, — внушительно добавил полковник, довольный впечатлением, которое его слова произвели на племянника.

— Кстати, вы могли бы меня похвалить: правда, я в кофейне и вида не показал, что я вас знаю? Я так люблю, когда меня хвалят! И вы тоже верно любите. А понравилась вам Эдда?

— Я пришел в дикий восторг при первом взгляде на нее. И мне так приятно, что ты с ней путешествуешь.

— Во-первых, не забывайте, что я сошелся с ней по вашему же указанию, а во-вторых, вы не можете отрицать, что она красавица. Вы когда-то знали толк в женщинах. Говорят, вы в молодости имели у них большой успех, — сказал Джим.

— Это тебя не касается.

— Так вы уже знаете и об этом идиотском празднике?

— Как видишь, знаю.

— Хороши же зрелища, которые запад противопоставляет коммунистам!

— Уж не становишься ли ты попутчиком? Только этого не хватало!

— Вы отлично знаете, что я ненавижу коммунистов, а попутчиков еще больше. Но именно поэтому я в бешенстве.

Такие праздники и такие господа, как этот филиппинец, точно созданы для успеха большевистской пропаганды!

— В этом я с тобой согласен. Забавно, что он это устраивает для пропаганды против большевиков! Комизм усиливается от того, что главную роль в спектакле будет играть советская шпионка... Итак, она уезжает в Берлин. Я не советую тебе с ней ехать, очень не советую. Да она верно и звать тебя не будет. К тому же, ты говоришь, что она тебе противна. Тем лучше. Вопрос верно только в деньгах? Пожалуй, для очистки совести дай ей денег.

— У меня их и нет.

— Так бы и сказал! Вот что, я хотел подарить тебе тысячу долларов. Ты мечтал о хорошем автомобиле. По твоему рангу и возрасту с тебя пока совершенно достаточно Форда или Шевролет. Года через три ты уже созреешь для Бюика. Надеюсь, о Каддиллаке или Паккарде ты еще не смеешь мечтать? Но я думаю, что при тысяче долларов наличными ты мог бы на выплату купить и Паккард, если у тебя хватит на это нахальства. Выплачивать остальное ты будешь, разумеется, из своего жалованья... Впрочем, я ничего не имею и против того, чтобы ты подарил часть этих денег твоей очаровательной любовнице. Можешь даже подарить ей всё, если ты совсем дурак.

— Я вам страшно благодарен, — сказал Джим смущенно. — Подарок и такой большой! За что?

— Ни за что. Ты его совершенно не заслуживаешь... Ты верно и без того немало на нее потратил?

— Да, конечно, но...

— По-моему, ты можешь ей больше ничего не давать. Она от филиппинца получит немалые деньги.

— Вы и это знаете?

— Я всё знаю.

— Тогда вы изумительное исключение в профессии! Так вы думаете, что я могу ничего ей не давать?

— Не решаю сложного конфликта в твоей сложной душе: Раав или Паккард.

— Дядя, вы жестокий человек. Вы знаете, что я мечтаю о Паккарде.

— Преодолей в себе этот соблазн. Осчастливь эту милую, добрую, хорошую женщину.

— Я всё-таки сделаю ей подарок.

— В какую цену, если я смею спросить?

— Как вы думаете? Пятьсот?

— Нет, этого мало, — сказал полковник, наслаждаясь. — Пятьсот это мало для такой хорошей женщины. — Он засмеялся. — Вот что. Я тебе дам восемьсот долларов после ее отъезда. А сейчас получай двести и делай с ними что хочешь. И перестань на меня дуться. Ты очень недурно провел с ней время, в самом деле она красива. Она большая дура или только средняя?

— Необычайная! Обезоруживающая! — сказал Джим, оживляясь. Дядя обладал способностью всегда его успокаивать.

— С другой у тебя дело так гладко не прошло бы. И она развинтила тебе нервную систему?

— Да. А себе еще больше. Я не знаю, что с ней сталось! Здесь она в полной безопасности, между тем она именно со вчерашнего дня поминутно оглядывается по сторонам и бледнеет при виде всякого прохожего. Представьте себе, заглядывает под кровать: нет ли там убийц!

— И, разумеется, у тебя угрызения совести за то, что ты расстроил душу этого небесного создания! Нет, отдай ей всю тысячу долларов.

— Я ей дам ваши двести, — ответил Джим. Привычные насмешки дяди вызывали у него привычную же реакцию, и он переходил в наступление. — Так и будем знать, что вы сделали подарок советской шпионке.

— Ты глуп, — сказал полковник, вынимая бумажник.

XXIII

Наташа каждый день читала немецкую газету, — «надо», — русских, эмигрантских, не могла в Венеции найти. Пропускала экономические статьи, фельетоны, спортивный отдел, прения в парламентах; с интересом читала о книгах, о театре, о кинематографических звездах, теперь даже, впервые в жизни, о модах; с ужасом просматривала сообщения о разных убийствах, о женщинах, найденных задушенными в ваннах и подвалах; по чувству долга следила за главными политическими новостями, — теми, что печатались на первой странице с большими заголовками. «Лишь бы не было войны! А так всё одно и то же: Доллес сказал, Иден сказал, Молотов сказал, и ничего интересного они никогда не говорят, как им только не надоест».

О Доллесе, Идене, Молотове читать было необходимо: Шелль о них иногда говорил, неизменно прибавляя «пропади они пропадом». Ей очень хотелось бы, чтобы он отказался от этой присказки, которую теперь впрочем произносил без всякой злобы, просто по давней привычке. Он был гораздо веселее, чем в Берлине. На женщин почти не смотрел, хотя в гостинице были красивые элегантные дамы. Ей было совестно, что она ревновала его к танцовщице на Капри.

Досадно было, что он попрежнему проводил много времени с филиппинцем. Правда, это объяснилось, но объяснение не очень ее удовлетворило. «Хорошо, тот у него что-то купил, оказал ему услугу, ну, отблагодари его советами, поработай с ним два-три дня. А то не слишком ли уж много выходит?» Раз даже она осторожно намекнула об этом мужу (с каждым днем, к собственной радости, смелела).

— Да ведь это очень забавно, его Праздник Красоты. А наш дом всё еще чистится и красится. Кстати, Рамон сегодня меня спрашивал, не хочешь ли ты получить роль в процессии?

— Я! В процессии? — воскликнула Наташа с таким ужасом, что Шелль рассмеялся.

— Я заранее сказал ему, что ты не согласишься.

— Даже не понимаю, как он мог серьезно предложить! Хороша бы я была в роли какой нибудь знатной венецианки! Это после подземного завода!

— Ты была бы лучше всех. И перестань, наконец, вспоминать о подземном заводе!.. Но ты права, это было бы ни к чему, — сказал Шелль. Филиппинец в самом деле опять спросил его, не хочет ли Наташа участвовать в празднике, и даже добавил: «Ее условия будут моими». Шелль только представил себе, как бы это Наташа и Эдда появились в одной процессии.

Когда Шелля не было дома, Наташа работала над диссертацией или читала Тургенева. Почти каждый день ездила на Лидо и кое-как объяснялась с работавшими в их доме малярами. Они были очень ею довольны: все простые люди любили Наташу, чувствовали, что она почти такая же *простая*, как они. Работа шла хорошо и быстро. В двух комнатах уже были выкрашены стены, и можно было бы расставлять мебель. Одна из этих комнат должна была стать спальной Наташи. Другую Шелль называл ее будуаром. Она решила сделать из нее детскую. Страстно хотела иметь сына и дочь, непременно сына и дочь.

Шелль неохотно согласился предоставить ей покупку мебели. Купил немецкую книжку о разных стилях. Наташа внимательно всё прочла, узнала особенности стилей — и приобрела кровать, два плюшевых кресла, два таких же стула, большой зеркальный шкаф, гардины, ковер, лампы, ночной столик, — уж не знала, в каком стиле, но всё очень недорого. Мебель утром привезли; маляры ее расставили, хотя это не входило в их обязанности; она им подарила бутылку вина, они очень благодарили и попросили ее выпить с ними; пили прямо из горлышка, так как стаканов не было, ей первой дали бутылку.

Днем, по ее просьбе, приехал Шелль. Он ничего не сказал об ее покупках. Наташа видела, что он не очень доволен. «Сердится, что я трачу мало его денег!»

— Будуара пока не покупай. Мою мебель скоро приве-

зем. На следующий же день после праздника съездим за ней в Берлин. Люстры я куплю сам. Эту металлическую палку с лампочкой не стоило на потолок и вешать, — сказал Шелль и, увидев, что она огорчилась, добавил: — А белье покупай и, ради Бога, не жалей денег. Это покупки на всю жизнь. «Уже вилла стала мелкобуржуазной, — с досадой думал он, — особенно эти гардины!»

— Да чем же плохая лампа? Ну, покупай ты, хотя у тебя выйдет втрое дороже. А книги можно уже сюда перевезти?

— Отчего же нет? Только Мольменти оставь, он еще мне нужен. И, разумеется, не тащи сама, скажи в гостинице, чтобы перенесли на пароходик.

У них скопилось несколько десятков книг, он покупал чуть не каждый день. Наташа удивлялась, как он быстро читает. Было немало дорогих изданий по истории Венеции. Эти покупались на счет Рамона.

Книги Наташа временно поставила в шкаф для белья, полки выстлала белой бумагой. Старательно вытирала каждую книгу тряпкой. Из толстого словаря выпал листок. На нем рукой Шелля написаны были цифры: 320.28... 56.25... Почему-то записка вызвала у нее неприятное чувство. «Деньги? Расходы? Что-то неровные цифры».

Вечером, вернувшись в гостиницу, она передала ему записку. Он взглянул и, к ее удивлению, покраснел, что с ним никогда не случалось. «Забыл уничтожить! Совсем впадаю в детство! Во время бросил профессию!»

— Выпала из словаря. Может быть, это тебе нужно? Верно о каких нибудь *акциях?* — произнесла она непривычное ей слово.

— Да, кажется, я записывал курс из газет. «И «кажется» не надо было говорить».

XXIV

Эдда почти всегда бывала всем недовольна — и по характеру, и по своему правилу: кто всем доволен, тому ничего и не дают. Но по пути из Венеции в Берлин вышла из обычного

состояния. Как Шелль, никогда не была так хорошо обеспечена.

Несмотря на грозившую, по его словам, опасность, он проводил ее на вокзал: «Для тебя готов рискнуть слежкой». Простились — как он сказал, начерно — еще в ее гостинице и довольно мило, хотя в их обычной манере: были и «хам», и «кохана», и «дочь моя рожоная». Эдда больше не любила Шелля (если и любила прежде), но боялась его и в душе ценила. «Достал такие деньги! В денежных делах он врет редко. Заплатят».

У нее было одноместное отделение первого класса. Он сидел там с ней, повторял свои инструкции и переспрашивал, как учитель — для этого и приехал на вокзал: Эдда с одного раза не понимала. Наконец, незадолго до отхода поезда (она уже беспокоилась), вручил ей чек на берлинский банк.

— Три тысячи долларов, — сказал Шелль, и тут подготовивший эффект.

— Три!

— Три. Ты будешь догарессой.

— Догарессой!

— Да. Женой дожа. Рамон дож. Надеюсь, ты понимаешь, кому ты по гроб жизни обязана этой неслыханной удачей? Величайшие артистки мира боролись за эту роль! Можно сказать, в ногах валялись. Я ему сказал, что ты кинематографическая звезда, новая Ингрид Бергман! И я выговорил тебе пять тысяч долларов! Тебе! За что?

— Положим, Ингрид Бергман за пять тысяч долларов в догарессы не пошла бы.

— Дура. Куда лезешь? То Ингрид Бергман, а то ты... Не скажу, кто ты. Значит, тебе дан аванс в две с половиной тысячи. А вот в этом конверте рисунок в красках: платье догарессы. Кредит я тебе открываю на платье неограниченный.

— Что такое значит неограниченный кредит? Я люблю точность.

— Это значит, ненаглядная, что ты можешь покупать самые дорогие материи, шелк, бархат, парчу, не стесняясь их

ценой. Разумеется, сохрани счета. Конечно, ты будешь присчитывать, я ничего против этого не имею, но делай это по-божески, надо иметь совесть: не более десяти процентов.

Эдда вынула рисунок из конверта.

— Ах, какая прелесть! Я буду изумительна!

— Ты во всяком костюме изумительна. Даже в костюме Евы. Теперь слушай, кохана. Ты должна вернуться за два дня до спектакля: ни раньше, ни позже.

— Почему такая точность? Вернусь когда захочу! — сказала Эдда, с чеком чувствовавшая себя гораздо увереннее. Шелль взял ее руку, сжал так, что она вскрикнула от боли, и отобрал чек.

— Дурак! Х-хам! Чуть не сломал мне пальцы!.. Я пошутила, а ты...

— Я тоже пошутил. Ты вернешься за два дня, слышишь? Помни кстати, что это аванс. Если ты опоздаешь или приедешь раньше, то даю тебе слово, ты больше не получишь ни гроша! И мы наймем другую... — Он сказал грубое слово, не очень подобавшее *новому* Шеллю. Эдде впрочем такие слова нравились. — Вот чек, бери и помни.

— Очень я тебя испугалась!.. Хорошо, хорошо, я вернусь за два дня, отстань

— На рисунке много драгоценностей. Само собой, они должны быть поддельные. Корону мы тебе дадим здесь. Кружева же можешь покупать настоящие. Если в Берлине чего-нибудь не найдешь, съезди в Вену или в Брюссель: разумеется, не в Париж, тебе туда нельзя.

На прощанье он поцеловал ее. Эдда расчувствовалась.

— В моей памяти ты останешься как Евгений Прекрасный.

— В твоей памяти я останусь как Евгений Прекрасный, — согласился он. — Кроме того, я скоро опять появлюсь в твоей памяти, мы в близком будущем с тобой увидимся. И Рамон Прекрасный, и я.

— Ты хам, но я тебя обожаю!

— В другое время я сказал бы: «Fais voir». Но поезд сейчас отходит... Помни, что надо сохранять все счета, — ска-

зал Шелль, больше для того, чтобы убавить сантиментальности.

С перрона он помахал ей рукой, отвернулся и ушел когда она еще посылала ему воздушные поцелуи. Всё же, несмотря на его грубость, Эдда была им довольна. Оценила и то, что он своих пятисот долларов из аванса не вычел.

Она прошла по коридору вагона, подозрительных людей не заметила и успокоилась. Вернулась в свое отделение, вынула чек из сумочки, прочла всё от числа до подписи. «В порядке! Слава Богу. И деньги, и такая роль!» — Слово «догаресса» очень ей нравилось. Перед маленьким зеркалом Эдда приняла подобавший догарессе вид. «Справлюсь! Стану знаменитостью!.. Право, он куда лучше Джима, тот мальчишка». Она очень ясно делила мужчин по разрядам; впрочем, любила все разряды. «Джим не серьезный, шалун. Бедный, у него почти ничего не осталось, всё на меня потратил. Право, дала бы ему, но он никогда не взял бы»... Джиму было сказано, что он не должен быть на вокзале, по соображениям конспирации. Он ничего против этого не имел.

В вагон-ресторане Эдда спросила полбутылки шампанского. Соседи на нее смотрели не без удивления. Она отвечала *гордым вызывающим* взглядом: «Да, пью одна шампанское, я так привыкла!» Шелль не сказал, оплачиваются ли отдельно ее расходы или идут в счет пяти тысяч; она забыла спросить; всё же решила жить «хорошо»: скупа не была даже тогда, когда платила за себя сама. Затем в купэ пробовала написать элегию: «Прощание». Но вагон очень трясло. Она спрятала тетрадку и открыла роман Сартра.

Было однако темное пятно: переход через железный занавес, разговор с советским полковником.

Отправилась она к нему на третий день с мучительным волнением, — подходя к рубежу, испытывала такое чувство, точно в самом деле сейчас покажется какой-то занавес. На столбе была надпись черными, точно гробовыми, буквами: «Achtung! Sie verlassen nach 80 m. West Berlin». Еще даль-

ше была другая по-английски: «You are now leaving British Sector». Она довольно долго жила прежде в Берлине и эти надписи видела не раз, всегда с чувством легкой тревоги, хотя в ту пору в восточный сектор ей ездить было незачем.

Прием был любезный.

Бумаги, доставленные Эддой, оказались необыкновенно важными. Полковник тотчас переслал их в Москву. После первого же ознакомления с ними начальство выразило ему благодарность. Как всегда, выразило ее не слишком горячо, сказало, что бумаги будут тщательно изучены, но он видел, что от свалившегося клада там в восторге. Теперь он мог рассчитывать на награды, даже на повышение по службе. Самая идея похищения бумаг из Роканкурской печи своей эффектностью не могла не произвести впечатления.

Эдда оказала делу большую услугу. Но и на этот раз полковника удивила ее очевидная глупость. «Впрочем, тут дело было не в уме. В самом деле она очень красива». Полковник подробно ее расспросил.

— ...Вы исполнили задание быстро. Благодарю вас, — сказал он. Редко говорил это агентам, и это у него прозвучало как «мое русское спасибо». «Гранд кокетт», — определил он Эдду без уверенности. Рад, что у вас «доброе совершилося»: так когда-то русские люди называли... Ну, вы знаете, что называли.

— Я очень много работала, — сказала Эдда, успевшая немного успокоиться. Как и при их первой встрече, ее что-то испугало в наружности полковника. — Я просто измучена! Вы не можете себе представить, товарищ полковник, как эта работа изнашивает человека!

— Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты, — сказал полковник. Говорил это в тех редких случаях, когда бывал весел. — Теперь пожалуй отдохните. Этот мерз... Этот американец получил отпуск на целый месяц?

— Да. Он два года не брал отпуска.

— А не мог ли бы он вернуться на службу раньше?

— Боюсь, что это обратило бы внимание его начальства, товарищ полковник. Люди редко отказываются от отпуска, — сказала Эдда. «Всё знает, мой картежник!» — подумала она.

— Да, может быть. Тогда не надо. Разумеется, вы должны поддерживать с ним... тесный контакт. Самый тесный контакт. Вам это нетрудно, у вас большой «секс аппеал», — сказал он с насмешкой. — А для нас это куда как важно в отношении дальнейшей конъюнктуры. Его положение там прочно?

— Не знаю, — сказала Эдда. Этого вопроса Шелль не предвидел. — Он уже давно ожидает повышения по службе, — добавила она, надеясь обрадовать полковника.

— Я вам, спасенная душа, другой директивы пока не дам. При создающейся конъюнктуре оставайтесь при нем... Может, и деньжонок вам от него перепадает? Разумеется, в персональном порядке, в персональном. Он верно мужичок кошелястый? Чать, довольны? — спросил он. Эдда изумленно на него смотрела. Это сочетание ученых слов с заволжскими, доставлявшее полковнику удовольствие, вызывало удивление и в Заволжье, и в Разведупре. К ученым словам Эдда привыкла, сама часто и охотно ими пользовалась. Но «чать», «кошелястый», «спасенная душа» ее испугали как во Франции она испугалась бы, услышав «Tudieu» или «Ventre Saint Gris». — Айда с ним в Италию шампанское лакать. Или он водоглот? У них бывают и такие, пес их ведает. Императив остается прежний. Следите за его акцией внятливо. А с ним держитесь как следует, этак руки в боки, глаза в потолоки.

— Я держусь с ним гордо, товарищ полковник.

— Фараон гордился и в море утопился... Продолжаете писать стишки-с?

— Вы и это знаете, — сказала Эдда, застенчиво потупив глаза.

— Знаю. «Писано в кабаке, сидя на сундуке». Прошу извинить, я цитирую вашего собрата Ваньку Каина. Разумеется, он был ваш собрат лишь как поэт. Написал замечательную поэму или песню: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка», — сказал полковник, глядя в упор на Эдду. Она не знала, как

понять его слова: как будто они были обидны, но говорил он шутливо. «Если шутит, значит я ему нравлюсь». Да и обижаться на него было неудобно и ни к чему.

— Вы любите поэзию, товарищ полковник?

— Ничего тому подобного, — сказал он, пожав левым плечом. — А что же этот ваш... Как его? Шелль? Больше ко мне не соблаговолил заявиться. Впрочем, чорт с ним! Он из плута скроен, да мошенником подбит. Да еще вдобавок психопат, по старинному «сущеглупый», — прибавил полковник, в этот день уж чрезмерно подчеркивавший особенности своего стиля.

— Буду обо всем вам внятливо докладывать, товарищ полковник, — сказала Эдда, тоже старавшаяся говорить по особому; она слова «товарищ полковник» произносила с чисто-военной интонацией.

— Согласно общей инструкции и нынешней директиве, — ответил полковник. — Ясно и сжато: только к делу, а не про козу белу.

Выдал он ей всего тысячу марок, но сказал, что окончательное вознагражденье будет определено позднее. «Мог бы скупердяй дать и больше», — подумала она; впрочем, сумма теперь для нее не имела большого значения, и торговаться Эдда не решилась. «Главное, что я теперь могу быть спокойна!»

— И вот еще что, — сказал полковник внушительно. — Быть может, этот мерз... этот лейтенант дал вам много денег? Меня это не касается, но не думайте об отставке! От нас не уходят. Когда вы перестанете быть мне нужны, я сам вам скажу. А до того вы обязаны работать. У вас есть словарь. Если что будет, пишите тайнописью.

Она была в смущеньи и не сразу поняла, что это слово означает шифр. Полковник иногда говорил даже «тарабарская грамота», — так шифр назывался в еще более далекие времена. Слово «тайнопись» ей впрочем понравилось. Он сделал вид, будто привстает.

Эдда заказала платье. Хотела было съездить в Брюссель

и выбрать там кружева: «Фламандские? Брюссельские? Валансьенские?». Их можно было достать и в Берлине, однако Берлин ей давно надоел, и она всегда чувствовала потребность в частых переездах, особенно теперь, со спальными вагонами, с шампанским. Вышло однако так, что в Брюссель она не поехала. Пришло письмо от Шелля, — короткое и без всякой тайнописи. «Хочу тебе еще сказать следующее», — писал он. — «Освежи свои познания в испанском языке. Я знаю твои способности к языкам. Ты легко найдешь учительницу в Берлине. Нужна только практика. От этого зависит твое счастье. A bon entendeur salut!» Подпись была: «С истинным уважением и совершенной преданностью, твой Х-х-хам».

Она тотчас наняла не учительницу, а учителя, — очень скучала без мужчин. Учитель, впрочем старый и неинтересный, приходил каждый день на два часа. Теперь уехать было невозможно. Кружева были тоже куплены в Берлине. Общий счет, с прибавленьями на расходы, составил тысячу шестьсот двадцать семь долларов: точные, не круглые цифры всегда производили хорошее впечатление. «А что мой картежник из плута скроен и мошенником подбит, это полковник правильно сказал. Непременно ему передам».

От скуки она начала писать рассказ, где героиня, знаменитая артистка, не «говорила, смеясь», а «молвила, смеючись».

XXV

В Венецию она вернулась за два дня до праздника. Шелль встретил ее на вокзале и почтительно поцеловал ей руку. Щелкнул аппарат: на перроне ждал фотограф. Был и один унылый репортер. Эдда дала интервью. Шелль ожидал его со страхом, но сошло хорошо. Она говорила о красотах Венеции:

— ...Я много раз бывала в вашем дивном городе. Что может быть красивее площади святого Марка! А дворец дожей! А Большой Канал! Для праздника я тщательно изучила все материалы...

— Пожалуйста, сударыня, не сообщайте ничего о празд-

нике, — вмешался Шелль. — Послезавтра все всё увидят, а пока это маленький секрет.

— Я подчиняюсь, — сказала Эдда с очаровательной улыбкой.

— Прямо Сара Бернар! — похвалил Шелль, когда они остались одни. — И говорила ты о Венеции чрезвычайно интересно, оригинально и ценно. Пять с плясом. Для тебя снят номер из двух комнат. — Он назвал одну из лучших гостиниц. — На наш счет.

— Я думаю, что на ваш! Но отчего не у вас?

— Зачем же тебе встречаться с его дамой? Я сегодня вечером тебя с ним познакомлю. Устроился так, что ее не будет. Она ему уже надоела... Твоя прежняя гостиница тоже недурна, но ведь твой американец еще там?

— Там. И я должна буду поддерживать с ним контакт, этого требует полковник.

— Поддерживай с ним контакт, — сказал он так же, как полковник. — Можешь сегодня с ним и обедать. Лучше у него в номере. А как наш дорогой полковник, пропади он пропадом? Еще не совсем сошел с ума?

— Почему сошел с ума?

— Да у него глаза ненормального человека, разве ты не заметила?

— Да что он вообще за человек?

— Он смесь. Пять процентов от Ленина, пять от Суворова, пять от Аракчеева, двадцать от Гоголевского сумасшедшего, а остальное вода, aqua distillata.

Вечером он познакомил ее с Рамоном. Успех превзошел его ожидания. В особенный восторг привело филиппинца то, что Эдда говорила по-испански. Шелль одобрительно кивал головой: «Молодец-баба!» Вид у него, впрочем, был подчеркнуто сдержанный, почти нейтральный, как у «наблюдателя», который на дипломатической конференции представляет дружественную державу, не принимающую в конференции прямого участия. Рамон изъявил желание увидеть Эдду немедлен-

но в костюме догарессы. Праздник шел без репетиций: «Репетиции убили бы душу спектакля!» — объяснял Шелль Рамону.

— Но отчего же вы остановились не в моей гостинице?

— Оттого, что здесь не было достойного номера, — ответил Шелль.

— Для меня достали бы достойный номер! — сказал Рамон. Он хотел было вспылить, но не вспылил. — Когда я вас увижу?

— Где же я переоденусь? — стыдливо спросила Эдда. — Не могу же я ехать из моей гостиницы в вашу в костюме догарессы. Может быть, вы приедете ко мне?

— С восторгом.

— Плыть в костюме догарессы вы, конечно, не можете, — сказал Шелль. — Журналисты устроили бы за вами погоню на гондолах. Они и так с фотографами осадили сеньору Эдду на вокзале, — пояснил он хозяину. — Но по той же причине не лучше ли будет, сеньора Эдда, если вы приедете сюда? Вы могли бы переодеться здесь, в этом номере четыре комнаты.

— Это в самом деле еще лучше!

— Так вы условьтесь. А теперь я, к сожалению, должен вас покинуть, — сказал Шелль, вставая. — До завтра, мой друг, до завтра, сеньора Эдда. Хотя, быть может, я и завтра вас не увижу, столько дела. Рамон, покажите сеньоре Эдде окрестности Венеции, вы могли бы сделать маленькую экскурсию. Но постарайтесь ускользнуть от репортеров.

— Постойте, я хочу показаться вам в короне. Вы скажете, всё ли как следует, я сейчас ее принесу, — сказал Рамон и вышел в соседнюю комнату.

— Кохана, теперь твое счастье в твоих руках: он еще глупее тебя, — сказал Шелль по-русски. — Это неподдельный coup de foudre, в Рамоне всё неподдельно. Правда, в Венеции нет женщин, говорящих по-испански. Очень неудобно любить при помощи переводчика. А как сошел контакт с американским мальчишкой?

— Отлично, — ответила Эдда, сияя.

Джим был вначале грустен, совсем не такой, каким был в Париже. Дядя давно уехал в Берлин, Джим никого в Венеции не знал и боялся сознаться себе, что немного скучает в этом городе радости и счастья. Но когда Эдда трагическим тоном сказала ему, что они должны расстаться — «судьба сильнее людей»! — он обрадовался неприлично. Это Эдде не понравилось.

— Во всяком случае мы должны будем поддерживать деловые отношения. От тебя ждут дальнейших услуг.

— Боюсь, что это невозможно, — ответил он, смутившись. — Дядя пишет, что меня переводят в Соединенные Штаты.

Теперь неприлично обрадовалась она. «Чего же они тогда могут от меня требовать?»

— Об этом мы еще поговорим. Мы здесь будем видеться.

— Разумеется! — сказал Джим. — У тебя прекрасный вид. Ты теперь еще больше похожа на портрет Габриеля Джошуа Тревелиана.

— Спасибо... Как у меня теперь синяки под глазами? Больше или меньше?

— Гораздо меньше.

— Ты очень скучал? — спросила Эдда, глотая какую-то пилюлю. Она всегда принимала разные порошки. — Что ты делал всё время?

— Ты не угадаешь. Я становлюсь писателем!

— Как? И ты!

— Я буду писать не стихи... Ты знаешь имя Монтеверде?

— Не знаю и горжусь этим.

— Это был композитор семнадцатого столетия. Он прожил большую часть жизни в Венеции, здесь и умер. Я случайно наткнулся на материалы и решил написать о нем книгу.

— Да разве ты музыкант?

— Я страстно люблю музыку, но играю на рояле неважно, а композиторского таланта, кажется, не имею.

— Я уверена, что ты талантлив. Я страшно за тебя рада.

— Страшно рада и моя тетка Мильдред Рессель, — сказал Джим. Он испытывал такое чувство, какое испытывают люди, покидая пароход после долгого плаванья: «С кем-то временно сошелся, но больше его никогда не увижу и слава Богу: осточертел!»

Всё действительно вышло случайно. Оставшись в Венеции один, Джим побывал во дворцах, церквах, музеях, осмотрел по путеводителю Тицианов, Веронезов, Тинторетто, Джорджионе. Восхищался добросовестно и вполне искренно, но в меру: к живописи большого влечения не имел. Как-то собрался было поехать в Мурано, где в старой церкви Сан Пиетро Мартире был важный Беллини; но спросив себя, может ли без этого Беллини прожить остаток жизни, ответил, что может, и не поехал. «Да, кажется, выйдет из меня веселый неудачник. Дядя неправ в главном, в своей работе, в своем понимании жизни. Относительно же меня он во многом прав. Я действительно главным образом спорщик, люблю противоречить и словами, и делами. И сам не знаю, чего хочу. Хочу интересной жизни, а в частности ничем особенно не интересуюсь».

В этот день он попал на концерт старой итальянской музыки. Исполнялась Месса папы Марцелла. Она не произвела на него сильного впечатления. Почему-то он думал, что музыка Палестрины необыкновенно мелодична; на самом деле мелодий почти не было или же он не мог их разобрать. Огорченно думал, что настоящего дара к музыке у него нет. «Тогда к чему же есть? А что если б написать биографию этого композитора? Кажется, он был певцом и безголосым, затем его прогнали, он бедствовал, и признание пришло лишь поздно?»

В антракте он купил программу и узнал из нее, что автор мессы, Пьерлуиджи, был прозван Палестриной по названию деревни, в которой он родился. «Тогда для изучения материалов, пожалуй, еще пришлось бы поехать в эту деревню. Там я совсем пропаду от скуки, если скучаю в Венеции. Да верно существуют другие биографии Палестрины».

После антракта исполнялись отрывки из оперы «Орфей». Эта музыка, напротив, его очаровала. Он плохо знал миф об Орфее, смутно вспоминал, что этот герой спустился за какой-то женщиной в ад, вытащил ее оттуда, что он очаровывал людей не то пением, не то красноречием, и погиб трагической смертью, кажется, его разорвали на части. Джим слушал музыку и, как большинство людей музыкальных, но не настоящих музыкантов, старался подставлять под нее жизненные положения. Сначала подставлял Орфея, затем, частью серьезно, частью иронически, стал подставлять себя. «Вот и я спустился за Эддой в ее ад. Правда, я еще трагически не погиб. Она тоже нет».

В Париже у него в самом деле были угрызения совести, хоть он их преувеличивал в разговоре с дядей. В тот самый день, когда Джим передал Эдде пакет, ему пришло в голову, что ее могут отправить в каторжные работы. Он провел ночь почти без сна. Сгоряча подумал, что надо открыть ей всю правду, надо умолять ее бросить позорное, страшное ремесло. Впрочем, подумал об этом не очень серьезно и сам назвал себя «дураком и очень скверным дураком»: «Если б я открыл ей всю правду, то это было бы предательством уже с *моей* стороны! Я, разумеется, никогда этого не сделаю! Зачем только я согласился на предложение дяди? Просто, по моему вечному легкомыслию». Угрызения совести у него кончились, когда Эдда благополучно уехала из Франции, не только не причинив вреда Соединенным Штатам, но оказав им невольно большую услугу. Однако очень неприятное чувство у Джима осталось. Разговор с дядей его успокоил, всё же он твердо решил, что на службе в разведке не останется.

Орфей, очевидно, тоже был легкомысленным, непостоянным существом. Джим то раскаивался в своих недостатках, то немного щеголял ими перед собой. «Да, во мне есть Орфеево начало... Под эти звуки он верно уходит из ада, как ухожу я. Только я ухожу без всякой Эвридики, уж очень скверная оказалась Эвридика. Странно, что в первый день я совсем

этого не чувствовал. Как хорошо, что она получила какую-то работу!»

Он прочел в программе и о Монтеверде. О нем знал еще меньше. Этот, повидимому, был, в отличие от Палестрины, удачником. Джим сочувствовал обиженным жизнью людям, но сам никак быть неудачником не желал. «Отчего же мне не написать его биографию? Он, кажется, и известен меньше, и музыка его гораздо лучше». В программе указывались годы жизни Монтеверде. Джим пошарил в голове, собирая свой запас исторических познаний. «Эпоха, кажется, очень интересная. Тридцатилетняя война? *Полчища* Валленштейна? Да верно он Валленштейна в глаза не видал? Всё равно, это должно было отразиться в его музыке. Борьба двух миров, как теперь. Не совсем как теперь, но это неважно. И кардинал Ришелье был тогда... А что тогда было в Италии? Хоть убей, не знаю. Несомненно, эпоха была красочная. Это составит канву, фон для книги».

Он был так взволнован, что тотчас после «Орфея» ушел: больше ничего Монтеверде не исполнялось. Было всего пять часов, магазины еще были открыты. Он нашел у антиквара старое издание, партитуру на пергаменте, с квадратиками вместо кружков: Монтеверде! Тотчас — очень недешево — купил партитуру и даже до Флориана не дошел. Сел за столик в первой же маленькой грязноватой кофейне, спросил не вина, а кофе, и принялся читать: довольно свободно читал ноты. «Прелестно!..» Его решение стало твердым. Ясно видел перед собой толстую — не очень всё же толстую, страниц в триста — переплетенную книгу. Наверху титульной страницы была его фамилия, а пониже большими буквами: «Клаудио Монтеверде».

Через несколько дней он получил письмо от дяди. Тот сообщал ему, что его желание исполнено: он будет переведен в Соединенные Штаты. «Там ты можешь осмотреться и выбрать, что тебе угодно. Мой совет тебе в армии и остаться», — писал полковник племяннику на этот раз не в том шутливо-насмешливом тоне, который оба любили.

Он ходил в библиотеку, купил несколько дорогих книг и

партитур. Работа, неопределенно называвшаяся собиранием материалов, шла. Теперь оставалось отделаться от Эдды. Поэтому он и был так рад ее словам: инициатива была ее, разрыв был не враждебный, и Эвридика тоже покидала ад.

XXVI

Маскарад не очень вязался с избранием дожа, но для большей живописности решено было устроить и маскарад. Впрочем, гости могли являться в масках и стильных костюмах или без них, — кто как пожелает.

Газеты печатали заметки о Празднике Красоты. Их было гораздо меньше, чем ожидал Рамон. В газетах, не пресмыкавшихся перед богатством, появились и заметки презрительные. «Секретариат», уже состоявший из нескольких человек, этого для хозяина не переводил. Не подписывавшиеся добрые люди усердно присылали вырезки по воздушной почте, — всё бросалось в корзину. Рамона огорчало, что в заметках ничего не говорилось об *идее* праздника. Он и сам теперь меньше говорил об обязанности богатых людей перед обществом. А когда бывал раздражен, то, как князь де Саган, с вызовом объяснял, что тратит миллионы для собственного удовольствия и ничьим мнением не интересуется. Интерес к избранию дожа у него несколько ослабел. Эдда появилась как раз во время.

За три дня до праздника в гостиницу принесли костюм Шелля. Наташа увидела что-то красное с золотом и не попросила вынуть костюм из коробки. Шелль был неприятно удивлен. Сама она решительно отказалась от стильного платья:

— Нет, уж меня уволь! Если говорить правду, то мне не особенно нравится, что и ты будешь в костюме.

— Не могу же я изображать телохранителя во фраке.

«Зачем же тебе потребовалось изображать телохранителя?» — хотела спросить Наташа, но не спросила.

— Я ничего и не говорю.

— Думаю, что развлечения необходимы. Особенно тебе: ты вышла замуж за человека настолько тебя старше. Как это

у Лермонтова? «А что, скажите, за предмет — Для страсти муж, который сед».

«Это *ему* необходимы развлечения», — грустно подумала Наташа.

Вечернее платье было ей всё-таки необходимо. Шелль, задетый словами Эдды у Флориана, настоял на том, чтобы платье было дорогое. Добился этого не без труда.

— Просто смешно тратить такие деньги на один вечер! Где же я его еще надену? У нас в домике на Лидо и знакомых не будет, а не то, что вечера и балы! Будет скромная трудовая жизнь, — говорила она. Он слушал о скромной трудовой жизни хмуро, хотя и ему балы никак не были нужны.

Платье оказалось еще более «вечерним», чем думала Наташа. На шлейф она не согласилась, — «Было бы курам на смех!» При первой примерке пришла в замешательство, увидев себя в зеркале с голым бюстом без рукавов. «Все скажут: «не умеет такое платье и носить!» Больше всего, разумеется, боялась того, что подумает он. Шелль хвалил, — разве только чуть холоднее, чем прежде.

После того, как он познакомил Эдду с Рамоном, Шелль признал свою роль законченной. Всё дело перешло к секретариату. Главная секретарша работала целый день и себя не забывала. Шелль это знал, а она знала, что и он тоже себя не забывает. Ладили они отлично. По вечерам секретарша делала ему краткие доклады, в частности о недоразумениях между приглашенными, обидах, местничестве.

— Пусть он идет к чорту... Пусть она идет к чорту, — равнодушно отвечал Шелль. — Помните, важно только одно: чтобы все были пьяны. Шампанское уже доставлено?

— Ледники не вмещают! — отвечала она с улыбкой. Не совсем понимала, почему он изменился: конечно, праздник глупейший, но ведь так было с самого начала; между тем прежде Шелль во всё входил. Он и сам плохо это понимал и приписывал неврастении.

— Ничего, пусть пьют теплое. А если будут недовольны, то пусть повесятся!

За час до начала спектакля, Шелль зашел к Наташе в раззолоченном малиновом бархатном кафтане. При его росте, костюм очень к нему шел. Он и носил его так, точно всегда так одевался. Наташа ахнула.

— Ты великолепен! Просто великолепен! Как всегда, будешь самый красивый из всех!.. Я прежде не сочувствовала, но это так необыкновенно красиво!

— Уж если валять дурака, то как следует.

— Как жаль, что люди так не одеваются теперь!

— Твое платье очень хорошо, очень, — сказал он, целуя ее.

— Ты говоришь правду? Мне просто совестно спуститься в холл!

— Сегодня это никого не удивит. Вся гостиница будет на празднике. Даже лакеи и горничные. Я велел подарить им билеты. «Плебс» будет пьянствовать внизу, а «элита», во главе с Рамоном, в бель-этаже.

— Пожалуйста, не говори «плебс». Я сама плебс.

— Забавно то, что плебс наверное наполовину, если не на три четверти, состоит из коммунистов или по крайней мере на выборах за них голосует. Кстати, я, просто из любопытства, спросил Рамона, подавать ли и внизу шампанское или же с народа достаточно Asti, — сказал Шелль. Наташу опять кольнуло: «Точно он приказчик!» — Он ответил: «Всем шампанское и самое лучшее!»

— Да, он добрый человек, я знаю.

— Во всяком случае один из самых щедрых людей, каких я когда-либо видел. Как ни огромно его состояние, он со временем всё спустит. О своей демократической идее он больше, к счастью, не говорит, но по характеру он кое в чем «демократ». Недавно пригласил к себе на обед всех статистов, они очень оробели.

— На каком же языке они разговаривали?

— Вероятно, всё время молчали. В Англии полтораста лет тому назад считалось неприличным разговаривать на раутах. Всё проходило в глубоком молчании, хороший был обы-

чай... На днях он велел секретарше, чтобы на празднике «все были равны»: «У меня нет принцев и графов!» К слову будь сказано, принцев и графов съехалось довольно мало, это к чести аристократии. Я в докладах Рамону даже должен был многим гостям пожаловать титулы.

«*В докладах!..*»Хоть бы скорее всё это кончилось!» — подумала Наташа. Шелль заметил тень на ее лице, догадался и с досадой сказал себе, что и тут стал говорить лишнее.

XXVII

Догаресса плыла на Праздник Красоты в пышно убранной гондоле с большой парчевой палаткой.

Платье Эдды было восхитительно. На нее смотрели с завистливым признанием дамы свиты. Они звездами не были, — звезд тоже приехало немного, — свита состояла из второстепенных артисток, скорбно недоумевавших: «Кто такая? Почему никто о ней не слышал? Почему ей дали роль догарессы?» Шелль пустил слух, будто Эдда только что бежала из Румынии, где пользовалась громкой известностью. Румынские звезды могли быть неизвестны в западной Европе. Кинематографические дамы должны были признать, что румынская звезда очень красива и что одевается она и красится превосходно. Теперь на свиту произвела сильное впечатление ее корона. «Десять тысяч долларов, если не фальшивая!» — решительно сказала одна дама. — «Нет, семь-восемь», — возразила другая.

Всего только накануне бриллианты и рубины короны были поддельными. Секретарша утром принесла ее Рамону. Он взглянул и вспылил.

— На моем празднике корона догарессы не должна быть украшена стеклянными погремушками!

Секретарша его слова поняла, тем более, что они сопровождались сильными жестами. Она успела привыкнуть к его вспышкам. Усвоила не ту тактику что Шелль, а свою, гораздо лучшую. Всякий раз, входя в номер Рамона, она принимала

смущенно-восторженный вид, какой может быть у молодой девушки, желающей попросить автограф у Франка Синатра; когда же происходила вспышка, секретарша изображала на лице страшный испуг. И то, и другое ему нравилось. Так и на этот раз ему показалось, будто она тотчас упадет от ужаса в обморок. Она что-то невнятно бормотала, всё равно он понять не мог.

— Вы еще и на мою собственную корону поставили бы фальшивые камни! — сказал он мягче. Его корона стоила огромных денег. Хотя Рамона уже знали в Венеции, хотя газеты писали об его сказочном богатстве, ювелир, получив чек, перед отсылкой короны в гостиницу справился по телефону в банке, есть ли покрытие на такую сумму. — «Есть и на в десять раз большую», — ответил знакомый директор.

— Положите эту дрянь назад в шкатулку, я возьму ее с собой, — сказал Рамон. Секретарша хотела было понести шкатулку за ним, но он не допустил и со шкатулкой в руке прошел к гондоле, — у него теперь была своя, самая лучшая в Венеции. Люди стремительно бросились его усаживать. Он отправился в гостиницу Эдды. Так было с ней условлено.

— Прежде чем ехать в окрестности, мы заедем к ювелиру, — объявил он. Эдда скромно потупила глаза. Ему и это очень понравилось, хотя он любил «женщин-хищниц». — Те дураки поставили вам на корону фальшивые драгоценности! Вам!

Кольцо или брошка были бы подарком наверное. Относительно же маскарадной короны этого с уверенностью сказать было нельзя. «Может быть, корону придется вернуть? Зато если она подарок, то ведь это огромные деньги!» Эдда взволновалась чрезвычайно. В магазине она переводила его слова и еле дышала. Пробовала за него поторговаться, но он ее остановил: не надо! «Благодарить? Но если он не дарит? За внимание? Разве за внимание благодарят *так*, как за подарок!» — мелькало у нее в голове. Она поблагодарила как за внимание, но *бросила ему дивный взгляд*. Как будто он ждал большего.

За догарессой в двадцати гондолах следовал восторженный народ: были все «ремесла». Люди пели, играла музыка. На подъезде дворца Эдду встретил дож в длинной, раззолоченной мантии, в короне, с мечом. Над ним держали золотой зонтик. Эдда взглянула на корону дожа и ахнула: «Миллионы!.. Теперь будет хам, если не подарит мне мою!» Рамон жестом Дандоло или Марино Фальери протянул ей руку и поцеловал ее, хотя это было нелегко при двух коронах. Из всех окон дворца неслись бурные рукоплескания и восторженные крики. Впрочем, кто-то закричал: «Эввива Ленин!». Оркестр играл марш из «Аиды». Процессия выстроилась и двинулась вверх по лестнице. Народ орал всё восторженнее. Уже с полчаса лилось рекой шампанское. Теперь с балкона бель-этажа дож и догаресса должны были бросать народу монеты. Это очень не понравилось Эдде.

— Не надо... Право, не надо... Всё равно будут падать в воду, — говорила она дожу. Но оркестр и рукоплесканья заглушали ее слова.

Она дала билет и Джиму.

Он никого не знал в толпе, бродил по залам и пил шампанское. В зале Тьеполо он обратил внимание на молоденькую даму или барышню, робко державшуюся за «трельяжем». — «Очень мила. Как она сюда попала?» К даме на минуту подошел гигант-телохранитель, поговорил с ней, весело улыбаясь, кивнул ласково головой и отправился опять на свой пост. Дама просияла при его появлении. Затем улыбка с ее лица стерлась.

Из-за обязанностей телохранителя Шелль почти не встречал Наташу на празднике. Она издали видела, как он прошел по залу, видела собственно только его возвышавшуюся над трельяжами голову. «Так в кинематографе иногда показывают не всего человека, а, например, его ноги. Это даже всегда страшно, кажется, что он преступник... Прежде становилось светлее, когда он входил в комнату. А теперь? Неужели я люблю его меньше? Конечно, нет! Хороша бы я была без него! Всё-таки он мог бы подойти ко мне, ведь я здесь одна и

никого не знаю... Господи, зачем этот праздник, где половина людей пьяна, а другая делает вид, будто очень весело. Хоть бы скорее эта комедия кончилась! Он сказал: «Уедем на следующий день». Давно пора!» — думала Наташа.

«Верно ее муж», — огорченно сказал себе Джим. — «Хорошо бы с ней познакомиться, но кто меня представит?»

Громкоговоритель на трех языках объявил, что наверху в третьем этаже сейчас начнется спектакль марионеток. Часть публики отхлынула от столов буфета. Дама вздохнула и тоже пошла наверх. Джим нерешительно последовал за ней. Отовсюду доносилась музыка. «...Di te, Venezia, E il sibmol vero», — пел тенор. «Прекрасно поет», — думал Джим. Ему полагалось бы испытывать отвращение от всего, что происходило во дворце. Но по-настоящему ему тут была противна только Эдда, очевидно продавшаяся этому богачу. Он видел, как она сидела на троне, и издали поклонился ей. Догаресса величественно кивнула ему головой и с ласковой улыбкой заговорила с дожем. «Если б и не была шпионкой, — просто неправдоподобно-антипатична! А дня три мне почти нравилась!»

Переполненный длинный зал кукольного театра с многими рядами стульев был ярко освещен. Впереди разместилась «элита», а в задних рядах народ, — размещение произошло естественно, само собой. Занавес еще не был поднят. Впереди его на эстраде стоял кукольник, пожилой представительный итальянец во фраке и в белой мантии. Он на не очень правильном французском языке, но в совершенстве передавая все интонации французской речи, рассказывал историю марионеток. Джим окинул зал взглядом и сел с края у двери. «Куда же она делась?» — спросил он себя и увидел ее там, где сначала и не искал: она сидела, с простыми людьми, в последнем ряду, и слушала очень внимательно. Прислушался и Джим. Вдруг человек на эстраде заговорил так же хорошо по-английски и женским голосом. Публика не сразу поняла. Послышался смех. Теперь кукольник рассказывал содержание пьесы. Она была о роялистах, заговорщиках и шпионах в пору французской революции. По его словам, среди полишинелей

тогда были роялисты, заговорщики, шпионы и многие из них были казнены.

«Вот бы у меня была такая жена! Теперь и дело есть в жизни!» — думал Джим, с новой радостью вспомнив о Монтеверде. «Любовь и труд, интересный труд, больше ничего не надо. На военной службе я всё же останусь, нельзя в двадцать шесть лет жить на деньги дяди. Бедный дядя! Он думает, что провел мудрую жизнь! Ну, что-ж, я его переубедить не могу, как он не может переубедить меня. Это не мешает ему быть прекрасным человеком. И, что бы ни говорили мизантропы, на свете преобладают хорошие люди, во всех есть хорошее, может быть и в Эдде... Я не хочу никому мешать, пусть только и мне не мешают... Не буду композитором, так буду историком музыки. И женюсь — вот на такой, как эта!» — думал он, почти влюбленно глядя на даму в последнем ряду. «Я не знаю, кто она, но я хотел бы, чтобы меня полюбила такая!»

Кукольник кончил, поклонился публике и взбежал по лесенке на свою закрытую вышку, откуда он управлял сетью проволок. Свет в зале погас. Невидимый оркестр заиграл что-то старинное, — и неизвестное Джиму, и как будто ему теперь знакомое. «Право, похоже на балет Монтеверде!» Занавес поднялся.

Часам к десяти дисциплина во дворце ослабела. Снизу доносился радостный гул. Весело было и в бель-этаже. Дож и догаресса покинули троны. Рамон переходил из залы в залу, приветливо отвечал жестами на восторженные приветствия и приказывал лакеям откупоривать всё новые бутылки. Отдельно от него, с хозяйски-королевским видом, поддерживая левой рукой шлейф, гуляла догаресса. Ей тоже что-то кричали. Она посылала толпе воздушные поцелуи, останавливалась у каждого стола и выпивала полный бокал. Голова у нее кружилась. Останавливалась и перед зеркалами; каждое говорило ей что она прекраснейшая из женщин.

В одной из зал ей попался Шелль. Несмотря на то, что она была так счастлива, лицо у Эдды чуть дернулось от зло-

бы. Повелительным жестом догарессы она показала ему, что хочет с ним поговорить. «Ничего не поделаешь. Всё равно завтра уезжаем... Наташа наверху», — подумал он. Один из салонов не был отведен под праздник. Он почтительно повел туда догарессу. Они сели в кресла.

— Ты великолепна, дитя мое, — сказал он. — Я лучшей догарессы никогда в жизни не встречал!

— Ты тоже великолепен. Но ты подлец из подлецов! — ответила она. Шелль поднял брови.

— За что такая немилость, женщина великого гнева?

— Подлец из подлецов!.. Ты говорил, что я дура, да? Дэ как дубина, а как ахинея, да? Я и умом, и инстинктом почувствовала правду! Твой патрон мне сказал, что ты женат! И эту твою ободранную жену ты выдал мне за его любовницу! Всё-таки есть предел и бесстыдству, и вранью! Я чуть в обморок не упала, когда он меня спросил, знакома ли я с твоей женой!

— «Чуть» не считается, — сказал Шелль. — Тебе было бы и очень невыгодно падать в обморок. «По понятным причинам», как пишут литераторы.

— Если я не упала, то только потому, что ты мне давно опротивел! Но я скажу ему всё!

— И то скажешь, кохана, что ты советская шпионка?

На это она не сразу нашла ответ.

— Ты еще, повидимому, и шантажист, в дополнение к другим твоим достоинствам?.. Я оболью ее царской водкой!

— Ты всех коварных соперниц обливаешь царской водкой. Это не принято: надо обливать серной кислотой. Всё же не советую, — сказал он, и глаза у него стали злыми и жестокими. Эдда испугалась. — Я имею основания думать, что царская водка потом попала бы на твое собственное личико. Будем говорить серьезно. Ну, да, я женился, что же из этого? Это было мое право: я еще в Берлине заметил, что я тебе опротивел. Это мне причинило тяжкие душевные мученья. И еще больше то, что ты сошлась с молодым американцем. Тебе всё можно, да?

— Кто она такая? Он назвал ее «Натали». Ты был на ней женат еще в Берлине?

— Нет. Ты отлично знаешь, что я любил тебя и одну тебя. Пока ты меня не бросила... Ты величественна, как Хо-Ши-Мин. Имя Хо-Ши-Мин значит: «Тот, кто сверкает».

— Как мне надоели твои глупые шутки!.. Меня никто не бросал! Я бросила и двух своих мужей. Один, как ты знаешь, был законный, настоящий, а другой почти настоящий.

— Я думал, почти настоящих было больше?

— Х-хам!.. Чем же ты занимался после того, как я тебя бросила?

— Тем, что рвал на себе волосы. Оправившись же немного от потрясения, решил, что насильно мил не будешь. Я и хочу расстаться с тобой полюбовно. Согласись, что я тебя осчастливил. Без меня тебе дожа было бы не видать, как своих ушей. Он уже твой любовник или только станет им в ближайшие часы?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается... У него равнодушные черные глаза, я этого не люблю. Глаза должны быть огненные, или стальные, как у тебя.

— У него глаза хорошие. Левый зрачек светлее правого.

— Этого я не заметила. Он не понимает, что такое настоящая любовь! Для него это верно то же самое, что хороший обед. Я сама люблю тонкие блюда и изысканные вина, но разве это то же самое! Разве из тонких блюд и изысканных вин можно сделать трагедию? Даже Джим лучше! Хотя для меня он слишком чист.

— А я?

— Ты тоже многого не понимаешь, но ты другое дело... Она русская? Просто верно какая нибудь Наташка-горняшка?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается.

— Она здесь? Я ее не видела. Даю голову на отсечение, что и она тебя бросит.

— Неужели даешь голову на отсечение? Нотариус такого соглашения не засвидетельствует.

— Напрасно ты мне не веришь. Во мне сидит колдунья!

— Сидит, но очень глупая... Постой! Что это? На твоей короне поддельные бриллианты заменены настоящими? Кинжал в грудь по самую рукоятку!

— Ты думаешь, он мне ее подарит? — с беспокойством спросила Эдда.

— Это возможно. Если ты будешь хорошо себя вести, я посоветую ему подарить ее тебе. Вообще он тебя озолотит. И ты этим будешь обязана всецело мне.

— Я знаю, что он тебя ценит. Просто не могу этого понять. Но я ему открою на тебя глаза.

— Тогда и я ему открою на тебя глаза. А какой у тебя теперь комплекс? Клеопатры или Мессалины? Написала новые стихи?

— Теперь я пишу простые, классические. Как Виктор Гюго. Впрочем, я испытала и сильное влияние Ти-Эс Эллиота. Он замечательный поэт!

— Но ведь он, кажется, очень правый, роялист?

— Поэзия выше всего этого! И я всегда ненавидела всё срединное, это совершенно не для меня. Я и у средних портних никогда не одевалась. То-есть, одевалась, но с презрением. Одеваться, так у Кристиан Диор. И как досадно, что именно теперь, когда есть деньги, поехать в Париж нельзя! Это тоже твоя вина... А твои люди монолиты это так vieux jeu! Я начинаю думать, что и в роялизме есть своя прелесть. Ты когда-нибудь слышал: «Oh, Richard, oh, mon roi?»

— Нет. И полковник верно тоже не слышал. Поэтому ему лучше этого не говори.

— Я с ним наладила очень хорошие отношения. Он хамоват, но, кажется, я ему понравилась, — сказала Эдда с застенчивой улыбкой. Она вообще смотрела на свое участие в разведке, как на милую, забавную проказу; даже не очень ясно понимала, кому она собственно служит.

— Это отлично и даже совершенно необходимо. И мы с тобой, повторяю, должны расстаться по хорошему. Мы друг друга знаем и любим. Заключим Gentleman agreement. Очень советую тебе болтать поменьше. Тогда я о тебе не скажу ни-

чего, кроме самого лучшего. Веди себя с Рамоном вообще тихо. Не устраивай истерик, разве только простые маленькие сцены. Ты впрочем не истеричка, т. е. ты устраиваешь истерики редко. Но имей в виду, что он первобытен и вспыльчив, может дать тебе и по уху. Против этого ты, вероятно, ничего иметь не будешь, однако и щедрости у него убавится. И у тебя больше не будет тонких блюд и изысканных вин. Что бы он тебе ни говорил, отвечай: «я именно это хотела сказать!» или «я именно это хотела предложить!» Восторгайся его идеями. Можешь восторгаться и его элегантностью. Впрочем, он в самом деле элегантен. Ему полагалось бы, например, носить такие галстухи с полосками и с цветочками, от которых колокола начинали бы бить набат. А у него галстухи одноцветные, без рисуночков, очень хорошие. Как у меня... Ну, а теперь, сиятельная догаресса, ты должна вернуться к твоим подданным, на «машкараду», как сказал бы твой шут, полковник. Выйди первая, одна. А почему ты без хари?.. В старину маска называлась харей.

— Ты боишься, как бы Наташка-горняшка не увидела нас вместе? Всё равно я в любую минуту могу тебя у нее отбить. Я полжизни отдала бы, чтобы она от тебя сбежала!

— Неужели полжизни? Я боюсь, как бы нас не увидел вместе дож. Он тогда сбросит меня с балкона в Большой Канал. Это, кажется, в «Лебедином Озере» два танцора танцуют на высокой скале и на каком-то антраша один сбрасывает другого со скалы в пучину. Кроме того ты тогда не получишь короны.

— Ну, хорошо, так и быть, я согласна на gentleman agreement. Только в виду моего огромного успеха... Ты на меня всегда имел влияние. Ты один! Я объясняю себе это тем, что имела неосторожность тебе отдаться в первый же день нашего знакомства. Это страшно важно!

— На какой день вашего знакомства ты отдалась Джиму?

— Тоже в первый день, но это было по долгу службы.

— А Рамону?

— Рамону на второй.

— Держись за него, кохана.

— Постараюсь. Меня не забывают мужчины, которых я бросаю. И ты не забудешь. «Tu ne quitteras plus les hontes triomphales. — Qu'inventa, une nuit, mon vieux démon charnel!», — грозно продекламировала она.

— Это твои стихи? Или только тобою исправленные?

— Как у меня теперь синяки под глазами? Меньше или больше?

— Гораздо меньше. Никаких синяков. Только вот что, дочь моя рожоная. У тебя всегда всё в жизни кончалось вздором. На этот раз постарайся изо всех сил твоего небольшого умишки. Глотай всё что попадется с жадностью, как щука. Брать с Рамона деньги, это угодное Богу дело. Тотчас произведи рокировку, как в шахматах. Обеспечь себя. Высоси из него тридцать шесть миллионов золотых франков, как маркиза Помпадур у Людовика XV.

— Я уже от тебя раза два слышала о Помпадур. Ты повторяешься... Теперь скажи мне тридцать раз le mot de Cambronne.

— Это еще зачем?

— Разве ты не знаешь, что таков старинный обычай во всех театрах Франции? В случае успеха надо сказать артистке le mot de Cambronne.

— Я не могу произнести такое слово на коронации дожа.

— На ухо, — предложила она, подставляя ему щеку.

— На ухо, пожалуй, скажу с удовольствием.

Оставшись один, он закурил новую папиросу, курил теперь беспрерывно. — «Ах, как скучно! Смерть мухам. Просто сил нет!» — думал он. — «Какой идиотский праздник! За последние годы таких было три или четыре. Левый социолог увидел бы в этом символ обреченности буржуазной культуры. Может быть, но и она лучше того, что может прийти ей на смену. И это в моей жизни еще далеко не самое худшее... Как ужасен тот мир, в котором я прожил почти всю жизнь! Уж если я сам задыхаюсь, «подлец из подлецов», как она сказала. Просто поверить трудно... Ведь есть в мире светлое, есть

столько хороших людей, почему мне так не повезло в жизни?.. Но теперь я навсегда вылезу из грязи. Завтра уедем... Что я делал бы без Наташи?..»

В одной из гостиных он наткнулся на Рамона.

— Ну, что, как по вашему? Всё хорошо?

— Изумительно. Ваш праздник перейдет в историю.

— Теперь и вы видите, что может сделать частный человек, сознающий свои обязанности!.. Выражаю вам благодарность за помощь и советы.

— Я сдал последние счета и остаток ваших денег секретарше, — сказал Шелль. — Как вы знаете, мы завтра вечером уезжаем. Завтра и я, и вероятно вы, будем заняты целый день. Позвольте с вами проститься.

— Я приеду на вокзал.

— Это очень мило, но зачем вам беспокоиться? Как хотите. Тогда простимся на вокзале.

— Вы сейчас уезжаете домой? Неужели не останетесь до конца праздника?

— Нет, у меня сильно болит голова.

Голова у него действительно болела. И никогда еще он к себе не чувствовал такого отвращения, как теперь. Шелль не опасался, что Эдда обольет Наташу «царской водкой», но, как с ним иногда бывало, его вдруг стало мучить неясное предчувствие больших несчастий. «Ни малейших оснований нет, напротив всё в полном порядке... Где Наташа? Сейчас же домой, сию минуту».

Он поднялся по лестнице и вошел в зал, не обращая внимания ни на марионеток, ни на публику, недовольно на него оглядывавшуюся. В полутьме тотчас разыскал взглядом Наташу. — «Она наверное в самом последнем ряду. Да, у нее inferiority complex, а у меня острая неврастения, одно стоит другого». Он подошел к Наташе сзади, и, наклонившись над ее стулом, спросил:

— Тебе, вероятно, очень скучно? Поедем домой, а?

— Отлично, поедем, — ответила она шопотом, удивленно на него глядя. — Ведь ты говорил, что часа в три... Хочешь

сейчас? Теперь не особенно удобно уходить, люди и то косятся...

— Пусть косятся сколько им угодно, пропади они пропадом, — сказал он, злобно глядя на публику. — Мы с утра едем на Лидо, надо выспаться. Впрочем, мне надо еще проститься с секретаршей. Я спущусь и вызову нашу гондолу. Через четверть часа буду ждать тебя внизу, у двери. Хорошо? — сказал он и, не дожидаясь ответа, не взглянув даже на сцену, отошел. Наташа с испугом смотрела ему вслед. «Что с ним?».

Пышно одетые большие куклы с размалеванными лицами, с тщательно завитыми волосами, бегали по сцене, разговаривали, вращали глазами на неподвижных лицах. Джим просто не мог поверить, что за них говорит и приводит их в движение один, теперь невидимый, человек на вышке. Была и карусель; Робеспьер гонялся за Марией-Антуанеттой. Элита в первых рядах оценила символ и одобрительно кивала. «Это, кажется, последнее слово искусства», — с недоумением думал Джим, вспоминая парижскую драму, которую видел с Эддой. Шпионка с лисьей мордой была, наконец, поймана. При ней нашли бумагу с какими-то цифрами.

Наташа вдруг почувствовала сердечную боль. «Что такое? Что случилось?..» Вспомнила не сразу: тот листок, выпавший из словаря: 320... — «Ну, и что же? Какой вздор опять!..»

У нее вдруг полились из глаз слезы. Уже через час после того она и понять не могла, что такое с ней случилось. Но теперь самые странные, самые неожиданные мысли вдруг ею овладели. «Неужто ошибка? Неужто всё было ошибкой! Не может быть! Я просто схожу с ума... А если ошибка, то что же теперь делать? Уйти в монастырь! Сейчас вернуться в гостиницу, собрать вещи, мои прежние вещи и уехать, ничего не сказав?.. На *его* деньги уехать! В какой монастырь! Нет тут православных монастырей... И я люблю его... Что мне делать?.. Не надо плакать, люди могут заметить... Темно, не увидят. Разве я могу от него уехать, хотя бы он был темный чело-

век! Нет, мне померещилось, как тогда на Капри во сне. Всё от него скрыть... Конечно, конечно, скрыть... А он говорил, что я не умею лгать... Всё вздор, всё!» — прикрикнула она на себя. Слезы у нее лились всё сильнее.

Джим увидел, что к концу представления к даме опять подошел тот же великан-телохранитель. «Да, конечно, муж. У нее никакого cavalier servant по венецианской моде нет и быть не может», — подумал Джим со вздохом. «Такую жену и хотел бы иметь, но непременно американку. Жениться нужно на *своей*»...

Куклы плясали на площади вокруг гильотины и страшно кричали хриплыми голосами. Оркестр играл в бешеном темпе. Так же бешено пели куклы: «Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates à la lanterne!..» Народ в глубине зала бурно аплодировал, но без злобы. Аплодировала и элита. «Самая подходящая здесь музыка!» — подумал Джим. Впрочем, он был настроен не революционно. «Всё это гадко, революции, гильотины, войны, разведки! Нет, моя задача в жизни ясна и чиста: любовь, искусство, труд, больше ничего мне не нужно. И пусть они делают что им угодно!»

(Последний отрывок следует)

М. Алданов

***

Немного солнечных страниц
И — мартовская неурядица.
А болтовня прилётных птиц
В сырых кустах еще не ладится.
Немного милых пустяков,
Немного капель валерьяновых,
Как средства против страшных снов,
И кажется — всё будет заново.

Юрий Трубецкой

ИСИГОНА

Щедрое крымское солнце льется с безоблачного неба, обнимает древнюю, покрытую тысячелетними морщинами бурую землю, качается на бирюзовых волнах Стрелецкой бухты, отскакивает от медных пряжек и черных, начищенных до ослепительного блеска краснофлотских ботинок, играет с бабочкой, танцующей вокруг белой тульи командирской фуражки.

— Ра-а-авняйсь!

Об этих местах писал еще географ Страбон, живший в начале первого века после Рождества Христова; писали Птоломей и Полиэн, современники Марка Аврелия, Флегонт из Тралл, Плиний Старший, византийский император Константин Багрянородный... А наш князь Владимир Красное Солнышко ходил сюда походом. Ведь его Корсунь — это тот же Херсонес, полуразвалившиеся стены которого можно увидеть там, за последним бараком.

— По порядку номеров р-р-расчитайсь!

— Первый! Второй! Третий!.....

Нет, лучше не думать об истории. Надо думать о том, как приятно прозвучит сейчас собственное имя, хрипло вырвавшееся у дежурного командира. Значит: увольнение на берег — разрешено. Почему «на берег»? Ведь мы же находимся на твердой, веками не сдвинувшейся со своего места земле. В «Киево-Печерском патерике» есть рассказ о торговле русскими пленниками в Корсуни. Турки называли Херсонес Сарыкерман, желтая крепость. На берег! Так полагается: в морском училище всё должно называться по-морскому. Училище — это корабль, приросший к земле. Но почему командир так долго не называет фамилии Жученко? Ведь, по алфавиту она давно прошла.

— Игнатьев! Ильченко! Круглов! Курапетян!

Нет, наверно, просто перепутали порядок. Это бывает. Читай, читай скорей! Вот, сейчас распустят строй. Можно будет идти мимо часового, туда, за поворот дороги, где еще висит в воздухе сухая, белесая пыль от пробежавшего почтового грузовичка. Но дальше нет, не по дороге, а прямо по сухой, выжженной солнцем траве Гераклейского полуострова, спускаясь в заросшие цепким репейником овраги, перешагивая через древние каменные межи, мимо Карантинной балки, в которой севастопольские мальчишки уже почти сто лет непрерывно играют в войну...

— Тимофеев! Тригуб! Чанкатадзе! Чулков! Шило!

Скоро кончит, а Жученко всё нет. Неужели не пустят? Не могут! Не за что! Но откуда, всё-таки, эти однообразные, выложенные осколками камня межи, которые делят сухую, бесплодную землю на ровные прямоугольники? Кому они нужны? Сколько раз переступал через них и никогда не подумал об этом. Да не о них ли говорит надпись на мраморной плите там, в старой церкви, превращенной теперь в Херсонесский музей? Как это?

«Народ поставил статую Агасикла сына Ктесия,
Размежевавшему виноградники на равнине,
Бывшему стеностроителем,
Устроившему рынок,
Бывшему стратегом и жрецом».

— Товарищи курсанты! Все, которые названные, могут идти. Остальные по своим баракам. Р-р-разойдись!

— Товарищ младший лейтенант, почему меня не выкликали? Жученко — моя фамилия! У меня все зачеты в порядке и никаких взысканий нет. Проверьте, пожалуйста.

— Отставить разговорчики, товарищ курсант! Раз не выкликал, значит нет вас в списке. Если интересуетесь, можете узнать у своего строевого командира, почему оставлены без берега. Р-р-разойдись!

Значит надо тащиться назад, в опостылевший барак, снимать парадную форму, переодеваться в застиранную парусиновую «робу», чтобы опять провести весь выходной день, бес-

цельно слоняясь по территории училища, на которой нет ни одного угла, где бы человек мог остаться один, наедине со своими мечтами и неясными, щемящими сердце образами. Нет, лучше рискнуть: пойти на самый край, к обрывистому изгибу Песочной бухты. Там, цепляясь за чахлые кусты и осторожно ставя ноги в расселины камней, можно вдоль берега проскользнуть мимо колючей проволоки на безлюдные развалины Херсонеса, где душистая степная трава, усеянная алыми маками, мятежно растет около высоких обвалившихся стен, среди мраморных фундаментов базилик, на краю глубоких квадратных ям, служивших некогда хранилищем янтарного вина и пахучей хамсы. Как хорошо там лежать в траве, следя глазами за полетом черно-белых чаек, тех неизменных, вечных чаек, которые так же гортанно кричали, кружась над Херсонесом тысячу лет назад, когда он был молодым, полным кипучей жизни городом. Хорошо пройти и к самому берегу, разыскивая следы ускользнувшего, но такого еще живого здесь и близкого прошлого. Веками море подмывало крутой берег, отрывая от него кусок за куском. Среди осыпавшихся, сползающих вниз пластов земли можно найти черепки глиняной посуды, иногда со следами причудливого орнамента, и маленькие кусочки стекла, ставшего от времени радужным. Как давно, сколько безымянных столетий назад эти запыленные, почти непрозрачные, но еще сверкающие на солнце осколки были частями бокала, наполненного вином? Какие губы касались его краев, какие звучали песни и речи? А кто стоял на этих истертых, искрошившихся каменных ступенях, которые обрываются на полпути к морю? Они лежат здесь так бесконечно долго, что видели всё на своем веку. Когда-нибудь на них стояла черноглазая девушка, прекрасная как менада с чернолаковой вазы. Тот же легкий морской ветер колебал пряди ее волос, а море было таким же зеленым вблизи и таким же синим вдали, как и сейчас. Так же лениво колыхались на его волнах бесформенные медузы и такие же черно-белые чайки улетали куда-то. Кто была она? Не о ней ли говорит надпись на стенке саркофага?

Исигоною от родителей мне зваться положено,
Дважды девять годов оставалась я девою;
Когда же пошел год девятнадцатый,
Дланями своими возжегши костер,
Меня мать схоронила.

О чем думала юная херсонитка Исигона, смотря на эти медленно ползущие зеленые волны, на это бездонное небо, на этих чаек, утопающих в нем? Не о неведомом ли юноше, который тысячу лет спустя придет сюда, чтобы думать и тосковать по ней?

***

— Ну и жарища, товарищ комиссар: дыхнуть невозможно.

Сизые облака табачного дыма стоят в неподвижном воздухе. Солнечные лучи пробиваются сквозь занавешенные окна, длинными шпагами врезаются в табачные клубы и резко ломаются почти у самого пола на обоях противоположной стены. Жалобно, беспрерывно жужжат пленные мухи, застрявшие в узком пространстве между шторами и стеклами окон. Старший лейтенант Севастьянов, строевой командир учебной группы, сидит на приеме у комиссара училища Бутузова.

— Действительно печет! Пожалуй, пора кончать разговор. У тебя всё?

— Еще один вопрос, — говорит Севастьянов, оттягивая двумя пальцами стоячий воротник кителя: — не знаю, что мне делать с этим Жученкой. Ума не приложу, что он за парень.

— Ну, что еще с ним? — вяло спрашивает комиссар. — Только и есть нам дел, что с ним возиться.

— Поэт он! Понимаете? Стихи пишет.

— Ну, что ж из этого? Демьян Бедный тоже поэт. Опять же Пушкин.

— Не знаю, как вам выразить, товарищ комиссар. То, так сказать, наши поэты, а это не наш, не по-нашему пишет.

— Ага, — оживляется Бутузов, — что-нибудь антисовет-

ское черканул! Смотри: ты за такие штуки билетом отвечать будешь.

— Да нет, нет, — машет руками Севастьянов. — Что вы, товарищ комиссар. Не первый год служу: дело знаю. Тут было бы просто: передал матерьял в особый отдел — и вся недолга. Совсем не то! Он пишет так, что с этой точки к нему никак не подъедешь. Нынешней жизни вообще прохвост не трогает. В прошлое, понимаете, ударился. Богини какие-то его интересуют, рыцари, что ли, всякая древняя, как бы сказать, мертвечина.

Комиссар открывает новую пачку «казбека» и глубоко затягивается. Волнистые клубы дыма, извиваясь, пересекают солнечные полосы.

— А как у него насчет социального происхождения? — наконец говорит он. — Проверил? Откуда идет влияние?

— Так точно: тщательно проверили, по всем линиям. Получается ни то, ни сё. Классово-чуждым назвать нельзя, но и в свои не очень-то годится. Из семьи старого спеца. Отец его в музее каком-то научным консультантом работает. Близких родственников репрессированных нет. Ну, дальние, конечно, как у всех. В переписке с заграницей никто в семье не состоит. Как тут понять?

— Понять-то можно, да не твоего ума это дело. В комсомоле этот твой Жученко не состоит?

— Пока нет. Взял анкету и цельный месяц держит.

— Общественная работа? Академическая успеваемость? — отрывисто бросает Бутузов.

Севастьянов наматывает на палец конец носового платка, просовывает его под воротник и обтирает мокрую от пота шею.

— Да всё как-то у него, товарищ комиссар, серединка на половинку. Общественная работа есть: собирает членские взносы в Осовиахим. Но что это за нагрузка? Учится неплохо. По большинству предметов «хорошо» да «отлично», а вот по социально-общественным-то дисциплинам только «удовлетворительно». «Краткий курс», понимаете, проработал всего до пятой главы. Взыскать нельзя: некоторые курсанты еще меньше

ше. Но, елки-палки, при его развитии он легко среди передовиков мог бы быть. Не хочет. Явно не хочет.

Комиссар тушит в блюдечке, заменяющем ему пепельницу, недокуренную папиросу, и вяло говорит:

— А ты не пробовал его к стенгазете привлечь? Он же, так сказать, писатель, стихи сочиняет. Мог бы к первому мая чего-нибудь махнуть или к выборам. Я вот и то, смешно сказать, для «Красного Черноморца» чего-то там нацарапал... с рифмой, веришь ли, складно. А у него время-то побольше моего.

— Куда там! Сто раз говорил. Отвечает: у меня не такой характер творчества. Вон куда загнул! Не выходит, значит, у него по-нашему. Я его уж за этот характер без берега оставлял. Наши стенгазетчики в каждом номере прохватывают. Ничто не берет.

— Вот как! — Бутузов стучит ребром ладони по столу. — Ну, некогда мне сейчас этим заниматься. Передай этому твоему, как его, Жученке, что ему предлагается написать что-нибудь для нашей многотиражки и обязательно на животрепещущую советскую тему, словом, насчет социалистического строительства в нашей стране. Мало ли хороших тем? Пусть сам выбирает. Мы его творчества не стесняем. Вот, например, был я на прошлой неделе в Москве, на сельско-хозяйственной выставке. Так там что ни павильон — полная поэма. Зверье одно взять: коровы, лошади, овцы — красота! Свиноматку одну видел... так, понимаешь, что твой слон. Лежит сволочь и с боку на бок перевернуться не может. Еле дышит. Столько жиру. А мичуринские яблоки! Ни дать, ни взять арбузы какие-то. Всё это — наши достижения. Почему не описать? Опять же метро московское. Где еще такое на свете? Короче говоря, дай ему задание от моего имени, да предупреди, что я вызову и проверю исполнение. Нечего нам с ним чикаться.

***

На доске клубных объявлений тремя кнопками пришпилен квадратный кусок грязно-серой оберточной бумаги:

19-го июля с. г., в 8 часов вечера, в помещении
СТОЛОВОЙ 1-го КУРСА состоится товарищеская

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА

курсантского и начальствующего состава
с московским поэтом

КАСЬЯНОМ БЕЗБРЕЖНЫМ,
членом Союза Советских Писателей.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Может быть, это — выход? Может быть, это — спасение? Он — поэт, а не строевой командир. Он понимает, должен понять, что есть вдохновение, которое нельзя вызвать наверх по боцманскому свистку. Он сам пишет и знает. Он скажет им, этим людям... Курсант Жученко читает и думает, и снова читает. А всё-таки странно и стыдно, что он сам не мог сказать этого комиссару. Почему у нас нельзя сказать прямо: я не могу писать о ваших колхозных удоях, магнитогорских комбинатах, сталинских каналах просто потому, что они меня не интересуют, не трогают ни ума, ни сердца. Нет, нельзя. Ведь это ясно, что таких слов нельзя и вымолвить. Но почему, почему? Потому, что это — гибель и конец всему. «Будь осторожен, — говорил отец, — ради Бога будь осторожен. Помни, что ты у меня один». Но разве это ответ на вопрос? Разве это что-нибудь объясняет? Что-то искривлено, исковеркано в нашем мире. Неужели так всегда было? Неужели так было в древнем Херсонесе, где жила Исигона? Неужели и там люди бесконечно лгали, скрывали свои чувства, жили двойной жизнью, повернутой спиной к солнцу?

Жученко стало холодно и страшно. Ему вдруг показалось, что отец, дорогой и любимый отец, которому он так доверял, и другие взрослые, умные люди, иногда такие добрые и за-

ботливые, позабыли сказать ему что-то самое важное, самое необходимое, без чего совсем нельзя жить. И вот теперь он один, безнадежно, беспросветно один среди чужих. И никто не может ему помочь, потому что люди даже не знают, чего ему нехватает. А он сам не может их спросить, потому что не знает, как начать, как выразить свои сложные запутанные мысли, чтобы не нарушить бесконечных запретов, которые его окружают, чтобы не сказать того страшного, о чем нельзя говорить вслух. Но ведь он же не хочет ничего плохого. Он только хочет снять с себя какую-то тяжесть, которая сгибает его, прижимает к земле, искривляет, отдаляет его от Исигоны, от маленьких белых гребешков, бегущих по зеленому морю, от крикливых чаек, кружащихся над его головой.

Маленький камень выскользнул из-под ноги и покатился вниз, прыгая по выступам откоса. Чтобы сохранить равновесие, Жученко ухватился рукой за выступающую над обрывом ветку и, изгибаясь всем телом, обогнул последний колышек, к которому был прикреплен конец колючей проволоки. Кажется никто не заметил! Нельзя, чтобы поймали. Один раз капитан Владимиров, преподаватель морской практики, видел его «за чертой». Но он добрый, Николай Николаевич, не рассказал никому. Даже сначала не подал виду, что заметил. Только много дней спустя, когда случайно после урока они остались одни, сказал шопотом: «Прошу вас, Жученко, не шутите такими вещами. Сейчас очень, очень строго. Самовольная отлучка из части — дезертирство, по последнему приказу. Попадете под суд — и пропали. Несколько лет концлагеря. На вас ваш командир и так зубы точит. Смотрите у меня». Хороший он, Николай Николаевич. Ведь он и сам рискует всем, за то что не донес. И так уж у него положение очень плохое. Все курсанты знают, что у него недавно был обыск на квартире. Ночью в комсоставский сектор военного городка приезжало НКВД. Забрали и другого хорошего учителя, преподавателя теоретической механики Рихтера. Его тоже все любили, как и Владимирова. И почему только такие вещи всегда случаются с хорошими людьми?

На развалинах было так же спокойно и безмолвно, как всегда. Жужжали толстые мохнатые шмели, перелетая с цветка на цветок. Легкий морской ветер мягкими, беззвучными волнами пробегал по высокой траве, качая головки маков. Маленькие крабы возились в прибрежной гальке, наслаждаясь теплом и светом, смешно, боком, но очень быстро перебегали через каменные ступени и кубарем летели вниз, чтобы снова спрятаться под камни. Взбудораженная мысль успокаивалась и опять текла в какой-то странной гармонии со всем окружающим.

Может быть, всё не так страшно и безнадежно, как кажется. Должен же московский поэт знать выход. Он что-то творит и создает. У него, конечно, были те же вопросы и те же тревоги. Он поймет и поможет. Ему даже не надо объяснять ничего. Ведь, всё сказано в стихах. Он прочтет и почувствует, и всё окажется таким простым и ясным, что потом самому не захочется верить, что такое простое решение не пришло раньше в голову.

**
*

Товарищ Безбрежный ровно два часа читал свои собственные стихи, сопровождая их учебными комментариями. Долго и подробно останавливался он на достоинствах каждого прочитанного стихотворения, терпеливо объяснял слушателям, чем особенно хороша та или иная строфа, почему неоспоримо следует признать блестящей ту или другую рифму, говорил о размере, ритме, аллитерациях, метафорах и эпитетах.

Это был человек маленького роста с лицом, носившим следы пережитой некогда оспы. Его новый, но сильно помятый коричневый костюм сидел на нем несколько мешковато, и вообще он почему-то показался Жученко похожим на районного агронома, нарядившегося в выходной день. Сходство довершала блинообразная кепка, которую московский поэт ни на минуту не выпускал из рук. Говорил столичный гость бойко и гладко, но довольно заметно окая и делая иногда неправильные ударения в иностранных словах.

— Ну, что, товарищи, — закончил Безбрежный, — понятно вам теперь, какова должна быть наша советская поэзия в период окончательного завершения строительства социализма? Понятно, какие высокие и почетные требования предъявляют к славному цеху поэтов партия и правительство? Для нынешнего этапа нашей оборонной тематики характерна следующая строфа из моей поэмы «Сталинские соколы»:

Наши летчики летают
Дальше всех и выше всех.
Это вождь, товарищ Сталин,
Обеспечил им успех.

— Теперь перейдем к другим вопросам. Я был очень обрадован, узнав, что в вашем училище есть несколько молодых, начинающих поэтов. Так оно и должно быть, товарищи. Наша великая родина, под ярким солнцем самой демократической в мире сталинской конституции, на каждом шагу рождает таланты. Никогда еще за всю историю человечества людям не были открыты такие огромные возможности, такие поистине беспредельные просторы для развития своего дарования, как у нас, в нашей советской стране.

Касьян Безбрежный сделал паузу, переложил кепку из правой руки в левую и, поплевав на пальцы правой руки, стал быстро листать маленькую стопку бумаги, которая лежала перед ним на столе.

— Из работ ваших товарищей, — продолжал он, — мне особенно понравилось стихотворение младшего командира Емелькина «Красная площадь». Конечно, ему еще надо много поработать над собой прежде чем из него получится настоящий поэт. У товарища Емелькина явно хромает рифма, редко где выдержан размер, иногда попадаются неясные обороты, вроде: «Ворошилов выезжает на восторженном коне». Что хотел автор сказать словом «восторженный», не совсем понятно. Но всё это — беда поправимая. Главное у него есть подлинное чувство, правильное понимание наших задач и уменье найти нужную, актуальную тему.

Безбрежый снова сделал паузу, не выпуская кепку, отер тыловой стороной руки вспотевшее чело и продолжал ясным митинговым голосом:

— К чему приводит отсутствие этих качеств даже при некотором формальном мастерстве показывает пример другого начинающего поэта из вашей среды, товарища Жученко. Возьмем одно из его, так сказать, творений, которые он подал мне на просмотр. Называется оно: «Херсонес». Что это значит, вам здесь всем понятно, но сомневаюсь, чтобы это было столь же понятно где-нибудь в другом конце нашего необъятного Советского Союза. Однако не в названии суть. Читаем дальше:

Солнце ласково гладит лучами,
Пыль веков под ногами лежит.
Сколько славы здесь люди встречали,
Сколько слез, поцелуев и лжи!

Всё прошло, растворилось в тумане
Превратилось в мечту или тлен,
И лежат в мировом океане
Только камни разрушенных стен.

Эти камни, впитавшие шопот,
Шорох тысяч ушедших шагов,
Затаившие стоны и ропот
Под стенами погибших врагов....

Эти камни, — былое сокрыто, —
Не укажут ни часа, ни дня,
Не расскажут, когда Афродита
Сотворила тебя для меня.

Но в столетней бушующей пене
Различаю фигуру твою:
Ты стояла на этих ступенях,
На которых сегодня стою.

Ты смотрела на море безмолвно:
На душе неразгаданный груз.
Как сегодня зеленые волны
Поднимали прозрачных медуз,

Как сегодня манящие чайки
Улетали за море невзгод;
Почему же родился случайно
Я в чужой, неназначенный год?

И теперь я не знаю покоя,
Ты меня заставляешь идти,
Чтобы встретиться где-то с тобою,
Чтобы встретить тебя на пути!

Товарищ Безбрежный перевел дух, изобразил на своем лице выражение некоего покровительственного осуждения и сказал:

— Конечно, можно признать, что автор усвоил некоторые элементарные законы стихосложения. Неплохо, например, у него получилась звуковая инструментовка на звук «л», который затем переходит в шипящий звук «ш»: «ласково гладит лучами... камни, впитавшие шопот... шорох уцедших шагов» и так далее. Это создает некоторое настроение. Но все эти приемчики отнюдь не спасают всего произведения в целом, которое, надо прямо сказать, никуда не годится. Прежде всего: что поймут трудящиеся массы из подобного, простите за выражение, опуса? Ровным счетом ничего! И это, между прочим, хорошо, что не поймут, ибо ничего путного они всё-равно не смогли бы оттуда извлечь. Всё стихотворение пропитано чуждым нам, упадочническим, пессимистическим духом. Оно ни в какой мере не мобилизует энергии читателя, не зовет его к выполнению наших великих задач, напротив. оно расхолаживает, оно отвлекает всторону с нашего пути. Ну, товарищ Жученко, вы же советский поэт. Подумайте что есть советского в вашем произведении? Ведь оно, не меняя ни единой строчки, могло бы быть написано в любой капиталистической стране. Так зачем же его создавать у нас? Даже по форме стихотворение Жученко вредно и недопустимо. Столбовой дорогой советской литературы является, как известно, социалистический реализм. Мы должны вести непрестанную борьбу за чистоту этой дороги и самым решительным образом пресекать всякие попытки свернуть с нее в болото всевозможных романтических бредней. Откуда у вас, товарищ Жученко, взялись все эти Афродиты, эти таинственные фигуры давно сгнивших в земле красавиц, это нелепое сродство душ на протяжении тысячелетий? Вы же молодой советский парень! Не к

лицу вам такая белиберда. Знаете ли вы, кто такая была Афродита? Ведь, это же древне-греческая богиня, родившаяся якобы из пены морской, своего рода религиозный опиум для моряков тех времен. На что она нам? Уж если вы непременно хотите писать о прошлом, так находите там, по крайней мере, моменты, созвучные нашей эпохе: первобытный коммунизм, классовую борьбу в античном обществе, восстания рабов и так далее. Нет, товарищу Жученко необходимо коренным образом перестроиться, иначе он рискует оказаться за бортом не только советской литературы, но и всей нашей кипучей, красочной советской жизни. Перейдем теперь к значительно более светлому явлению — поэме старшего лейтенанта товарища Гнедых — «Боевые денечки». Это тоже история, но история совсем другого рода. Перед читателем разворачиваются картины гражданской войны в Сибири, борьба с интервентами, колчаковщиной...

Жученко не слышал последних слов. Он вышел на воздух, захлопнув за собой дверь столовой. Там было жарко, невыносимо жарко, но и прохладный ночной ветер, пахну́вший в лицо и в открытую над полосатой тельняшкой грудь, не принес облегчения. Попрежнему было душно, попрежнему нехватало воздуха. Ощущение страшной, давящей беспомощности охватило его. Нет, скорей на руины, к своему одиночеству! Он еще никогда не был там ночью! Опасно? Ничего! Другого исхода нет. Только там можно дышать и жить.

**
*

— Ну, что я говорил, товарищ комиссар! Не первый год служу и не первый год в партии. Я врага сумею различить под любым обличьем. Во-время подал сигнал. На первом месте у меня пролетарская бдительность... как вы учите, товарищ комиссар.

— Говори толком.

Голая, засиженная мухами электрическая лампочка качается на длинном шнуре. Бутузов сидит в расстегнутом, на-

спех накинутом на ночную рубашку кителе, закрывая зевающий рот рукой. Старший лейтенант Севастьянов стоит перед ним гладковыбритый, в полной форме, застегнутый на все пуговицы и говорит, мешая тревогу с торжеством.

— Чрезвычайное происшествие в моей учебной группе, товарищ комиссар! Жученко-то этот, курсант Жученко, как я и предупреждал, выявил свое лицо. Хотел дезертировать из части. Выбрал сукин сын подходящий момент. Когда весь состав был на научном докладе по литературной линии, он, значит, пытался выбраться за пределы территории училища, за проволоку, так сказать, но сорвался и упал на камни возле западной оконечности бухты Песочная.

Бутузов берет блокнот и карандаш, водит графитом по губам, но затем отбрасывает карандаш в сторону и бормочет сонным голосом:

— Утром подашь рапорт по форме. Где он сейчас?

— Разрешите по порядку. Хватились на вечерней поверке. Я немедленно принял меры и через двадцать минут нарушитель был обнаружен. Поломал себе ноги и разбил башку. Находился в состоянии бессознательности. Отправлен в Севастополь на машине, в военный госпиталь, в спецотделение.

Комиссар нервно застегивает и расстегивает верхний крючок кителя.

— Неприятная история. Четвертый случай побега за последнее время. Чорт знает, что делается! Пора положить конец! Поправится, будем судить показательным судом. Впрочем, от этого типа я ничего другого и не ожидал. Мы сделали всё, что могли.

— Как волка ни корми, товарищ комиссар, а он всё в лес смотрит. Кажется, чего ему нехватало? Всем обеспечен... с утра до вечера. Обут, одет, сыт.

— Ну, без лишних рассуждений. Передай от моего имени дежурному по части, чтобы завтра, во время обеденного перерыва, собрал митинг всего личного состава. Вынесем резолюцию: нет пощады дезертирам, предателям социалистиче-

ского отечества. Потом проработаем этот случай на политзанятиях. Впрочем, это уж мое дело. Можешь идти.

Севастьянов прикладывает руку к козырьку и поворачивается к двери, щелкая каблуками, но Бутузов останавливает его:

— Не забудьте сделать самый тщательный обыск в вещах у этого Жученки. Все бумаги передать в особый отдел. Пусть они почитают, что у него за поэзия. Они в этом деле больше нашего понимают. Найдут корни. А теперь гаси у меня свет. Мне тоже покой нужен...

В. Бондаренко

***

Кто-то коврик трясет в окне,
Машет пестрым узорным флагом
Новых царств, неизвестных мне,
С корабля с разношерстным благом.

Хорошо бы к нему подплыть,
Познакомиться с ним поближе,
Как лоза, что пришла завить
Эти стены до самой крыши.

И изрытый оспой фасад
Словно в бусинах весь чернильных:
Всё мельчает здесь виноград,
С виноградников солнечных — ссыльный.

Как он льнет к голубому окну,
Как глядится в него — соглядатай!
Любопытно и мне, и ему —
Мы сегодня родных два брата.

Екатерина Таубер

СТРАХ[1]

СУД

Оставалось проверить ошибки. Хуже всего было со знаками препинания — в справочнике о них ничего не сказано. В трудных случаях ставил черточку или кляксочку: если должна быть запятая — можно принять за запятую, если нет — кляксочка, мол, случайная.

Резко и требовательно зазвонил телефон — раз длинно, два коротко, раз длинно, два коротко — так телефонистки звонили ему в случае тревоги или если начальство вызывало.

— Подполковник Трухин?

— Я вас слушаю, товарищ полковник, — Василий узнал голос замполита.

— Немедленно ко мне. Партактив!

Василий, торопясь, заклеил письмо и побежал, находу надевая фуражку и китель. Почтовый ящик висел в коридоре штаба, недалеко от кабинета замполита. «Может быть, еще раз просмотреть?» Но рассуждать было некогда, и Василий письмо бросил.

— Товарищи! — заговорил Гудимов, как только все собрались. — Внеочередное собрание офицерского партактива считаю открытым. Я созвал вас вот по какому делу: по требованию нашего командования американские власти передали нам изменника родины...

Василий стиснул зубы, чтобы не ахнуть.

— ...который недавно бежал из наших рядов на сторону врага. — Гудимов обвел собравшихся командирским взглядом. Василий сидел белый, как при ранении. Ему показалось, что взгляд полковника задержался на нем.

---

[1] Отрывки из подготовленного к печати романа.

— Предатель находится в нашем СМЕРШе. Политкомандование армии решило устроить показательный суд у нас в клубе. Солдаты и офицеры дивизии изменника знают в лицо. Я вас собрал сюда, чтобы вы выбрали из своих подразделений людей для присутствия на суде. Здесь список — сколько человек из каждого подразделения. Остальные будут слушать по радио в казармах. Коэффициент полезного действия от открытого заседания трибунала должен быть наивысшим. Предварительно поговорите с народом. Упор на то, что американцы выдали дезертира по требованию нашего командования, согласно существующему соглашению о дезертирах. Об остальном позаботится трибунал. Чтобы отбить охоту у всех притаившихся изменников! Вот так. Разойдись!

Молча подходили к столу, заглядывали в список и расходились, ступая на носки, словно в соседней комнате кто-то был при смерти. Василий едва поднялся. Только в коридоре решил спросить шедшего рядом лейтенанта Павлушина.

— Кого это?

— Как кого, товарищ подполковник? Сержанта Егорова, Лукашку. У нас пока один.

— А-а... — сказал Василий, чувствуя, что выстрел в упор пощадил — пуля прошла мимо.

На клубной сцене за столом президиума стояли три кресла с высокими спинками. Кумачевую скатерть заменили темно-красной. Над креслами, на заднике сцены висел портрет Сталина — тоже другой: раньше висел в парадной форме, а этот в тужурке, глаза прищурены, под усами злая, довольная улыбка.

Офицеры и солдаты входили молча, занимали места, смотрели на Сталина. Василий заметил, что не один только он отводил взгляд и поглядывал на портрет исподтишка. Может быть, каждому казалось, что Сталин смотрел на него: ага — попался? Слева на сцене стоял простой стол и некрашеный табурет. Справа, впритык к столу президиума — стол понаряднее и стул. В первом ряду уже сидели: генерал, замполит, начальник штаба, несколько старших офицеров из штаба и полуправления армии и других дивизий. Василий сел подальше с

экипажами. Рядом никто не разговаривал. Топали, скрипели сапоги, хлопали сиденья. Многим мест не хватило, становились у стен.

Слева, из-за кулис выглянул оперуполномоченный СМЕРШ-а капитан Филимонов. Стали закрывать двери. Первый ряд разговаривал. Оттуда же, откуда выглянул Филимонов, мелкими деловыми шажками вышел незнакомый офицер с папками. Он пересек сцену, сел за стол справа, разложил папки, потом встал и крикнул:

— Встать! Суд идет!

Зал встал. Василию под коленами мешало сиденье, но так и простоял, согнув ноги, пока входили и занимали места: незнакомый полковник юридической службы — бритоголовый, безлицый, и два заседателя — парторг 1-го полка и герой Советского Союза майор Дудко. После них вышли два солдата с винтовками и стали по углам сцены.

Секретарь передал папку председателю. Тот полистал, пошептался с заседателями, поправил бумаги и неожиданно высоким голосом объявил:

— Открытое заседание военного трибунала 3-ей ударной армии группы советских оккупационных войск объявляю открытым! Слушается дело бывшего старшего сержанта Егорова, Лукьяна Прохоровича, по обвинению в измене родине. Подсудимый обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом Б статьи 58-1 Уголовного Кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — Председатель повернулся к кому-то за кулисами: — Введите подсудимого!

Все смотрели в сторону табурета. Где-то на улице проехал автомобиль. За сценой беспорядочно затопали сапоги, обо что-то деревянное стукнуло железо. Первым появился солдат с обнаженной шашкой. За ним маленькая фигурка в вылинявшей измятой гимнастерке, без пояса и без погон. Черные, густо взлохмаченные волосы и то, что был он без пояса, делали его чужим и отдельным. Второй солдат шел следом и подталкивал фигурку к табурету. Рядом с Василием кто-то громко перевел дух. Василий всматривался в фигурку и не узнавал. И

лицо было маленьким, и губ не было, и шея вылезала из воротника тонкая — Егоров ли это?

Председатель махнул конвою. Солдат потянул фигурку за рукав. Фигурка сломалась под гимнастеркой и села. Председатель стал шептаться с заседателями — в том же порядке: сначала с правым, потом с левым. А зал смотрел на фигурку — да Егоров ли это? Тот, как сел одним движением, так и сидел — лицом к столу, словно боялся смотреть в сторону зала, заполненного рядами лиц, погон, кителей и гимнастерок.

— Подсудимый, ваша фамилия, имя и отчество?

Фигурка, не поднимая головы, что-то ответила.

— Год и место рождения? Отвечайте громче.

— 1924-й... Станица Цимлянская... Ростовской области...

Председатель начал опрос. Василий не слышал. И голос не Егорова. Где-же голос запевалы Лукашки Егорова? А что замполит сейчас думает? Помнит записку: «Ну, гад, я еще вернусь!» Вот и вернулся. Не вернулся, так вернули. Записка, наверно, к делу пришита. Пропал парень...

— Обвинительное заключение по делу подсудимого Егорова! — раздался голос секретаря. — Егоров, Лукьян Прохорович, бывший сержант 97-й танковой дивизии, 3-й ударной армии, обвиняется в том, что 21-го ноября 1945 года самовольно покинул расположение своей части, дезертировал из рядов вооруженных сил Союза ССР, с изменнической целью нелегально перешел границу у города Нордхаузена, с умыслом, в целях способствования иностранной державе связался с ее представителями, добровольно был завербован разведкой упомянутой иностранной державы с намерением причинить ущерб вооруженным силам Союза ССР, передал секретные сведения военного характера: об организации, численности, дислокации, боеспособности, вооружении, снаряжении, боевой подготовке, довольствии, личном и командном составе своей и других частей группы советских оккупационных войск в Германии. Подсудимый обвиняется в преднамеренном нарушении воинского долга и военной присяги и в изменнических преступлениях: дезертирстве, умышленном переходе

на сторону врага, выдаче военной и государственной тайны, квалифицируемых, как измена родине.

— Подсудимый Егоров, признаете себя виновным в совершении перечисленных преступлений? — спросил председатель.

— Признаю! — как-то неестественно выкрикнула фигурка.

— Расскажите суду о содеянных вами преступлениях.

Голова Егорова по-птичьи легко заворочалась на тонкой шее. Он мельком, в первый раз поглядел на зал и зачем-то хотел оглянуться назад, но стоявший позади солдат помешал ему увидеть то, что хотел Егоров увидеть. Василию показалось, что Егоров хотел еще раз в чем-то убедиться, и что это было где-то там, сзади, за кулисами. Многим в зале, из тех кто знал Егорова, вдруг почудилось, что оглянувшись так, он сейчас лихо растянет баян, заведет свою любимую песню «Соловьи, соловьи не будите солдат, пусть солдаты немного поспят», потом посыпет прибаутками, как бывало на привалах в прифронтовом лесу сыпал похожий на него Лукашка Егоров. Под Брестом все лукашкины напарники по экипажу сгорели — один он выскочил. Второй танк подожгли под Кюстрином; спасаясь от огня, Лукашка на глазах дивизионного НП*) бросил танк в Одер, выплыл сам, а потом принялся нырять, пока не вытащил раненого лейтенанта Зурова. «Меня ни огонь, ни вода не берет!» — выжимая штаны, говорил тот Егоров собравшимся за НП связным. За спасение командира генерал тогда Лукашке звезду дал.

Начало рассказа Василий пропустил.

— ...спрашиваю немца: где тут американцы? Он думал, я по делу какому, служебному, довел меня до угла и показывает — вон там их комендатура. Я ему — проводи еще, а он — нет, боюсь. Чего ж ты боишься, спрашиваю? Американцев боюсь, говорит. Чем же они страшные? О, комрад, они сверху вроде и люди, а только хуже зверей. Ну, думаю, ладно. На-

---

* Наблюдательный пункт.

верно, ты фашист, вот и боишься... Пришел. Сидят двое, ноги на столе и жуют — американцы всегда резину жуют, вроде жвачки. Так и так, пришел к вам. А ты кто такой? — спрашивают, поплевывая. Отвечаю: ваш союзник, к вам пришел и, конечно, против советской власти им вру. Так, говорят, проходи сюда. Смотрю, а они меня в кутузку вонючую и на замок. Ну, вот... значит...

— Сколько вас там продержали?

— Два дня.

— Кормили? Как к вам относились?

— На второй день есть так захотелось, аж тошнить стало. Начал стучать — дайте поесть, а они смеются. Ничего, говорят, ты русский — можешь и не поесть. Как же так, говорю, дайте хоть хлеба корочку. Ничего, казак, опять смеются, у вас, у русских, и поговорка такая есть — терпи, казак, атаманом будешь. К вечеру приходят к двери человек шесть. Ну, Иван, говорят, как дела? Дайте, говорю, хоть покурить, курить хочется. Один достает сигарету и протягивает мне. Я только брать, а он назад. Что ж ты издеваешься? — спрашиваю его. А он мне: дам сигарету, если русскую спляшешь нам. Ну, думаю, не дождешься ты этого, рыжий. Они сели против двери и давай есть. Я отворачиваюсь — есть-то хочется. А они хоть бы что. Ну вот... значит...

— Так и не дали поесть?

— Нет, только, значит, забаву придумали; стали мне кости, как собаке, кидать. Да всё в голову норовят попасть Ну, вот... значит...

— Значит, только кости, как собаке, бросали?

— Да. А ушли, не вытерпел я — стал кости грызть. Грызу, а сам плачу от обиды.

— Ну, а потом что было?

— На третий день приехал офицер, заковали мне железом руки и повезли. Я офицера спрашиваю: за что вы это меня, как бандита, я ведь к вам по доброй воле пришел? Там увидим, говорит. Ну, вот... значит... привезли меня в какой-то

лагерь и опять за решетку. Только тогда и дали баланды миску да кусок сухого хлеба.

— Допрашивали вас?

— Офицеры разные вызывали. Расспрашивали про часть — какие, значит, танки, какие пушки, кто офицеры, значит, сколько в Германии войск. Расскажешь, говорят, получишь кусок шоколада. А чуть что не нравится — раз дубинкой по голове. Я, значит, всё, что знал, рассказал, думал — легче будет. Ну, вот... значит...

— А о заводах они спрашивали вас?

— Да, расспрашивали — какие в Советском Союзе заводы и фабрики знаешь? Я им — не знаю, мол, я только сержант. А они — не расскажешь, выдадим назад. Ну, вот...

— А про колхозы спрашивали вас?

— Про колхозы? Да... Про Дон спрашивали, про Кубань... Какая земля, что родит... Я им рассказывал, а они посмеивались только. Хорошо, Иван, говорят, скоро мы к вам придем. Раз у вас такая хорошая земля, так мы ваши города с землей сравняем и всю русскую землю одним полем своим сделаем. Ну, вот... Да и еще: что вы, мол, русские, украинцы и белоруссы и остальные, будете у нас, американцев, на плантациях, вроде негров. Ну, вот...

— А про женщин спрашивали вас?

— Про женщин? И про женщин спрашивали. Майор один, жирный такой, спрашивал — какие у нас бабы? На какой манер? Худые или толстые? Я ему отвечаю — разные бывают. А он мне — ничего, когда домой поедешь, скажи матери и сестре и всем бабам, чтоб встречать готовились — американец любит поесть и поспать хорошенько. Так, говорят, и скажи, чтоб старые женщины яйца и сметану готовили, а молодые постели помягче...

По залу прошел глухой гул. Егоров быстро оглянулся на зал и опять попытался посмотреть назад.

— А кто еще к вам приходил?

— Да, разные... разные американцы с женами и детьми приходили... меня смотреть. Смотрят, лопочут по-своему, сме-

ются, вроде я зверь какой. А одна, толстая, жена главного начальника, даже стул поставила против решетки — жирная дюже, и дочку держит при себе, чтоб не подошла — кусаюсь, мол. Вот, так, значит...

— Так никто к вам и не отнесся хорошо?

— Ко мне? Один человек только пожалел — значит, немец-уборщик. Нет-нет кусок хлеба подбросит. Я у него спрашивал — что это, американцы только к нам, русским, так? Что ты, хлопец, говорит, они и к нам, немцам, тоже так — издеваются, за людей не признают. С другими народами у них один разговор — дубинкой. По всей зоне безобразничают, грабят, насилуют, посмешища для себя устраивают. Едут на машине, увидят, где люди стоят, бросят несколько сигарет и регочут, как люди ползают и дерутся. Мы, говорят, победители. Мы, американцы, весь свет победим.

— Потом что было? Дали вам работу? — перебил председатель.

— Нет, когда, значит, выдавили всё из меня, что им надо было, сказали, чтоб домой собирался. Я испугался, начал проситься, в ногах ползать. А они мне — зачем ты нам здесь, у нас своих безработных некуда девать. На, говорят, тебе за услугу шоколадку. И дали плитку шоколада. Что ж, вы, не выдержал я, издеваетесь, что ли, надо мной? А ты еще недоволен, всыпать ему! Отлупили меня, заковали в наручники и отвезли на границу.

Егоров опять заворочал головой, оглядываясь. Потом приняв тишину за ожидание продолжения рассказа, сказал:

— Значит всё... как было...

Председатель пошептался с заседателями.

— Подсудимый, расскажите суду, что вас побудило перейти границу?

Фигурка шевельнулась и что-то сказала.

— Суду не слышно, говорите громче.

— Легкой жизни искал...

— Думали, что за предательство вам предоставят жизнь без труда, без обязанностей, в пьянстве, среди продажных

женщин? — Егоров молчал. — Нашли вы за границей такую жизнь? — Фигурка покачала головой. — Были ли вы хоть раз сыты за эти месяцы?

— Нет.

— Сколько раз вас били?

— Несколько раз...

— Кто, по-вашему, хуже относится к нашему народу и к нашей родине — американцы или нацисты во время войны?

— Американцы, в тысячу раз хуже! — неестественно выкрикнул Егоров.

— Вас били, чтобы получить секретные данные, или вы давали их добровольно?

— Добровольно давал...

— За что же вас били?

— Да, так, как скотину бьют..., — и словно что вспомнив торопливо добавил: — Потому что русский я.

— Что вам обещали американцы за ваше предательство?

— Что они меня не выдадут.

— А потом выдали всё-таки?

— Выдали.

— Подсудимый! — председатель сделал паузу, доставая какую-то бумажку. — Что вы имели в виду, когда, после побега, прислали на имя заместителя командира дивизии вот эту записку?

Егоров быстро, затравленно посмотрел на председателя и опять, уже настойчиво, стал оглядываться назад.

— Я вас спрашиваю, подсудимый!

— От злости это я... За то, что пять суток мне тогда дали...

— Вы угрожали в лице заместителя командира дивизии советской власти?

Егоров молчал.

— Вы думали, что вернетесь с американскими империалистами? Почему же они вас так встретили?

— Потому что русский я.

— То-есть изменник ли родине, враг ли советской власти — им всё равно?

— Раз не американец, значит быдло. Получили секреты и пошел вон.

— Подсудимый, вы знали, что измена родине, совершенная военнослужащим, есть самое тяжкое, самое позорное, самое гнусное злодеяние? Вы знали, что за измену родине подлежат наказанию не только сам изменник, но и совершеннолетние члены семьи изменника?

Егоров низко наклонился над столом.

— Имеют ли члены суда вопросы к подсудимому? — спросил председатель.

— Скажите, знали ли вы, что, давая присягу, военнослужащий берет на себя обязанность строго хранить военную и государственную тайну? — спросил Дудко.

— Знал, — чуть слышно ответил Егоров.

— Знали ли вы 36-ю статью боевого устава пехоты, где говорится, что «ничто — в том числе и угроза смерти — не может заставить бойца Красной армии в какой-либо мере выдать военную тайну»? — спросил парторг.

Егоров кивнул головой — всё равно, мол.

— Кому из солдат или офицеров вы говорили о замышляемом побеге?

— Никому! — крикнул Егоров.

— Кому вы говорили, что в Европе жизнь лучше, чем у нас на родине?

Егоров промолчал.

— Вас спрашивает суд! — проговорил председатель.

— Старшине Сапожникову и старшему сержанту Белову, — едва слышно ответила фигурка и словно еще уменьшилась в размере.

— Кому вы говорили, что американцы хорошие ребята?

— Не помню.

Председатель спросил о чем-то членов суда, каждый покачал головой.

— Свидетель полковник Гудимов! — вызвал председатель.

Полковник подтвердил получение письма Егорова. Потом старший сержант Яшин показал, что в мае 45-го года Егоров хвалил американцев. Старшина Сапожников отрицал, что Егоров говорил ему, что жизнь в Европе лучше. После перекрестного допроса Сапожников сказал, что не помнит. Старшего сержанта Белова не вызывали — Белов осенью демобилизовался.

Василий сидел в том же положении, в каком его застало начало заседания. Сидел и видел на табурете не Егорова, а Федора: «Подсудимый Панин, кому вы говорили о замышляемом побеге?» И чужой, не Федора, голос отвечал: «Подполковнику Трухину».

— Подсудимый Егоров, вам предоставляется последнее слово! — объявил председатель и тут же начал разговаривать с майором Дудко, будто его не касалось, что скажет в своем последнем слове фигурка.

Егоров встал, такой же сгорбленный, закрутил головой, несколько раз посмотрел на председателя, прося его внимания, но председатель продолжал разговаривать.

— Я... я честно сражался за родину... Я знаю, что я наделал... Прошу только дать мне..., — фигурка вдруг выпрямилась, стала похожей на прежнего Лукашку Егорова, и закричала сквозь рыдание: — Этих гадов, этих американских фашистов пострелять, как паразитов! Если мне оставите жизнь! Буду одного ждать — когда придет время их стрелять, как я уничтожал Фрицов! — И больше сказать не смог. Стоял и рыдал, вытирая рукавом глаза. Лукашка Егоров — первый весельчак, Лукашка Егоров — запевала и баянист — «меня ни огонь, ни вода не берет» — плакал.

Василий переглотнул и покосился на соседа.

— Суд удаляется на совещание.

Вокруг зашевелилось, всё загудело. Егоров плакал, положив голову на стол.

— Вот тебе и американцы! — кто-то тихо сказал за спиной Василия.

— Союзнички, мать их... Посмотри, что они из него сделали.

— Так и надо, дурак, — «я еще вернусь». Вот и вернулся, как собака, — сказал другой голос.

— Мать-то ждет, поди...

— Чего ждать-то? За него, паршивца, где-нибудь доходить будет в лагере.

У Василия мелко-мелко дрожала нога. Страх ледяной, многотонной тяжестью придавил к сиденью. То, что Федора поймают и выдадут, теперь было неизбежно. «Демобилизоваться! Уехать... Спрятаться!.. Белов демобилизовался и ему ничего не будет...» Почему-то вспомнилось брошенное письмо — «ни одного письма, ни одного!» И выходило: пока Федора не поймали, пока не выдали — демобилизоваться.

— Встать! Суд идет!

Вышли они бодро, с лицами только что хорошо пообедавших людей. Председатель даже не поглядел на подсудимого. А тот пристально смотрел на него. Председатель откашлялся, вытер очень белым платком рот, потом — бритую голову.

— Товарищи! Советский патриотизм, горячая любовь советских людей к родине, их готовность отдать ей свои способности, энергию и самую жизнь является одной из самых могучих идейных сил нашего народа. В своем докладе о 27-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции товарищ Сталин сказал: «Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте»...

...На 18-м съезде ВКП(б) товарищ Сталин предостерегал против недооценки «силы и значения механизма окружающих нас буржуазных государств и их разведывательных органов». Эти указания товарища Сталина... Вот как надо понимать преступление сидящего перед нами врага народа и изменника, пробравшегося в ряды Вооруженных Сил Советского Союза!.. Он признал свою умышленную вину. Не поисками «легкой

жизни» он объявил свою измену. В своей гнусной записке он грозил родине! Грозил партии! Он, видите ли, ошибся в американцах! Он не верил своим командирам, своим политическим руководителям, что американцы только более гнусная разновидность фашизма, расизма, загнивающего капитализма! Они использовали предателя и выбросили... После разбора сущности и обстоятельств дела подсудимого, объявляю приговор Военного Трибунала 3-ей ударной армии: — рассмотрев в открытом судебном заседании... приговорил: Егорова, Лукьяна Прохоровича..., — в тишине немыслимой при таком скоплении людей председатель сделал паузу и громко выкрикнул — к казни через повешение!

Общий взгляд всех сидящих в зале будто столкнул фигурку. Егоров секунду смотрел на председателя, словно ожидая «но принимая во внимание...», потом рывком повернулся назад и, не найдя чего-то, так же рывком загнанного волченка обернулся к залу, и все увидели как открылся его безгубый рот. Но в первом ряду громко захлопали, конвойные схватили фигурку под руки и поволокли за кулисы.

— Братцы!! Они... — услышали все сквозь аплодисменты. Судьи поднялись, и аплодисменты, заглушая всё — недовыкрикнутое Егоровым, ужас совершенного, страх каждого из зрителей, — заполнили зал. Сосед слева бил в ладоши, словно отгонял что-то от себя. Василий увидел свои руки — они стучали друг о друга, независимые от него. «С кем говорили? — С подполковником Трухиным... К казни через повешение...»

— Разрешите пройти, товарищ подполковник. — Сосед, лейтенант, глядел невидящими глазами.

***

Саша застал Василия на диване.

— Ужинать будете, товарищ подполковник?

— Буду.

— А я вас видел.

— Где видел?

— Там, в клубе. Я у стенки стоял. Пропал Лукашка ни за понюх табаку. А заметили, как он всё оборачивался?

— Куда оборачивался?

— Да назад. Там за кулисами капитан Филимонов всё время стоял. Наверно пообещал Лукашке, что оставят в живых, если будет говорить, что приказали.

— Что говорить?

— Да ну, товарищ подполковник, будто не понимаете. Да чтоб американцев ругать. Для этого и показательный устроили.

— Его ж американцы выдали.

— Да кто его знает, товарищ подполковник. Темное это дело. Ребята говорят, что Лукашку уже месяц как выдали. Вот и обработали в СМЕРШе. Кто-то видел: привезли его чистенького, в заграничном костюме. Это его до ручки уже у нас довели... Может, и не повесят.

— Как это не повесят? — крикнул, вскакивая, Василий. — Приговор обжалованию не подлежит?

— Так это ж показательный, товарищ подполковник! По нотам разыграно. Я раз в конвое в настоящем трибунале был. Там такого митинга не бывает, раз — и шлёпка. А тут театр! И повесить — летом указ был отменить военные законы — в газете читали...

— Что ты понимаешь! Для оккупационных войск законы военного времени оставлены... специальное указание Верховного Суда было...

— Всё равно, товарищ подполковник, — театр. Недаром, что на сцене устроили. Филимонов вроде режиссера или суфлера за сценой стоял.

— Ну, чего стоишь, тащи ужин!

Но за ужином, после стакана водки, испуг вернулся — раз союзники выдают беглецов, то выдадут и Федора. А тогда? Демобилизоваться, как Белов?

Саша пробовал заговаривать:

— А чего это, товарищ подполковник, американцы такие дураки? Помните, в 45-ом, когда встретились с ними... Ми-

ровые парни были. Тогда все говорили, что в Европе и в Америке жизнь лучше. А теперь Сапожникову пришивают. А почему? На него СМЕРШ давно копает. Теперь нашли повод...

Василий посмотрел на Сашу и в первый раз за все годы подумал: а не завербовал ли Филимонов Сашку следить за ним? Не выпытывает ли у него Сашка?

— Вот что, парень, дуй-ка отсюда, чтоб ноги здесь твоей не было.

ПОБЕГ

Те же развалины, тот же грузовичок со спящим шофером в кабине, только теперь — из парадного — всё было немного сдвинуто вправо. Шагнув на тротуар, увидел продолжение — уходящие перспективы фасадов. Новизна улицы была и в этих двух перспективах, и в огромном пространстве весеннего неба над ними, и в необычайной подробной брусчатке мостовой с газетным листом на решетке водостока. Но главная новизна улицы заключалась в плоскости стен с парадными и окнами этой стороны. Окна смотрели на него, и больше всего он боялся сейчас крика фрау Эльзы из окна кабинета. Тогда придется бежать через мостовую мимо выскакивающего из кабины шофера, по слежалым кирпичам развалин, мимо испуганных детей, а в спину будет орать вся улица.

Справа по мостовой, ему навстречу двигалась тачка со скарбом, за тачкой шел старик. Федор хотел повернуть налево, но там на углу разговаривали две женщины. Потом, много лет спустя, он мог нарисовать и угол, и женщин, их сумки и даже цвета их одежды. И хотя угол, где они стояли, был ближе, Федор пошел навстречу тачке — женский крик всегда пронзительнее и призывнее. Шел, держась ближе к незнакомой стене, вне поля зрения верхних окон — за каждым жил потенциальный крик фрау Эльзы.

Шел торопливым шагом очень занятого человека. Впервые за неделю шагал во всю ширь ног; мускулы, растягиваясь, приятно пружинили, как у тренированного легкоатлета после продолжительного отдыха. Функе, наверное, уже до-

звонился, и полицейские уже мчались на автомобиле или мотоцикле. Но важно было другое — с какой стороны они выедут? Федор уже настигал угол, когда оттуда показался автомобильный радиатор, успев вытащить половину кузова с передним колесом. Сразу же захотелось повернуть назад. Федор даже остановился, ощупывая карманы, тем самым показывая улице и окнам, что забыл нужную бумагу, — но радиатор потащил дальше: — длинный спортивный БМВ с белой автомобильной шапочкой за стеклом свернул и умчался вдоль улицы.

С пересохшим ртом, крепко держась в кармане за рукоятку пистолета, Федор свернул за спасительный, единственный в мире угол дома. Для убегающего в городе первый угол, что ленточка финиша для бегуна. Первый угол он настигает грудью, сердцем, инстинктом — так рвет ленточку победитель забега. Следующий угол он берет, как бегун, пришедший к финишу вторым — рвет грудью уже несуществующую ленточку. Последующие углы пробегаются, как пробегают черту финиша те, кто занял в забеге третье, четвертое, пятое места — по инерции, больше ориентируясь на судей.

С каждым углом народу на улицах становилось больше. У Вуппы сел в подвесной трамвай. Высоко над речкой, вдоль ущелья набережных минут за двадцать доехал до конечной остановки. Выходя, с лестницы увидел, что поток шляп, голов, плечей внизу на тротуаре омывал полицейскую фуражку. Действуя плечом, стал срезать в сторону и выплыл у газетного киоска, за три метра до полицейского. Мог ведь человек в последнюю минуту вспомнить, что надо купить газету! Взял первую с краю тощую газетку и протянул старухе марку — чтобы не спрашивать цену: если вспомнил о газете, то цену знать должен. Ожидая сдачу, увидел расписание поездов. — Купил тоже.

Загородясь от полицейского киоском, делая вид, что читает газету, пошел дальше через улицу вдоль мертвого пространства. Расписание было с картой. Из Вупперталя поезда уходили: на Дюссельдорф, Эссен, Кельн, Кассель, Дортмунд,

Бремен, Вильхельмсхафен и Эмден. Куда? И сам ответил: «подальше от границы». Это значило — на север, на запад и на юг. Но север не годился: однажды кто-то из «Хозяйства Сиднева»[2] рассказывал о посылке двух немецких коммунистов с заданием ликвидировать беглого полковника, скрывавшегося не то в Бремене, не то в Гамбурге. Это было «против», «за» — было море: забраться в трюм и выехать из Германии. Но тут же подумал: «Безграмотно. Времена Майн Рида прошли — обнаружат и выдадут». А на запад? На западе была бельгийская граница — плохо, как всякая граница. Кроме того, в Дюссельдорфе — английский Карлсхорст: здешняя полиция даст знать, англичане «выжмут как лимон» и выдадут (кто-то об англичанах так говорил в Берлине). Французская зона? Еще в Берлине заметил: французы перед советскими заискивали. Оставался Кельн и дальше в американскую зону. «Американцы хорошие ребята, на нас похожи» (тоже кто-то говорил).

Толпы, автомобили, повозки, детские коляски; гудки, смех, окрики — всё двигалось, петляло, замешивая пространство улиц и площадей. И пространство сдавалось, густело, темнело, выкристаллизовывая желтые сгустки и звездочки электрического света. До «шперцайт» оставалось три часа тридцать шесть минут.

Еще на фронте заметил, что обратная реакция наступала с запозданием: в опасности был зло спокоен и расчетлив — происходившее двигалось для него, как в замедленном кино, и только потом, когда всё кончалось, приходил испуг и расслабленность. Так случилось и сейчас. Спрятался в первый ресторан. Пиво было водянистое, двухградусное. Первую кружку выпил не отрываясь, от второй только отпил и стал разглядывать пиво на свет — из чего они его делают? Солдаты говорили, что из каменного угля. Химики! Пересчитал деньги: сто девяносто две марки — три пачки сигарет или килограмм масла. Еще были швейцарские часы, водопылене-

---

[2] Оперотдел при Центральной берлинской комендатуре.

проницаемые, в Берлине заплатил три тысячи. И всё. Весь наличный капитал фирмы Панин и К-о. Остальной капитал состоял из облигаций займа Свободы — купил на всё, что было в жизни.

Первое, что нужно сделать — выбраться из города и, чем дальше, тем лучше. Закурил, стал, как бумаги в папке, проверять портфель: пара белья, носки, платки, полотенце, бритвенный прибор, газета, расписание. Орденская книжка за подкладкой сапога. Ордена, завернутые в носовой платок, — в кармане, пистолет — в пальто. И что стоило достать в Берлине немецкие документы? Какую-нибудь «липу» на «герра Миллера». А ведь Карл говорил. Человек без документов — мозг без черепной коробки. У советского же человека документы — целый орган. Обильно питаясь справками, характеристиками, паспортами, военными билетами, пропусками, трудовыми книжками, удостоверениями Мопра, Осовиахима, «Друга детей», командировочными, выписками из приказов, отметками о прописке, о месте работы, рождения, браке, комсомольскими, партийными, профсоюзными билетами, членскими взносами, этот бумажный орган за годы пятилеток разросся чудовищно. Случайно забыл дома — сразу чувствуешь отсутствие в кармане привычной тяжести. За войну этот орган еще разросся: офицерские, солдатские, орденские книжки, командировочные предписания, пропуска на проезд, пропуск на автомобиль, пропуск на службу, пропуск в управление, удостоверение на право вождения, паспорт на автомобиль, аттестат на питание, аттестат на денежное довольствие, аттестат на вещевое довольствие, карточки хлебные, карточки промтоварные, карточки продуктовые...

Чтобы не расплачиваться с хозяином у стойки, оставил на столе марку, хотя пиво стоило не больше двадцати пфенигов. Улица встретила чернотой и ветром. Свернул в темную, без единого огонька улицу — сплошь руины. Мирный житель по такой идти побоится, и это делало идущего подозрительным. Но полицейские тоже побоятся. По карте — с той сто-

роны было шоссе на Кельн. За железнодорожным полотном увидел шоссе. На первой указке стояло: «Кельн — 87 км.»

Рурские дороги, как улицы: поселки, поселки, города, соединенные пряжками заводов — на одном заводе работают жители двух-трех городов. Движение — группы, одиночки, велосипеды и редкие автомобили, больше военные, с англичанами. Возле одного дома у освещенной стены стоял прислоненный велосипед: сел и был таков! За три часа далеко уехал бы... Но заныл отрезанный бумажный орган: у велосипедов — номера, у велосипедистов — удостоверения.

Страшная минута пришла нарастающим позади ревом мотоцикла. Сворачивать было поздно. Шел, слушая спиной, затылком, кожей. Но мотоцикл, настигая, газа не сбавил и пронесся, обдав воздухом и брызгами. Увидел две полицейские спины в плащах — одна в коляске, другая за рулем. А может быть, просто не заметили? Захотелось свернуть и искать проселочную дорогу.

На большом перекрестке, с лестницами указок по углам, под фонарем, на светлом кругу стояли трое: мужчина и две женщины. У столба лежали пузатые рюкзаки. Все трое «голосовали» — каждый автомобиль в сторону Кельна приветствовали привычным «хайль». Решение пришло по-человечески: а, может, и мне попробовать? Остановился метрах в трех от круга. В светлом кругу избранные приветствовали проезжавших богов, недостойный стоял в тени.

Потом один из избранных снизошел и приблизился.

— Нет ли у вас огонька?

Федор зажег спичку, закрывая ее от ветра, дал прикурить. Старая мокрая шляпа, красный вязаный шарф, замерзшее лицо в седой щетине.

— Спасибо... К поезду?

— Да, — ветер дул северный и неразговорчивость была понятной.

— Полчаса стоим... Спасибо. — Немец возвратился в круг.

Не успел он дойти до спутниц как со стороны Вуппер-

таля показались огни фар. Женщины замахали. Немец поднял руку. Воспользовавшись, Федор вступил в круг, замечая, что хорошее пальто и новая шляпа его выделяют.

Автомобиль, переделанный по послевоенной моде из легкового, грузовичек затукал, затормозил. Опустилось стекло, вылезла и повисла на дверце толстая рука и не иначе, как выросло из плеча усатое круглое лицо божества.

— В Кельн?

— Да, пожалуйста! хором ответили женские две трети.

— Скорей. Одна может ко мне. Надо торопиться — «шперцайт».

В кабину села в шляпке. В кузов полезла в берете. Подсаживая ее, Федор у самого лица увидел крепкую икру и припухлость с ямочками под коленом. Подал рюкзаки. Вышло, будто вместе. Но та, в кабине, могла сказать, что он из недостойных. Уселись на пол под кабину. Грузовичок затукал, что-то перехватил внутри себя и бойко побежал в темноту. Ветер подул резче. Скоро стало так холодно, что Федор, не стесняясь, прижался спиной к спутникам. «До Кёльна — тем лучше».

По сторонам бежала всё та же бесконечная рурская дорога-улица. Огни в окнах, редкие фонари, прерывались темными громадинами неработавших заводов. Достал сигареты, молча протянул соседям. Прикуривали от его спички, заслоняя ветер втроем. Лицо женщины оказалось молодым — лет тридцати. Глаза — по-немецки светлые — быстро взглянули, но спичка погасла. Затянулась, проявляя в темноте острый кончик носа и круглый подбородок.

Ветер умудрялся дуть со всех сторон. Мужское плечо справа ничего не говорило; слева, ее, поеживалось.

— Холодно,... — сказала одному ему.

Федор понял: «Этот в шарфе мне чужой и напрасно ты молчишь». Проверяя, он прижался к ее плечу, — отодвинулась, но не от него, а от шарфа, так что между ними освобо-

дилось место. Федор подвинулся. От холода и от того, что это могло значить, тоже сказал:

— Холодно, — и укрыл ее полой своего пальто. Руку с плеча не убрал.

Щеки их оказались рядом. Женщина не шевелилась и только чаще затягивалась; огонек сигареты теперь проявлял улыбающийся уголок рта. Потом сказала:

— Благодарю.

И это он понял: запоздание означало, что с момента, когда он укрыл ее полой, до ее «благодарю» она думала об одном и том же, имевшем отношение к нему, к его руке, к ветру, к оставшемуся в ночи перекрестку.

Федор щелчком кинул окурок — огненный глазок полетел в темноту, от короткого замыкания с мокрой землей брызнул искрами и погас. Соседка свой окурок потушила о пол кузова и положила за борт. И словно устраиваясь удобней, съехала спиной по рюкзаку, оставив Федора над собой — молчаливое «ну, вот...», полуприглашение. Шарф справа дремал, уткнувшись в колени.

И Федор наклонился. Она глядела вбок, на бегущие за бортом огни и напряженно улыбалась.

— Теперь теплее?

Посмотрела, засмеялась глазами, кивнула. Он укрыл ее другой полой, забывая убрать и правую руку.

Грузовичок подбрасывало, рука, прислушиваясь к мягкой теплоте тела, ложилась всё тяжелей, и хотя женщина опять глядела на огни, ее дыхание, напряженность лица говорили ему: «ну и что?».

Медленно, как берут сонных, просунул руку между пуговицами пальто. Ласковым теплом встретила шерстяная кофточка. Понимая, что нельзя, что делает глупость — черт знает почему! — стал наклонять лицо к ее лицу и, когда из поля зрения исчез берет и подбородок и вся она перестала дышать, мягко прижался губами к холодному податливому рту...

Ухабик застал у губ. Автомобиль тряхнуло, зубы удари-

лись о зубы, и это отрезвило. Федор воровато оглянулся. Шарф попрежнему клевал в колени.

— Холодно? — спросил Федор невышедшим шопотом. Но холодная ее ладонь закрыла ему искусанный рот. И было в этом: не того стыжусь, а слов — слова в мире были о хлебе, картофеле, документах, Германии. Желание последней, всё разрешающей ласки, не помещаясь внутри, лезло в голову: остановить машину и слезть вместе? На всю ночь? На всё «что будет»? Выбросить соседа за борт? А она лежала и ждала: ну, что же ты?..

Первым не выдержал автомобильщик — хлопнул и стал тормозить. И ночь, смилостивившись, крикнула:

— Стой!

Женщина толкнула Федора и, торопясь, стала приводить себя в порядок. Грузовичок остановился. Шарф, ухватившись за верх кабины, поднялся на ноги. Федор, проколотый окриком, сидел, мгновенно от всего освобожденный. Вспомнил про пистолет. Выбрасывать было поздно. У ног соседа фанерная обивка кабины отстала. Федор едва втиснул туда пистолет.

Подошел электрический фонарик с полицейским. Силуэт другого полицейского с винтовкой, стоял в стороне, у мотоцикла. «Ну, вот и всё...», — тупо подумал Федор. «Наверное те самые, что обогнали... Дурак, что не свернул...» Из кабины подали документы. «Скажу, что немец, бежал из советской зоны...»

— Ваши бумаги? — к той, что сидела в кабине.

Бормотанье. Молчанье. Возвращая документы, полицейский сказал что-то двусмысленное. В кабине рассмеялись.

— Куда едете?

— Домой, в Кёльн. Торопимся до «шперцайт», — в тон полицейскому ответила в шляпке. — Сзади моя подруга и знакомый.

Фонарик заглянул через борт. Ведомый спасительным инстинктом, Федор успел обнять соседку. Фонарик увидел, как она его оттолкнула, и Федор глупо улыбнулся на свет, как если бы его застали в углу с женщиной. Шокированный лучик

пробежал по ним и уставился на шарф. Федор сошел за знакомого, а шарфу досталось положение постороннего.

— Что это там у вас?

— Картофель...

Из темноты, из-под фонарика, протянулась рука в сером рукаве, ощупала рюкзак.

— А там?

— Картофель и немного муки, — ответила соседка, и Федор услышал, что голос у нее картофельный.

Рука полицейского спряталась. Фонарик еще раз бегло оглядел кузов и потух.

— Хорошо, но торопитесь; не успеете до «шперцайт» — задержат.

Полицейский отошел к напарнику, автомобильчик благодарно затораторил.

— Доброй ночи! — всё также игриво крикнула из кабинки шляпка. Полицейские засмеялись и закричали в ответ:

— Оставайтесь, тогда и ночь будет доброй!

Федор достал сигареты. Соседка поправляла рюкзак. Прикуривая, видел, как дрожала спичка. В кабине смеялись.

— Рут, я испугалась, что картошка пропала! Ты тоже? — крикнула шляпка.

— Я нет, они хорошие парни, эти полицейские. Слава Богу, что не было англичан.

Курил, глубоко затягиваясь. «Сошло. Вперед наука...» Покосился на соседку. Та рассказала шарфу о том, как в прошлый раз англичане отняли у них десять килограмм картошки. Незаметно вытащил пистолет и швырнул за борт. Опухшие губы плохо держали сигарету. Вспомнил афоризм майора Худякова (схоронили под Варшавой): «Когда легче всего прихлопнуть муху? Когда сидит на другой. Так и с человеком». Опять подумал: «Спроси документы — и всё...» — пришел испуг.

Стал слушать, что рассказывал шарф — у того тоже однажды отняли картошку и кусок сала. И опять дул ветер холодный, промозглый, опять было темно. «Кёльн, а там куда?»

Соседка курила, отодвинувшись к борту. «Пойду к ней...» и успокоился.

В Кёльн приехали за полчаса до «шперцайт». Остановились на каком-то углу. Хозяину надо было ехать куда-то в сторону. Шарфу тоже. Стали выгружаться. Снимая ее с борта, задержал на руках.

— Пожалуйста, — сказала шопотом, не глядя на Федора.

Пока женщины прощались с толстяком, Федор перенес рюкзаки на тротуар. Потом грузовичок затарахтел, из кабины замахала рука.

— Спасибо, герр Клюге! — закричали женщины.

Она подошла сама. Поглядел в глаза и сказал:

— Могу я помочь вам донести домой вещи?

Тихо засмеялась, покачала головой:

— Нет, я сама... Большое спасибо.

Грузовичок с шарфом в кузове завернул за угол. Женщины стали надевать рюкзаки.

— Ну, всего хорошего, — сказала в шляпке.

Федор стоял, и, не веря, глядел, как они перешли улицу, как шляпка обернулась. Он услышал смех, чужой и обидный.

Повернулся и зло зашагал вдоль стены, мимо пустых глазниц выжженных витрин. Только теперь заметил, что накрапывал дождь. По улице торопливо пробегали последние прохожие.

Осталось двадцать минут, а идти было некуда. Впереди, по поперечной улице прошел полицейский патруль и обида отступила перед опасностью. Черная улица на краю ночи кончалась одиноким, бесприютным огоньком. Полквартала справа занимала громадина сгоревшего здания. На мокром тротуаре кривлялась тень. Пока шел, тень вытягивалась, тускнела пока не пропала. Оглянулся — видеть его уже никто не мог — и полез в первое окно. Пробираясь наощупь среди каких-то изуродованных балок по кучам кирпичей, думал: «Провалишься или стена обвалится — и никто никогда не узнает...»

Если в темноте не смотреть на предмет прямо, а несколь-

ко в сторону от него, то предмет виден. Видеть прямо мешает «собственный свет» глаз — в центре поля зрения, от постоянного раздражения днем, в темноте видно светлое пятно и, как бельмо, мешает. Федор боковым зрением заметил вход в подвал. Ощупал ногой площадку. Рискнул зажечь спичку — ступеньки в кирпичном бое и штукатурке уходили вниз. Медленно, видя только пятна «собственного света», держась за стену, спустился до следующей площадки. Сверху покатился потревоженный кирпич. С минуту стоял, прислушиваясь, но, кроме ударов сердца, ничего не слышал. Зажег вторую спичку — налево амфиладой шли захламленные бетонные помещения. Запомнив направление проходов, пошел, спотыкаясь о кирпичи, и когда заблудился, зажег третью спичку. Загораживая ее ладонями, успел дойти до комнаты с ржавым котлом в углу. Здесь было суше и казалось теплее. Четвертая спичка позволила набрать тряпья и прихватить обломок доски. В темноте уселся за котлом, подложив под себя тряпье; доску и портфель подсунул под спину — к стене. Циферблат на часах высвечивал ровно десять.

«Для чего ты хотел ее проводить? Нет, это-то понятно, а другое? Ведь было и другое. Надеялся зацепиться, пристроиться? Лежал бы ты сейчас в чистой постели под периной, она моется в ванной и сейчас придет к тебе. Но главное не то, главное, что завтра проснулся бы в тепле, в защитной коробке стен и потолка, и не было бы ни дождя, ни полицейских патрулей... А то, что в автомобиле? Бегство, товарищ, бегство. Ведь от нее картошкой пахнет...»

Разговор со своим «я» перешел в многоточие маленьких картинок — меньше, меньше, дождевой каплей, и — в сон.

Лил дождь. Старый разбитый Кёльн лежал в ночи. Золотая булавка фонаря на черных, мокрых лохмотьях улицы светила, сигнализируя, что под громадиной сгоревшего универмага Хёрти, в подвале за ржавым холодным котлом спал, положив щеку на колено, человек и, у этого человека в кармане, завернутые в грязный платок, ордена Ленина, Боевого Знамени, Красной Звезды... *С. Юрасов*

***

Отпускаю в дорогу с Богом.
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем обманывающим и сулящим,
По которым мы жизни тащим.
Отдаю и реке, и саду,
И скамье, где с тобой не сяду.
И кусту отдаю, и оврагу,
И траве, где с тобой не лягу,
И предутреннему перрону,
Где, прощаясь, тебя не трону.

Отдаю всем заливам синим,
Где мы в воду камней не кинем,
Всем перилам и всем оградам,
Где с тобой не застынем рядом.

Отпускаю в дорогу с Богом.
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем тревожным привалам нашим,
На которых свистим и пляшем,
На которых поем и плачем,
Всем удачам и неудачам.

Отдаю тебя на поруки
Ветру, счастью, дождю, разлуке, —
Тем, что будут с тобой повсюду,
Там, где я никогда не буду.
Отдаю тебя всем соблазнам,
Встречам легким, веселым, праздным,
И печальным горячим встречам
В час, когда защититься нечем.

Отдаю тебя службам жадным,
Лифтам, лестницам и парадным,
Коридорам и кабинетам,
Разговорам, кивкам, газетам,
Папкам, подписям и печатям.
Так мы порознь жизнь растратим
За казенным и за поденным
Сумасшествием телефонным,
За столами и за дверями,
С именами и номерами...

Иван Елагин

СКВОЗНЯК

Вздорных снов, предчувствий ложных
Помни, друг, на свете нет.
Но судьба глупцов безбожных
Забывать язык примет.

Шерсть ли дыбом на собаке,
Камнем перстень ли с руки —
Это всё оттуда знаки,
С гор высоких сквозняки.

Ветерок потусторонний
Ураганом всё смелей,
Веселей и беззаконней
Рвется в дом из всех щелей.

Безразлично что ты скажешь,
Что со страху наплетешь —
Ложью трещин не замажешь,
Дыр насмешкой не забьешь.

ПАВЛИН

В саду, где старые фонтаны
Не бьют и не цветут цветы,
Среди крапивы и бурьяна,
Нежданный, мне явился ты.

Павлин! Откуда? И такая
Напала на меня тоска.
А ты, хвостом в кустах сверкая,
Манил меня издалека.

Он алыми пылал кругами
В пустынно-синей тишине.
Хотелось легкими руками
Тебя погладить по спине.

В порыве нежного доверья
Склониться низко над тобой,
Чтоб райские дышали перья
В лицо прохладой голубой.

Но ты, спокойный и надменный,
Проплыл в сияньи торжества.
А я стоял, как раб презренный,
Шепча безумные слова.

ПОЛЫНЬ

Надежды нет и нет стихов.
Но сердце бьется, сердце молодо.
Луна плывет дрожа от холода
Среди дырявых облаков.

Ей лучше б дома помечтать
Влюбленной в Фауста Маргаритою,
Чем старой ведьмою небритою
На помеле всю ночь летать.

Нет, есть надежда у меня
И совершенно не загробная.
Она, звезде во всем подобная,
Невидима при свете дня.

Но день погаснет, и в окне
Она чудесно появляется.
Она полынью называется.
И ничего не надо мне.

ДВЕРЬ

О, если б знать! Но знать не надо.
Не любопытствуй. Не дано.
Вот — сад, а за оградой сада,
Что б ни случилось — всё равно.
И кто б там ни был — дети, звери,
Какой ни чудился бы рай —
Не приближайся к низкой двери,
Ключа к замку не подбирай.
И даже будь она открыта,
Остерегайся, не спеши:
Пустырь. Ослиное копыто.
И пустота. И ни души.

Владимир Злобин

**
*

Точки звезд над степью чуть мерцают.
Так сквозь государственный билет
Водяные знаки проступают,
Музыка рождается на свет.
Теплый пепел вечера на травах
Остывает, и в полубреду
Сумерек земных, небесной славой
Расцветают яблони в саду.

**
*

Чувствую в минуты роковые
Тяжкий крест на совести моей:
Я люблю, быть может, не Россию,
Но свое страдание о ней.
Может быть, в разлуке, в долгом горе,
Чтоб казалась меньшею беда,
Я грустил о родине, которой
Не существовало никогда.

Анатолий Величковский

1.

Отгрохотали семь громов,
Семь молний полоснули твердь,
И над полками облаков
Угрюмой тенью встала смерть.
Зловещим светом озарен
Ее еще недвижный серп,
И ветер, громом оглушен,
Застыл в верхушках темных верб.

2.

Жизнь пробежала, как в романе...
Проснулся. Холод. Тишина.
Деревья в снеговом тумане.
Над ними мертвая луна.
Часы нечаянно нащупал,
Блеснул холодный циферблат...
Не видно стрелок. Ближе к уху:
— Стоят...
Так может быть остановилось
Земное странствие души...
Но сердце билось, билось, билось...
Я слышал стук его в тиши.

3.

Изнеженное поколенье
Враздробь, врасплох, в недобрый час
Постигло кораблекрушенье,
И в чашу бурь швырнуло нас.
И вот событий темных сила
Нас подхватила, понесла,
Без звезд, без смысла, без ветрила,
Без капитана, без весла.
Наш плот и тонет и не тонет,
Им потешаясь, демон вод
То в бездну черную уронит,
То вверх, взметнувши, вознесет,
То накренит над пропастями
Почти отвесною стеной,
И кажется, что гибнет с нами,
С орбиты сброшен, шар земной.
И нас, покинутых судьбою
На погибающем плоту,
Уносит гулкою волною
По одиночке в пустоту.

Александр Браиловский

**
*

О жизни что прошла давно,
Бесследно канула на дно
Не надо громко
Говорить.
Не надо ломко
Время длить
И продолжать соломкой
Пить
Случайность, что зовут судьбой,
Что связывает нас с тобой.
Моя судьба,
Твоя судьба
В пустыне неба голубой,
О, Господи, я так тиха,
Я так слаба,
Что до греха
Недалеко.
О, Господи, я так груба,
Что, веря в грех,
Грешу легко.
Я, может быть, грешнее всех...
Но рассыпается мой смех.
Неправда, нет
Безгрешен свет.
Все это вздор:
Был лучезарным мой позор
И осиянным,
Закатом вышитый узор
Над океаном...
В конце концов
На разговор
Двух мертвецов
Поставим точку.

А нашу дочку
Дочку нашу
Цветок-Наташу
Подарим мы
Снегам зимы.

Ирина Одоевцева

В ПОЕЗДЕ

Как огненный мяч,
Солнце катилось за поездом.
Мимо серого дома,
Что люди небрежно построили.
По кустам, по деревьям,
Заросшим лианами,
По полям где пни
Резлеглись словно пьяные.
Люди шторы спускали
В вагоне трясучем.
Подальше от солнца,
Носом в журналы скучные.
Пошатывался господин
Шоколадного цвета,
Собой довольный
И водкой согретый.
А господин белый,
Устав с дороги,
На спинку кресла
Занес свои ноги
(Солидных размеров).
— Мое солнце пропало,
В лесное болото
Или в овраг упало.

**
*

Вечер сегодняшний выкроен
Из детского смеха и криков
Неслышных травы
Затоптанной. Три
Дерева видны в окно.
Махнула крылом неуклюже
Ворона. Страшно одной
И трава простужена.
Осень.

**
*

Вечер такой неинтересный.
Тот же бурый, соседский дом,
Неповоротливый, тяжеловесный,
Косится тусклым своим окном.

Чем он страдает? Скукой зеленой?
Или чувство скуки ему незнакомо,
И просто ему надоели влюбленные
На плоской крыше нашего дома?

Ираида Легкая

**
*

Студенческий старый берет.
На столике — книги и папки.
А в окна мансарды — свет
Весенний, неяркий.

Расцвел под окном каштан.
Экзаменов бьет лихорадка.
Мечтой о грядущем пьян,
За полночи — над тетрадкой.

И смотрит в окно звезда,
Как робкое обещанье...
О, если бы так всегда —
С надеждой, без опыта, знанья!

VALBONNE

Шершавится скамья, омытая дождями.
Пятнистый стар платан у входа в городок,
Что на ладони весь и курится дымками.
Он каждому раскрыт — ни слова между строк.

Крутые улички на площадь, как девчонки,
Торопятся, бегут — на всё бы поглядеть.
Их будничный наряд опутал пояс тонкий
Герани огненной и роз янтарных сеть.

Собор сторонится. Ему не место в гуще
Беспутной жизни, споров и страстей.
При выходе в поля просторнее и лучше,
Светлее всё кругом и колокол слышней.

**
*

Что знаем мы о них, прошедших с нами рядом
Большой и трудный путь, безропотно, в тиши,
Не выдавших себя ни жалобой, ни взглядом —
Простосердечием распахнутой души?

Что можно разгадать в небрежнейших намеках,
В молчаньях зреющих, в подчеркнутых стихах
О счастьи и о том, что до него высоко,
Что «Синей птицей» лишь... Да что о пустяках!

Или в отъезда день, всё роясь в чемодане,
В последней суете, как будто невзначай,
Уж повернувши ключ, (как нож в зажившей ране)
То «до свидания» на резкое «прощай».

Екатерина Таубер

НЕЗАМЕЧЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ[1]

В 28-й книге «Нового Журнала» была напечатана взволнованная и во многих отношениях замечательная речь Н. Ульянова, произнесенная им в День Русской Культуры в Казабланке в 1951 г. В основном соглашаясь с Ульяновым, я всё-таки чувствую, что не все его утверждения я могу принять. Так он говорит: «...племя, возросшее в изгнании, не выдвинуло ни одного имени, ни одного громкого дела». «Алданова нельзя приводить в пример; он начал печататься еще в России и уехал оттуда сложившимся писателем. Даже такие, как Р. Б. Гуль и Н. Н. Берберова, не успевшие на родине напечатать ни одной строчки, получили свою литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы. Всех их должно отнести к дореволюционному поколению». Ульянов не назвал даже Набокова-Сирина, большой талант которого, казалось бы, дает ему право на некоторую известность.

Ульянов — Ди-Пи и не его вина, что в той эмигрантской среде, куда он попал, никто не мог ему рассказать о судьбе целого поколения молодых апатридов, прошедших в изгнании страшную школу одиночества, нищеты и отверженности и, всё-таки, в условиях необычайно трудных пытавшихся сохранить «русскую идею». Но вот не Ди-Пи, а старый эмигрант М. Слоним в своей работе «Modern Russian Literature» (том чуть ли не в 500 страниц) уделил «младшим» эмигрантским писателям всем вместе около двух страниц.[2] Такое пренебрежительное отношение, очень распространенное во многих кругах, обычно основывалось на априорной уверенности, что в эмигрантских условиях литература не может существовать В 30-х годах разговоров об этом было без конца. На подобные разговоры правильнее всего, по-моему, ответил в то время

---

[1] Из книги, подготовляемой к печати.

[2] Несравненно более справедливая оценка «молодой» эмигрантской литературы дана Глебом Струве в статье «The Double Life of Russian Literature», помещенной в «Books Abroad».

один из популярных людей на Монпарнассе, Николай Рейзини, молодой философ и литературный критик (к сожалению, впоследствии Рейзини от занятий философией и литературой отстранился). «Многие утверждают, — писал он, — что творческая работа в неестественных условиях эмиграции невозможна; мне думается, — это не совсем верно, должно всё же помнить, что «дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит».

Гадать о том, что останется от «молодой» эмигрантской литературы еще слишком рано, тем более, что она не вся известна и в значительной степени существует только в рукописном виде. Если же вспомнить в каких условиях приходилось «жить и работать» писателям и поэтам «возросшим в изгнании», то удивляться придется не тому, что они так мало написали, а скорее тому, что какие-то книги всё-таки были ими написаны.

В статье, посвященной памяти Б. Поплавского В. Ходасевич писал: «.....и сейчас еще далеко не миновала пора, когда молодых не хотели печатать вовсе, либо печатали в аптекарских дозах, порою требуя, чтобы на рукописи имелась аппробация какого-нибудь «многоуважаемого». «Недоброжелательный нейтралитет старших литераторов не только язвит обидою младших — он губительно отражается и на их материальном положении... За столиками Монпарнасса[3] сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнассе порой сидят до утра потому, что ночевать негде». «Вздор, пошлый вздор, выдуманный слишком сытыми людьми, — будто бедность способствует творчеству, чуть ли не «стимулирует» его. Человек не выспавшийся, потому что у него нет пристанища, человек, которого мутит от голода, человек, у которого нет угла, чтобы уединиться, — писать не может, хоть будь он сто раз гением. Надо быть полным невеждой, либо не иметь совести, чтобы сравнивать нужду Монпарнасса с нуждой прежних писателей. Дневной бюджет Поплавского равнялся семи франкам, из которых три отдавал он приятелю. Достоевский рядом с Поплавским был то, что Рокфеллер рядом со мной. Настолько

---

[3] К сведению читателей не знавших довоенного Парижа: в кафе на перекрестке бульваров Распай и Монпарнасс собиралась парижская богема. В этих же кафе происходили встречи и молодых эмигрантских поэтов и писателей.

же богаче Монпарнасса эмигрантские писатели старшего поколения».

Совершенно то же самое писала в 1939 г. З. Гиппиус: «Мне возразят, — говорила она, — что и в старой России начинающий писатель не мог жить литературой, и что некоторые из больших наших писателей терпели в юности жестокую нужду — Некрасов, например. Это возражение легко отвести уже потому, что русские в России — одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда там отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтобы гибло целое литературное поколение — об этом и мысли быть не могло. А сейчас, ввиду одних материальных условий, можно опасаться и этого».

В. Ходасевич говорил когда-то: «в известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей». Судьба эмигрантских сыновей лишний раз это подтверждает. Трагически погибли совсем еще молодыми людьми Н. Гронский, В. Диксон, Б. Новосадов, Б. Поплавский, С. Шарнипольский. Покончил с собой Болдырев. Пропал без вести Агеев. Буткевич умер от истощения в марсельской городской больнице.

От тяжелых болезней, вернее, от тяжелой жизни преждевременно умерли Вера Булич, К. Гершельман, Ирина Кнорринг, И. Савин. Умер от чахотки А. Штейгер. В годы войны были расстреляны немцами Б. Вильде и Кац; погибли в гитлеровских лагерях медленной смерти Раиса Блох, М. Горлин, Е. Гессен, Ю. Мандельштам, Л. Райсфельд, Н. Фельзен. Совсем недавно «Новое Русское Слово» сообщило о смерти П. С. Ставрова и Довида Кнута.

Если вспомнить, что всего-то в этом литературном поколении числилось несколько десятков человек, то невольно придет в голову знаменитое: «братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое».

Многие из тех, кто еще жив, замолкли, надорвались. Замолк Емельянов, автор очаровательной книги «Свидание Джима» (с рукой, отсохшей от ранения, работает чернорабочим на заводе). Другие, может быть, чуть лучше устроились, но литературу должны были бросить. Те, кто еще не сдался, продолжают писать в прежних гибельных условиях. А сил стало меньше и надеяться уже не на что. Отчаяние, нищета и болезни давно выпущены судьбой для растерзания последних доходяг «молодой эмигрантской литературы». Еще до войны

Газданов писал: «Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть, и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет. Это не будет непременно физическая смерть, это может быть менее трагично; но ведь и то, что человек, посвятивший лучшее время своей жизни литературе, вынужден заниматься физическим трудом, это тоже смерть, разве что без гроба и панихиды».

Чем объяснить, что «молодые» оказались в таких условиях? Ведь в те годы Париж был в большей степени культурной столицей России, чем Петербург или Москва. Здесь жили лучшие русские писатели, артисты и ученые, здесь еще продолжался русский культурный ренессанс начала века. Со своими журналами, газетами, политическими партиями, землячествами, союзами, театрами, университетами и гимназиями Зарубежная Россия являлась тогда своего рода государством в государстве. В этой беженской экстерриториальной России старшие писатели находили и моральную и материальную поддержку. Но для молодых не делалось ничего. Покойный Борис Поплавский рассказывал мне почти с восхищением, что его родной отец, очень его любивший, совсем не знал его стихов, никогда ни одной строчки не прочел. Вот образец отношения эмиграции к своим молодым писателям. Причина этого была, верно, в том, что молодые не могли и не хотели писать так, как тогда требовалось.

Превращение на чужбине в чернорабочих и шоферов такси вызвало у многих эмигрантов своего рода раздвоение личности. Лучшая часть их «я» не участвовала в жизни тех стран, куда они попадали по кабальным рабочим контрактам. Здесь не понимали их языка, ничего не хотели знать о всех перенесенных ими испытаниях, видели в них только чернорабочих, варваров, «грязных метеков». Но в своем собственном представлении они продолжали оставаться русскими офицерами, чиновниками, интеллигентами. И чем горше была беженская доля, тем ярче воскресали в памяти видения о́тчего дома, детства, юности, всей славы и счастья прежней жизни на родине. Эти воспоминания позволяли измученным, всё потерявшим людям забывать тоску эмигрантщины и сердцем жить в соединении со всем тем святым, великим, прекрасным и вечным, чем была в их сознании Россия. Людям, так чувствовавшим, и книги нужны были только такие, в которых бы рассказывалось о потерянном рае русской жизни до революции.

Молодые эмигрантские писатели старого русского быта

почти совсем не помнили и писать о нем не могли. Детьми они видели гибель родной Трои, но о том, что было перед тем, знали только по рассказам старших. В этом отличие их эмигрантского опыта от опыта отцов. Они не участвовали в круговой поруке священных общеэмигрантских воспоминаний. Зато, быть может, им дано было участвовать в окружающей иностранной жизни? Но не было и этого. Никто из них не обладал даром социальной мимикрии, развившимся у последующих поколений юных эмигрантских алквиадов, когда на «Бульмише» начали появляться русские студенты, в невероятных галстуках, и говорившие как-то даже более по-французски, чем настоящие французы.

Князь Д. Святополк-Мирский писал, что Борис Поплавский был поэт скорее парижский, чем русский. На первый взгляд это определение кажется очень верным. В Поплавском явно чувствовалась какая-то родственная близость к парижским «poètes maudits». Его стихи, посвященные Рэмбо, написаны будто по личным воспоминаниям.

Средь сальных фраков
И кутерьмы
У блюда раков
Сидели мы.

Блестит колено
Его штанов,
А у Верлена
Был красный нос.

Поплавского и вправду легко себе представить сидящим в кафе за одним столиком с Рэмбо и Верленом. Они бы приняли его, как своего. Так, может быть, и будет в раю. Но ни с одним современным французским литератором Поплавский не был знаком, вообще не имел никаких французских знакомых, не был вхож ни в какой французский круг. Он был, прежде всего, поэт эмигрантский, не парижский, а русско-монпарнасский.

Первая напечатанная глава из романа Поплавского «Аполлон Безобразов» была о Монпарнассе: — «Как всегда, какие-то неповторимо прекрасные сумерки лиловели за стеклами и какой-то бессмертный закат, одно описание которого заслуживает целой книги, изнемогал на небе, как близящийся к концу фейерверк, как весна, сгорающая в лете, как то́ невозвратное время, которое, казалось, не могло уже и продлиться

более часа, но всё еще длилось и лилось и ширилось, легко унося с собою нашу жизнь... Помню, сидел я тогда в Ротонде». — Поплавскому легко было это помнить, так как он сидел в «Ротонде» каждый вечер и в Париже не было никакого другого места, куда бы он мог пойти. — «Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...» — Так в романе «Долой с небес» Поплавский описывает самого себя под именем Олега. О многих монпарнасских поэтах и героях всё это можно повторить. Социально это были какие-то тени, «живые трупы». Их столик всегда казался отделенным от всех остальных невидимой чертой. Обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние.

Я не участвую, не существую в мире,
Живу в кафе, как пьяницы живут.

Поплавский, действительно, «жил» на Монпарнассе. Ему всё казалось, что здесь, когда уже не останется в эмиграции никаких журналов и собраний, «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова».

Нужно оговориться: не все «молодые» были завсегдатаями Монпарнасса, и первое место на Монпарнассе и в «парижской школе» принадлежало не «молодым», а литераторам, не на много старшим, иногда и вовсе не старшим, но успевшим получить, по словам Н. Ульянова, «литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы». Кроме Н. Берберовой и Р. Гуля, о которых упоминает Н. Ульянов, к этой группе принадлежали Г. Адамович, В. Вейдле, В. Злобин, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп и М. Струве. Почти все они были постоянными участниками монпарнасских встреч. Часто бывал и Ходасевич, принадлежавший почти уже к поколению «отцов» (но никогда на моей памяти не бывала Марина Цветаева). Положение этих людей было совсем другое, чем положение «молодых». Дело тут было не в возрасте, кое-кто из них был даже моложе некоторых «молодых». Решающее значение имело их посвящение в литературу еще в России. Это делало их «настоящими» поэтами и писателями, представителями настоящей русской литературы, эмигрировавшей за границу, а не сомнительной литературы, возникшей в эмиграции. Это был единственный круг людей, относившихся к молодым с сочувствием и желанием помочь. Может быть, только благодаря их поддержке молодая эмигрантская литература и не зачахла окончательно.

В 1930 г. начали выходить «Числа». Редактировал «Числа» сначала совместно с И. В. де Манциарли, а потом единолично Николай Оцуп. Редакция «Чисел» была единственной в эмиграции, где молодых встречали как желанных участников. Оцуп сделал всё, чтобы журнал стал для них «своим». Произведения многих начинающих авторов были впервые напечатаны в «Числах». Но «генеральную линию» журнала определяли «петербургские поэты». Вокруг них сложилась «парижская школа», на которую в последнее время было столько нападок (установка на лирический дневник, антиформализм, упадочничество, пессимизм и т. д.). Правда, раздавались и голоса защитников. В предисловии к антологии русской поэзии «На западе» Ю. Иваск особенно выделил парижских поэтов: «формально между парижанами мало было общего. Но была и есть общая для них парижская атмосфера. И когда-нибудь историк русской поэзии и культуры отдельную главу своей книги назовет именем Парижа».

Короткие, но замечательные по глубине характеристики наиболее «парижских» из всех парижских поэтов Г. Адамовича, Г. Иванова, Б. Поплавского, Л. Червинской и А. Штейгера, а также Д. Кнута и Ю. Софиева даны Г. П. Федотовым в статье, появившейся в «Ковчеге» в 1942 г.[4]. Г. П. Федотов, очень правильно прировняв «парижскую школу» к «школе Адамовича», отмечал, что несмотря на всё значение воспитательной работы Ходасевича, старавшегося обучить молодежь классическому мастерству, молодежь шла за Адамовичем. Это вовсе не значило, конечно, что учась у Ходасевича-поэта, его не признавали как критика. Наоборот, с отдельными его взглядами на искусство, так же как со взглядами и советами В. Вейдле, М. Цетлина и некоторых других эмигрантских критиков считались, может быть, даже больше, чем с советами Адамовича. Но за Адамовичем шли в самом главном. Это было очень определенное, хотя и трудно определимое представление о том, чем была и чем должна быть русская литература.

В «Комментариях» Адамовича есть отрывок, передающий, мне думается, то главное, чему могли у него научиться «моло-

---

[4] К «парижской школе» в более широком смысле принадлежали также: Б. Божнев, А. Гингер, Б. Закович, В. Корвин-Пиотровский, А. Ладинский, В. Мамченко, Ю. Мандельштам, А. Присманова, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Терапиано, И. Чиннов и некоторые другие.

дые». — «Было это в средине прошлого века. Жила в Лионе молодая и богатая женщина. — мадам Гранье. Сохранился портрет ее: глубокие темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежащая на спадающей с плеч шали... Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было — покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры сильные и чистые, — и мадам Гранье решила жить. Не для себя, конечно: всё «личное» было кончено — а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Но больные больным рознь. Мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про старуху, страдающую раком лица — и пошла проведать ее. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов — сплошная кровоточащая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела — и привезла ее в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись, и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса не видели... Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их, и, наконец, чуть не плача, сказала: «Да, что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбнется» — и прижалась к старухе щекой к щеке — к гнойной багровой язве, — а потом поцеловала ее в губы. История эта — напоминающая флоберовского «Юлиана» — была недавно рассказана в одной французской газете. В память мадам Гранье основано общество — «Les dames du Calvaire». Всё, что делают люди и всё, чем они живут, похоже по форме на конус или пирамиду: внизу, в основании — площадь огромная, и всякой отрасли находится свое место. Наверху всё сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье — и мне кажется, искусство должно быть похоже на то, что сделала она. Или точнее, на то, чем была она. Не в сострадании дело, — а в победе над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют — об этом. И Павлова иногда — была об этом. «Бессмертья может быть залог» — иначе не скажешь».

Я не могу согласиться со словами Адамовича, что «не в сострадании дело» и тем не менее этот отрывок, состоящий из пересказа прочитанной во французской газете заметки и примечания, с которым я не совсем согласен, являются по моему глубокому убеждению одним из самых важных текстов не

только эмигрантской, но и всей русской литературы. На это возразят, кажется, по Уайльду, что из хороших чувств обыкновенно получается плохое искусство. И это по большей части верно. Так мать Мария (Е. Ю. Скобцова), которую по степени христианского героизма вероятно можно сравнить с мадам Гранье, писала довольно слабые стихи и совсем плохие подчас статьи. И всё-таки Адамович, конечно, прав. Если бы не было в мире того, что вдохновляло сердца мадам Гранье и матери Марии, то не было бы и всего великого европейского искусства и, в частности, не было бы русской литературы.

На каком-то собрании, не помню, по какому поводу, Адамович совсем уже определенно заявил, что русская литература 19-го века была как бы новым взрывом сил, вошедших в мир с христианством. В том, что он научил «молодых» такому подходу к искусству, я вижу величайшую его заслугу. В те годы было много разговоров об эмигрантской миссии хранения «священного огня». Заметка Адамовича о мадам Гранье имеет к этому больше отношения, чем всё написанное разными представителями «национально-почвенной мысли», и если она когда-нибудь попадется на глаза советскому, или тогда уже не советскому, молодому писателю, лауреату государственной премии, то невозможно представить себе, что в его душе она не вызовет далекого, смущающего отголоска, который перевернет, быть может, все его представления о жизни и мире.

«Молодые» поэты еще более или менее известны. С годами они добились некоторого признания, их постоянно печатали в газетах и журналах, да кроме того каждому удалось выпустить две или три книжечки стихов и большинство попало в антологии зарубежной поэзии: «Якорь» и «На западе». Гораздо хуже обстоит дело с прозой. Произведения большинства «младших» эмигрантских писателей были опубликованы только частично, и многих несомненно талантливых авторов мы знаем только по двум-трем отрывкам, напечатанным в эфемерных журналах и сборниках, которых и следа не разыскать. Обзор этой наполовину рукописной литературы был бы возможен только в связи с изданием соответствующей антологии. Но подобный обзор и не входит в мою задачу. Мое исследование касается только одной определенной стороны эмигрантской литературы: одиночества, отверженности, беспочвенности. Исключения, конечно, были. Так, в этом смысле, нельзя назвать «эмигрантским писателем» Леонида Зурова. Он всегда писал о России и древние стихии народной жизни чувствовал

глубже, чем кто-либо из старших писателей, кроме Бунина, разумеется. Были и рассказы о гражданской войне: того же Зурова, Г. Газданова, И. Савина, Н. Татищева, В. Костецкого, Д. Леховича; были и книги, посвященные эмигрантскому быту: «Дурачье» Алфёрова, «Бианкурские праздники» Н. Берберовой, «Дорога» М. Иванникова, повести В. Федорова, А. Головиной, Н. Федоровой и Андрея Седых. Обобщения всегда опасны, и если я буду говорить только о книгах, отразивших эмигрантский опыт «гражданской смерти» наиболее изъявительно и как бы программно, это вовсе не значит, конечно, что другие не достойны внимания. Наоборот, может быть, наиболее поэтические книги были написаны именно теми авторами, о которых Поплавский говорил, что «они пишут в эмиграции и писали бы в любой стране и на любом языке о вечных вопросах, о вопросах вечно занимающих их, и эмиграция есть всего лишь социальная декорация для их «самого важного». Так писали Агеев, Е. Бакунина, Н. Берберова, А. Головина, А. Величковский, Емельянов, Г. Кузнецова, И. Одоевцева, Е. Рубисова, Ю. Фельзен и многие другие. Уже после войны стали известны имена Ю. Одарченко и Наталии Кодрянской, двух писателей чрезвычайно талантливых и настолько своеобразных, что о них, как в живописи о «таможеннике» Руссо, никак не скажешь к какому направлению, к какой школе и даже к какой эпохе они относятся. Если я не говорю о произведениях всех этих авторов, то только потому, что у них труднее найти наглядные примеры для показа моей мысли о «некоем, не совсем и не всем ясном деле эмиграции». О том же, кто лучше, кто хуже, я вообще не хотел бы говорить. Мне кажется, для этого еще не наступило время.

После всех необходимых оговорок возвращаюсь к моему тезису: главное в опыте молодых писателей — это отверженность и одиночество. Выключенные из цепи поколений, они жили где-то сбоку, нигде, ни в каком обществе. На это обычно возражают, что поэты всегда одиноки. Но эмигрантское одиночество совсем другого рода, чем овеянное романтической славой гордое одиночество Чайльда Гарольда. Скорее это тоска влаха в Венеции: «но мне скучно, хлеб их мне как камень».

Люди на чужбине так же чахнут, как пчелы вдали от родного улья. Не участвуя по-настоящему в жизни общества эмигранты лишены всех тех сил жить и действовать и того чувства укрепленности в чем-то прочном и реальном, которые даются

таким участием. Как определить, что овладевает тогда душой? Скука, тоска, невыносимое чувство остановки жизни, томительные, сводящие с ума головокружения пустоты. Незадолго до своей смерти Б. Поплавский записывает в дневнике: «И снова, в 32 года, жизнь буквально остановилась. Сижу на диване и ни с места, тоска такая, что снова нужно будет лечь, часами бороться за жизнь среди астральных снов. Глубокий основной протест всего существа: куда Ты меня завел? Лучше умереть».

Старшие могли укрыться от одиночества в общественность разных землячеств, но молодым было некуда деться. Продолжительное пребывание в таком одиночестве не могло пройти бесследно. У многих молодых поэтов и писателей комплекс эмигрантской неполноценности развивается в настоящий душевный недуг и приводит к расстройству здравого смысла, вернее, того особого чувства, которое позволяет человеку правильно определять свои отношения к людям и приноравливать свое поведение к требованиям общества. Неизлечимее и мучительнее всех был болен этой болезнью самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей Борис Поплавский. Этим и объяснялось, я думаю, его неумение держаться («одним я перехамил, другим перекланялся»), и дикие выходки, и странные черные очки, которых он никогда не снимал. Он говорил, что это доктор велел ему носить такие очки. Вероятно, это была правда, но я никогда не мог отделаться от чувства, что он носил их, чтобы «спастись от грубых взглядов» от «страшных глаз, прикованных ко злу».

В «Аполлоне Безобразове», неоконченном романе Поплавского, герой, от чьего имени ведется рассказ, вспоминает начало своей эмигрантской жизни: «Я недавно приехал, и только что расстался с семьей. Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь». «Разве не прелестны», говорит дальше Аполлон Безобразов, «все эти помятые, выцветшие эмигрантские шляпы, которые как грязные серые и полуживые фетровые бабочки сидят на плохо причесанных и полысевших головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (Ахиллесова пята) и отсутствие перчаток и нежная засаленность галстуков». «Разве Христос, если бы Он родился в наши дни, разве не ходил бы Он без перчаток, в

стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове». «Не ясно ли вам, что Христа несомненно во многие места не пускали бы...». «Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще христианской гордостью начикал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге».

Всё в этом отрывке показательно: резкие переходы от униженности к позам превосходства, потом снова стыд и страх. «Боялся войти в магазин», «жуликовато краснел, разговаривая с полицией», «жил в сумерках». В такой отгороженности от общества, более полной, чем в тюремной камере, живут только люди, скрывающие какую-то страшную болезнь, постыдный порок, или преступление. Между тем, всё преступление Поплавского заключалось только в том, что он был непризнанным и нищим эмигрантским поэтом. Скажут, что никто Поплавского не травил. В ответ я привел бы слова Марины Цветаевой: «затравленность и измученность вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно — самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсиянин, поэт... Не свой *рожден* затравленным».

Такой же одинокий нищий мечтатель, как герой Поплавского, и герой романов Сергея Шаршуна. Он так же не способен жить по-людски и также болезненно переживает свою эмигрантскую затравленность. Романы и других «младших» эмигрантских писателей показывают, что это неумение обращаться с людьми поражает всю душевную жизнь их героев, делая не только общественные, деловые, но и самые личные, с близкими людьми, любовные и дружеские их отношения невозможными, мучительными и безнадежно запутанными.

Особенно в некоторых романах В. Сирина-Набокова подчеркивается обреченность героя на трагическое одиночество и невыносимость для него всех видов человеческого общежития. В «Приглашении на казнь» Цинцинат восклицает: — «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или короче: ни одного человека, говорящего. Или еще короче: ни одного человека!» — Лужин, герой другого романа Сирина, выбрасывается из окна, чтобы уйти от людей.

Герою эмигрантской литературы трудно, скучно и страшно жить в человеческом мире. «Но ты не в силах жить», «мне

мир невыносим», «как страшно одиноким», «не в силах мир снести», «признаки жизни страшны» — весь «Снежный час», посмертно изданный сборник стихотворений Поплавского, полон подобных выражений. Вместе с этим чувством невыносимости мира — сознание своей ненужности и слабости:

Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим.
Усталый друг, смиряйся, подождем,
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.
Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.

Между тем, Поплавский вовсе не принадлежал к числу тех писателей, для кого мир невыносим, так как они не способны увидеть в людях и в жизни ничего, кроме уродства, пошлости, жестокости и низости. Напротив, я не встречал другого человека с такой готовностью к восхищению. Он восхищался всем — снегом, дождем, звездами, морем, Римом, стоицизмом, гностиками, святой Терезой, Латреаоном, Джойсом, боксерами, ярмарочными силачами, картинами знакомых художников и стихами знакомых поэтов. Не был Поплавский и биологически хилым, неспособным жить человеком. С крепкой мужицкой шеей и толстенными, развитыми тяжелой атлетикой руками («занимаюсь метафизикой и боксом») он был способен радоваться жизни с каким-то почти детским простодушием. Весь цикл «Над солнечной музыкой воды» вдохновлен открытием, «что может быть весенний прекрасный мир и радостен и прав». И всё-таки, невыносимость и боль жизни перевешивают эту радость.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым, остальным.

С интонацией, напоминающей Гамлетовское «to die, to sleep», слова: спи, усни; спать, уснуть; спи, забудь; смирись, усни; спать, лежать, сон, спал, спать ложусь — повторяются почти в каждом стихотворении «Снежного часа».

Хочется в углу ко тьме прижаться,
Как-нибудь согреться и уснуть.

Поплавский и умер во сне, повернувшись лицом к стенке. Обстоятельства его смерти в точности неизвестны. Официально это был несчастный случай — отравление недоброкачественными наркотиками. Но ходили странные слухи.

В одной из своих статей Поплавский писал: «как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать всё по будничному, как отвратительно иллюминанту, очнувшемуся от «припадка реальности», открывать глаза на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх». Г. П. Федотов, говоря, что Поплавский «боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое», замечает несколько таинственно: «он погиб от собственной дерзости и бесстрашия».

И друзья, и враги постоянно упрекали молодую эмигрантскую литературу в ослаблении чувства реальности и в отрыве от жизни. Указывалось на ложность и гибельность монпарнасских веяний, на ошибочность пути, которым шел Поплавский и его товарищи. Говорили, что на Монпарнассе собирались какие-то живые тени, окончательно отвыкшие от реального мира и для которых поэзия своего рода опиум, «искусственный рай».

В 1930 г., на открытом литературном вечере, устроенном «Числами», П. Н. Милюков заявил: — «Русская литература периода классического, до Толстого включительно, была периодом реализма. Его сменил период романтический или период «символизма». Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь в эмиграции часть литераторов, в частности те, которые сотрудничают в «Числах», продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни». — Милюков, несомненно, выразил убеждение, разделяемое почти всеми «отцами»-общественниками. В этом и была, вероятно, причина, почему «молодых» не любили и не хотели печатать. Им советовали исправиться, вернуться в социальную действительность и описывать ее в духе «здорового реализма». Между тем, мы видели, что в «общем мире» для них не было места, и кроме унижения и невыносимого одиночества их там ничего не ждало. Возможности участия в социальной жизни открылись перед ними только, когда началась война. Что же удивляться тогда «отрыву» и «ослаблению чувства реальности»? Герой эмигрантской молодой литературы не живет, а только смотрит из своего одиночного заключения на жизнь,

проходящую мимо, как вода мимо губ Тантала. Внимание слабеет, всё становится неопределенным и недостоверным. Подлинные, укорененные в действительности восприятия смешиваются с мечтаниями и сном.

«Я отступил два шага назад, и с необыкновенной легкостью истерического припадка прыгнул в лодку. Этот странный поступок объясняется тем, что уже несколько минут вообще всё было очень странно, всё плыло по открытому морю необычайности, но необычайности как бы самодвижущейся, саморазвивающейся, необыкновенности снов и самых важных событий царства воспоминаний, тоже случившихся как бы сами собой, тоже несомых каким-то попутным ветром предопределения, рока и смерти».

Начиная с этой сцены в «Аполлоне Безобразове» граница между действительностью и мечтанием почти совсем исчезает. Много описаний припадков особого рода рассеянности мы находим и у П. Ставрова, очень эмигрантского поэта и писателя. В рассказе «Арман Лэклер» он пишет: — «Открытые поля разворачивались в даль ровно, бесконечным веером. Далеко впереди черной, смешно-передвигающейся фигуркой бежал одинокий автомобиль. Арману вдруг показалось, что бежит эта черная фигурка никуда и ниоткуда. Так и большая белая бабочка, неровными зигзагами мелькающая в поле зрения... Скука переходила в тоску, неуверенность... Негде укрыться... И яркое солнце и бесконечным блеском залитое небо и широкие поля в слабом мерцании воздуха и трудно копошащиеся фигурки жнецов становились явью некрепкой, картинным видением, мешающим понять, увидеть... Арман досадовал, отчего (— скука, вынужденное безделие?) являются у него такие мысли, среди белого дня, среди мирных полей».

Ослабление внимания к жизни возмещалось у многих младших эмигрантских писателей развитием дара лирического визионерства. Особенно обладал этим даром Г. Газданов. Герой одного из его рассказов говорит: — «Я чувствовал всегда что та жизнь, которую я вел в этой гостинице и которая состояла в необходимости есть, одеваться, читать, ходить и разговаривать, была лишь одним из многочисленных видов моего существования, проходившего одновременно в разных местах и в разных условиях — в воздухе и в воде, здесь и за границей, в снегу северных стран и на горячем песке океанских берегов; и я знал, что живя и двигаясь там, я задеваю множе-

ство других существований — людей, животных и призраков. Некоторых из них я почти не представлял себе; мне казалось только, что они летают на мягких черных крыльях, сделанных из чудесного тела, которого я никогда не коснусь. Других я видел перед собой; они всюду сопровождали меня, я к ним давно привык и привык даже к тому, что, по непонятному мне закону, они награждены даром немой речи, доходившей до меня помимо слов и мыслей, которые были бы слишком тяжелы для них, как насыщенная влагой атмосфера слишком тяжела для прозрачных крыльев насекомых, за которыми ныряют в воздухе черные ласточки... И иногда все эти существа, точно чувствуя опасность сумасшествия, угрожавшую мне, — вдруг появлялись передо мной, как близкие родственники у постели умирающего, — и их легионы, состоявшие из почти видимого трепетания в воздухе, становились на мою защиту; и они роились в темноте, беспрестанно появляясь и исчезая, и чьи-то забытые глаза, которые они вызывали в моей памяти, заставляли меня часто дышать от волнения».

Герой эмигрантской литературы отворачивается от мира, где ему не оказалось ни места, ни дела, и тогда его сознание тонет в разливе живых, причудливо-изменчивых снов, музыки, мечтаний, каких-то странных, то невозможно прекрасных, то безобразных видений и чувств. Пусть даже это только самый низменный «этаж» душевной жизни, огород психоанализа, темный бред эротических навязчивых идей и галлюцинаций, но вдруг в мутном потоке мелькают необъяснимые анормальные восприятия, врывающиеся как бы с «той стороны», и тогда сердце охватывает великая безумная и вечная человеческая надежда, что вместе с душевным подпольем сознанию откроется что-то, несущее реальное ощущение бессмертия.

Есть бытие, но именем каким
Его назвать? — ни сон оно, ни бденье.
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него
Одни других мятежней, своенравней
Видения бегут со всех сторон;
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда мечтой воспламененный
Он видит свет, другим не откровенный.

Эти строки Боратынского можно было бы поставить эпиграфом к антологии литературы эмигрантских сыновей.

Уже упомянутый мною герой Набокова-Сирина, Цинцинат, говорит: «К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то-есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии больше истинной действительности, чем хваленая явь».

Это ожидание, что за океаном снов и мечтаний лежит блаженная неведомая отчизна, заставляет сознание всё упорнее рыть в глубину самого себя и тогда проступает невыразимое ощущение не своего, экстериоризированного в объективном мире, «я», а своего настоящего существа, неопределимого никакими «паспортными» обозначениями и уходящего корнями в действительность жизни, не могущей никуда исчезнуть, вечной, занимающей «всё место».

«Царство Божие — это видеть земную жизнь, «оттуда — сюда», видеть ее освещенной не тусклым земным солнцем, не черным, всё затемняющим солнцем смерти, а ослепительным солнцем вечной жизни» — пишет К. Гершельман в своем наброске «О царстве Божием». Основная интуиция Гершельмана, это не вера в будущую, после смерти, вечную жизнь, а ощущение пребывания в вечной жизни уже сейчас, как в каком-то особом измерении данной нам действительности: «мы уже теперь погружены в венчающее мир бессмертие, как будем в него погружены в день воскресенья мертвых». «Стоит только до конца напречься», чтобы это понять и увидеть, а понять это и увидеть, — и значит войти в царство Божие». «Для вошедшего в Царство Божие, «вторичнорожденного», смерть снова внутренне преодолевается: познав свое бессмертие, он становится бессмертным, каждое мгновение земной жизни он переживает, как протекающее в вечности, как непреходящее».

Тема нового рождения близка и многим другим «младшим» эмигрантским писателям. В повести В. Яновского «Любовь вторая» героиня рассказывает о пережитом ею на башне Нотр-Дам настоящем мистическом преображении, воспоминание о котором связывается в ее сознании со словами «надлежит вам родиться свыше»: — «...я чувствовала, что могу сейчас упасть замертво, но в то же время знала: меня окружает завеса, всё путающая, скрывающая правду, однако, если хорошо теперь напречься, то она может рухнуть, взвиться, и я

увижу то, без чего нет жизни...» И вот завеса рухнула: — «Огонь обрушился, грозный, воинственный и священный, от божественной любви в нем было только то, что будь он на иоту сильнее или продолжительнее, — от меня бы ничего не осталось, таково впечатление. Я поднялась с колен, преображенная. Я, первородная, близкая Богу, огнеупорная, исшедшая из Него, родственная Ему, очистилась в этом огне от всяческих плевел, отсеклась, отделилась, — во всех проявлениях, в разуме и в чувстве, — от формы, скорлупы, к которой приросла; и я познала меру, вес своей души. «Пошлю вам Духа Истины, Утешителя, который наставит вас, как жить. Это Его, Его Дух Истины, совершенный, родной, таинственный, обрела я в себе с того мгновения. «Я уйду и пошлю Его вам». О, как реально, материально, он был тут и утешал, как благостно и одухотворенно. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга».

Реальность опыта этих редчайших осиянных мгновений никогда еще не была доказана с научной убедительностью. И всё-таки это невыразимое, трансцендентное разуму, непосредственное ощущение остается в памяти на всю жизнь и душа человека не может примириться с мыслью, что животное существование, неизбежно кончающееся смертью, есть единственная действительность из которой нельзя «проснуться» в какое-то другое непостижимое измерение бытия.

Гершензон в «Исторических записках» рассказывает, как после закрытия «Европейца» Иван Киреевский в условиях вынужденного бездействия стал размышлять о человеческой психике и в самом себе сделал открытие, «столь же реальное, как открытие нового материка». Этот «материк», увиденный им в глубине своей души, Киреевский определил как «внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости».

Заслоненное пышными историософскими схемами славянофильства это открытие Киреевского, как многие другие русские открытия, осталось в России незамеченным и только через полвека вновь было сделано философами и психологами Запада.

И вот, на Монпарнассе эмигрантские сыновья, обречен-

ные на еще более полное бездействие, чем Киреевский, наткнулись на тот же «материк». Поплавский писал: «никакая социальная путаница не может разрушить личной жизни человека, на глубине которой находится его величайшая радость, его личное, никому не передаваемое общение с человеком и Богом». Поплавский вряд ли читал Киреевского. Он сам всегда говорил, что своему уважению к личной жизни, «как средоточию всего содержания, всей глубины жизни вообще», научился у Запада. Да и другие монпарнассцы, наверное, знали лучше современных французских и английских писателей, чем славянофилов. Но для открытого сердца часто бывает достаточно одного намека, одного случайно услышанного упоминания. Ничем этого не доказать, а, всё-таки, всё кажется, что один из потерявшихся в песке ручьев русской мистической жизни вдруг опять вышел наружу в Париже, на Монпарнассе, среди людей до того от всего оторванных, что самые лишние из всех лишних людей русского прошлого кажутся по сравнению с ними глубокими почвенниками.

В. Варшавский.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх...

Ин. Анненский

Парки пряжу ткут и распускают.
Тихий снег снижается на мир.
Елки под забором умирают,
Их уже изгнали из квартир.
Анненский тревогу мне приносит,
О, какой печальный маскарад!
Чахлая, между ветвями, просинь,
Мертвенный сгорающий закат.

Юрий Трубецкой

О КАЧАЛОВЕ

В предисловии к книге о Качалове[1], недавно выпущенной московским книгоиздательством «Искусство», сказано, что она посвящается его «светлой памяти». Выражение это — трафарет, обезличенный бесчисленными ремесленниками надгробного красноречия. Но, странное дело, трудно найти более подходящее определение той памяти, какую оставил после себя среди всех знавших его Василий Иванович. Вспоминаю его и чувствую, как, вот, всё в памяти начинает светиться ласковым обаянием его облика, участливого и внимательного, и не могу удержаться от ответного просветления... Светлая память!

По благоприятному стечению обстоятельств книга о Качалове была сдана в набор, когда временно миновала необходимость для всякой книги в России быть посвященной Сталину или, тем паче, его «светлой памяти». Но всё же еще не наступило в стране советов время для книги без «прикладного» назначения. Таким «прикладным» назначением или, говоря термином системы Станиславского, такой «сверх-задачей» книги является попытка освоить или, точнее, присвоить Качалова, доказать, что «лучшие люди искусства солидарны с партией большевиков», что «нигде в мире нет такого уважения и доверия к людям искусства, как в Советском Союзе».

Возможно, что из-за того же благоприятного стечения обстоятельств эта «сверх-задача» выполнена была составителями без особого рвения, только в меру печальной необходимости. Официальные высказывания, к которым был принужден своим положением Качалов, собраны главным образом на первом десятке страниц и, конечно, производят тягостное впечатление, потому что составители должны выдавать за чистую монету плоды заведомого советского вымогательства. Для знавших близко Качалова эти наивные и циничные попытки опорочить «светлую память» чудесного человека заранее обречены на неудачу. Из всех ролей, сыгранных Качаловым, самой для

---

[1] «В. И. Качалов», сборник статей, воспоминаний, писем. Москва. 1954.

него неестественной была навязанная ему роль «советского артиста», и несмотря на всё его дарование, а может быть именно благодаря ему, он сыграл ее плохо и неубедительно.

Мой друг М. В. Вишняк, извещая меня о высылке книги о Качалове, пишет: «Я ее почти целиком прочел. Много есть интересного и волнующего. Но больше всего возмущающего... Многое понятно, естественно и простительно. Но... стр. 532, где Качалов говорит о своих чувствах в апреле 17 года, когда никто его не побуждал даже косвенно признавать правду большевизма, это несносно». Вот это место, так возмутившее М. В.: «...В апреле 1917 года... он (Качалов) писал в Петроград: Прежде, до революции, пробегал газету в 5 минут, а теперь трачу на это по 2 часа. Читаю «Правду», эсдековские и буржуйные. Читаю и потом еще думаю о прочитанном. Часто склоняюсь к большевизму и не боюсь даже гибели «Государства Российского», а большевизм к этому ведет. Пускай! Вот только увидеть бы, что будет на развалинах...» Кому это писалось, и так ли действительно писалось, мы не знаем, но даже если допустить, что это не передержка советских шулеров, — этому есть объяснение.

Думаю, что М. В. Вишняк не учитывает того глубокого политического невежества, которое царило в профессиональной актерской среде, даже и в среде Художественного Театра, значительно превосходившей образованностью общий актерский уровень. Сам Качалов признается, что «до революции пробегал газету в пять минут», из которых бóльшая часть, конечно, уходила на отдел театральный. Конечно, М. В. Вишняку трудно представить себе такое безразличие к вопросам общественным и политическим; сам он к апрелю 1917 года уже двенадцать лет состоял в партии с. р., успел посидеть в тюрьмах, побывать в эмиграции и в Нарымском краю, получить солидное юридическое образование, в партии считался «спецом» по публичному праву и в качестве представителя партии был привлечен в Особое Совещание, подготовлявшее выборы в Учредительное Собрание. Он находился в кипящем твориле событий, и политическая осведомленность и свойственная ему интуиция Кассандры ясно рисовали ему, чего можно было ждать от большевиков и большевизма. Для большинства же неискушенного русского общества эта пора всё еще была медовым месяцем свободы. Поэты воспевали стихию русского бунта и многим из их читателей, романтически и эмоционально настроенным, свойственно было отдаваться мечтам о какой-то вольнолюбивой анархии, которая, готовя путь грядущему зо-

лотому веку, всё разнесет вдребезги. Многими в те дни владело веселое озорство. «Бей мельче — собирать легче!» Если слова, цитируемые на стр. 532 действительно были написаны Качаловым, то написаны они были в дни этого общего опьянения. Пробуждение и горькое похмелье пришли позднее, к концу июля. А Октябрь принес полное и горестное протрезвление.

До бегства моего из Москвы (год спустя после октября), мы виделись с Качаловым почти каждодневно. Могу засвидетельствовать, что большевиков он ненавидел всеми силами своей вольнолюбивой и человеколюбивой души. Таким он оставался и в 1919 году, когда мы встретились на юге России после того, как ему удалось туда выбраться, и в те три года, когда «Качаловская группа» гастролировала в славянских странах и в Германии, и во время наших свиданий в Америке. О том, что стало с Качаловым в советском плену, я могу судить только по материалам этой книги да по некоторым вестям, дошедшим до меня из третьих рук. В последний раз я видел его в 1924 году в Нью Йорке, на пристани. После этого пи́сьма от него были только тогда, когда ему случалось быть вне железного занавеса. Даже с К. С. Станиславским, для которого я редактировал американское (вышедшее в свет прежде русского) издание его книги «Моя жизнь в искусстве», я мог сноситься только через его сына Игоря, жившего в Давосе, который писал мне в апреле 1926 года: «...писать к вам непосредственно он из Советской России не решается (даже в письмах ко мне он вас иначе не называет, как условным именем)...» И после этого, какой горькой насмешкой, каким мучительным унижением звучит: «Нигде в мире нет такого уважения и доверия к людям искусства со стороны государства, как в Советском Союзе, где Сталин назвал художника «инженером человеческих душ»!

С Качаловым я познакомился в 1909 году, и мы вскоре близко сошлись. Дружить с Качаловым было естественно и легко. Привлекала к нему удивительная талантливость, столь отличная от обычного вида актерской талантливости и актерского «нутра», его искренняя, почти застенчивая простота и покоряющая доброжелательность, его тонкий, живой юмор. «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него особый талант, — человеческий», говорит Чехов об одном из своих героев. И у Качалова этот особый талант, человече-

ский, преобладал даже над его обаятельным сценическим даром.

Нас, конечно, сближал интерес к театру и, в особенности, к поэтическому слову. Читать вслух для Качалова было необходимостью, и для этого ему не нужна была аудитория. Читая наедине или в кругу двух, трех друзей, он и сам становился слушателем, как скрипач, с наслаждением прислушивающийся к тону своего инструмента. Иногда, дав отзвучать фразе, он повторял ее, и на лице его появлялось выражение восторженное и вопрошающее. Читал он совершенно не так, как в те дни читали актеры, и не то, что обычно исполнялось с концертной эстрады. Он читал Пушкина, Боратынского, Тютчева, Чехова и, в особенности, Блока, которым он в эти годы увлекался и который навсегда остался избранным инструментом качаловского вдохновения. В чтении его не было ничего театрального. Это была камерная музыка или, вернее, камерная поэзия. Памятью он обладал необыкновенной и читать мог часами, забывая о времени. Часто, после спектакля и позднего ужина, мы засиживались за кофе и коньячком до вторых петухов.

Общей образованностью и культурностью Качалов был на голову выше большинства ведущих актеров Художественного Театра. Он хорошо знал русскую художественную литературу и, в переводах, был знаком с иностранной. Из гимназии он вынес хорошее знание латинского языка. Однажды, превосходно прочтя из «Цыган» строки, говорящие об Овидии («Меж нами есть одно преданье...»), он поразил меня мерной латынью из «Tristiae», где описывается арест Овидия и его последняя ночь в Риме (Ultima nox fuit...). В студенческие годы он так был занят театром, что на университетскую науку не оставалось времени. Ни Гегеля, ни Канта, ни Маркса он, конечно, не читал. Политическая литература его была больше русская, — Герцен, Кропоткин. Позднее он собирал всё что мог о декабристах. Конечно, как большинство русской интеллигенции, он был «личностью политически неблагонадежной», но ни к какой партии не принадлежал. На квартире его укрывались и эсдеки и эсеры. Он дружил с Бауманом. Но дружил он и с кадетами, с Н. Е. Эфросом, одним из столпов «Русских Ведомостей», с семьей Ф. А. Головина, с О. Шереметевской, сестрой будущей графини Брасовой, с А. Стаховичем, бывшим кавалергардом, на шестом десятке лет вступившим в труппу Художественного Театра. Революционность его, как и весьма многих в художественных и театральных кругах того времени,

была своего рода религиозной настроенностью, не требующей теоретического обоснования. Вместе с другими, он склонялся к смутной революционной философии, проповедуемой Вячеславом Ивановым и Георгием Чулковым, которой дано было привлекательное название «мистического анархизма». Тут было и неприятие мира, и отрицание государства, всякого государства, в том числе и «Государства Российского». В это сумбурное время завсегдатаи вторников Художественно-литературного кружка и Бродячей Собаки черпали свои лозунги не из Маркса и Ленина, а из Блока и Белого. Дерзания символистов легкомысленно смешивались со скифским мессианством Иванова-Разумника, мечтами о Прекрасной Даме, даже с тяжеловесной тевтонской конкретностью антропософа Штейнера. За коммунистическую политграмоту актеров засадили уже после Октября новые хозяева, которым нужны были для пропаганды выступления «инженеров человеческих душ», и позволительно думать, что все эти приветствия и слова о «фронте культурного шефства над Красной Армией» и т. п. изготовлялись в соответствующих цейхгаузах и мастерских советской пропаганды и присылались предполагаемым авторам на-дом для подписи, с рассыльной книгой.

Художественный Театр спасли от разгрома заступничество Горького и преклонение Ленина перед театром Станиславского, верившего, что для новой театральной публики «нужна и лирика, и Чехов, нужна житейская правда». В модернистах, которые еще до Октября повели жестокую травлю против отсталости реалистического искусства, Ленин не видел никакого толку. Для него, как и для большинства русской «мелко-буржуазной демократической» интеллигенции, Художественный Театр был передовым и любимым.

Художественный Театр был взят под опеку партии, ему предназначалось стать орудием пропаганды. Это избрание легло тяжким бременем на театр. Началась политическая муштра, ломка репертуара, усиленный партийный надзор. Москвин, еще так недавно водивший по кулуарам театра, почтительно, «под локоток», великого князя Михаила Александровича, сразу схватил дух новой роли. Но Станиславский совершенно растерялся, а дипломат Немирович-Данченко заговорил эзоповским языком. По ночам на темных улицах и в подвалах чрезвычайки трещали наганы. Москва голодала. В погоне за краюхой хлеба с мякиной и мешком мерзлой картошки родилась «халтура», торговля дешевкой, наскоро слаженными бродячими выступлениями, которая надолго укоренилась в советском теат-

ральном быту. Жизнь в Москве и в театре становилась невыносимой.

Еще до моего отъезда из Москвы Качалов мечтал о том, как бы вырваться на волю. Кто в те дни выбрался из советского плена, помнит, как это было трудно и опасно. Качалов был на виду, у него была семья. Нужны были чрезвычайные обстоятельства, чтобы сделать его бегство возможным.

Конечно, советское издание старается изобразить это так, будто вообще никакого бегства не было, всего только — несчастный случай. Вот как описывает это А. В. Агапитова в отделе, озаглавленном «Летопись жизни и творчества В. И. Качалова»: «...В июне 1919 года предстояли гастроли части труппы Художественного Театра в Харькове. Перед поездкой был возобновлен «Дядя Ваня» с Качаловым — Астровым. Во время гастролей произошла катастрофа: вся группа актеров была отрезана от Советской России деникинской армией, взявшей Харьков. Начались вынужденные трехлетние скитания по югу России, Балканам и Средней Европе...»

На самом деле, всё это произошло совершенно иначе. Я вновь встретился с Василием Ивановичем в начале октября в Севастополе, где я в то время работал в местной газете. Качалов с женой, Н. Н. Литовцевой, ночевали у меня. В. И. подробно рассказал мне о том, что произошло в Харькове. Труппа имела полную возможность вернуться в Москву, но из актеров только Н. Подгорный захотел воспользоваться этой возможностью. Несмотря на его настояния, остальные предпочли беженство всё растущему террору Чеки и невыносимым условиям голодного и холодного существования. Мы много говорили о Москве, о театре, о московских друзьях, но о возможности возвращения не было и речи. В последний раз на русской земле я увидел Василия Ивановича месяц спустя, когда он опять на несколько часов оказался проездом в Севастополе. Он был один и собирался в Одессу, где оставалась Нина Николаевна с больной Тамарой Дейкархановой. Василий Иванович был очень удручен отсутствием известий от сына Вадима, который находился где-то на юге России, но с которым была утеряна всякая связь.

Мы расстались на Графской пристани. В 1920 году «качаловская группа» гастролировала в славянских странах и в Берлине. Я к этому времени выбрался в Париж, и переписка наша возобновилась. Отношение Качалова к возвращению в Москву оставалось тем же. Группа имела большой успех, была засы-

пана предложениями, работала над новыми постановками, расширением репертуара. Была даже мысль засесть прочно в Берлине, гастролируя только в летние месяцы. Летом 1921 года эти планы настолько определились, что Василий Иванович писал мне из Праги:

«...вот о чем спешу сообщить сейчас. Я говорил с нашими о тебе, — и выяснилось, что твое присутствие в нашей группе продолжает быть очень желательным... По-моему, решайся! Ты особенно нужен сейчас, когда идет спешная подготовка «Гамлета». Если сейчас ты никак не сможешь приехать, то тогда уже будем расчитывать на тебя — на ноябрь — Берлин. В октябре — в начале будем мотаться около Праги, в двух чешских городах, а потом дней на десять поедем в Вену. И только с начала ноября надеемся осесть прочно в Берлине...»

К сожалению, принять это предложение я не мог. Меня уже связывал контракт с «Летучей Мышью» Балиева, собиравшейся на гастроли в Англию и Америку. К тому же внутренний голос пророчил мне бедствия, надвигавшиеся на Германию и восток Европы. А поздней осенью, когда я уже готовился покинуть Париж, пришло письмо от Качалова, которое впервые говорило о возможности возвращения в Москву. Из него ясно, какие мысли и настроения привели Качалова к «возвращенству».

«...Очень хотелось бы, дорогой и милый друг, повидаться с тобой, поговорить, как следует, многое рассказать, даже о многом посоветоваться... И теперь мне хочется, чтобы ты подсказал мне решение вопроса — огромного, — о Москве, о возвращении в Москву. Тут конечно важны всякие обстоятельства, при решении вопроса. Мы ждем Подгорного, надеемся, что он приедет, — и тут обстоятельства выяснятся. Я непременно напишу тогда тебе, и ты, всё взвесив, посоветуешь мне, что делать.

В сущности говоря, и в моей жизни... уже давно ничего не происходит. И я бы сказал, слава Богу. Но что-то произойдет, что-то изменится, что-то начнет происходить в этой жизни — в зависимости от этого вопроса о Москве. И этого я боюсь.

В Москве так всё стало для меня непривлекательным, что собственно эмигрантство меня не пугает, хотя бы и длительное, но боюсь, что в душу влезет то, чего я почти не знал до сих пор, — это — угрызения совести. Ты знаешь, мне *уже* стыдно — перед моими сестрами, старыми, беспомощными, да еще с маленькой девочкой, — которые там голодают, а я бы мог им там помочь. И если они умрут с голода или истощения, то это ляжет таким пятном на

моей совести, которого ничем не смоешь, — так с ним и пойдешь на тот свет... Пустота, отсутствие жизни, отсутствие настоящего — это не беда, — ведь было большое прошлое, и я люблю его, и могло быть лучше, по иному, и я знаю, как, и люблю тоже об этом потосковать. А тем более теперь, от этой жизни, которую я никак не принимаю, — отойти в сторону — даже приятно. Словом, жить без настоящего — очень даже можно. А вот жить с ужасным настоящим, с отравленным, — страшновато. Впрочем, об этом поговорим еще подробнее. Хотя нет. Раз уж начал, хочется договорить. Вот иногда чувствую: должен вернуться в Москву, уже не ради сестер моих, а для Театра. Сознаю, что я один из камней, на которых держится М. Х. Т., что отсутствие этого камня дало трещину театру, что нужно опять вставиться в фундамент, и театр простоит. А если даже и не простоит, если всё-таки рухнет, то на миру и смерть красна, — одна семья у нас, вместе начали, вместе кончим. Значит, хорошо, так нужно. И когда так думаю, то кажется, вот, завтра же еду в Москву. И сестрам помогу, и перед театром очищусь, и с чистой душой помру. А потом начинаются другие мысли, — конечно, потому, что душа не хочет в Москву. Думаю, — если театр жизнеспособен, так он оживет и без меня, — я же не Станиславский, я не душа театра. Он должен ожить, в нем младая будет жизнь играть и т. д. А если он умер, если он убит — всё равно, был или не был я среди убийц, — то что же, остается только для собственного утешения подставить свое плечо под дорогой гроб? Из сентиментальности? Но чем дороже покойник, тем менее нужна сентиментальность.

Бывает еще у меня и такое чувство: вот театр умер там, в Москве, но чудесно и несомненно воскреснет здесь, в Европе, преображенный, в каких-то новых одеждах. Ах, если бы такое чувство могло дольше продержаться, если бы я крепко поверил в это чудо! Нет, быстро улетает это чувство. Не те люди вокруг, не нам здесь воскресать. Очень жду Подгорного, вообще, людей оттуда. Может быть они разрешат мои сомнения, разрубят, как говорит наш московский друг Рябов[1], — «Гордеев узел».

Конечно, ни советовать, ни тем более убеждать Качалова я не мог и не стал. В конце мая 1922 года Качалов вернулся в Москву, а в конце сентября того же года театр выехал в

---

[2] Рябов, талантливый, полуграмотный московский мещанин. Качалов восторгался его «перлами» вроде: «Познакомился я с одним инженером путем сообщения»; «в этих очках вы совсем стали непризнательны...», «Василий Иванович Гамлета играет выше всей похвалы...» и т. п.

заграничную поездку. На этот раз были приняты меры. В качестве заложницы в Москве оставалась лучшая артистка театра, М. П. Лилина, жена Станиславского. Переписка моя с Качаловым, прерванная его возвращением в Москву, возобновилась. Поздней осенью он писал мне из Берлина:

«...Итак, поклон тебе от Москвы, Питера, Тулы, Твери, Волги и Оки, Арбата и Собачьей Площадки. Везде побывал, везде вспоминал тебя и беседовал с твоей тенью. Чудесная, чудесная *несмотря на всё* — Россия. Никак и ничем не изгадишь ее. И ты, и я, мы все — здесь за рубежом — невольно забываем, что *вся* огромная Россия осталась там, в России, что там не мильоны, а «тьмы, и тьмы, и тьмы», великолепнейших людей, талантливых, чистых, ничем себя не запятнавших, мучительно, а то даже и весело — потому что их много — изживающих большевизм и, главное, живых и бодрых, и верующих, несмотря на всё. И хамство, и хулиганство, и зверство, и свинство — всё цветет махровым цветом, всё в огромных размерах — и всё-таки подо всем этим Россия, живая, несгнившая, нищая и чем-то богатая, покорная и чем-то страшная, нелепая, смешная и милая.

В Москве препротивной стала Тверская, кишащая папиросниками, всякими торговцами и спекулянтами, залузганная, заплеванная, пыльная, вонючая от беспрерывно носящихся комиссарских машин, дымящих отвратительным бензином. Но все переулки Арбата, Пречистенка, Поварская — сохранили всю прелесть и свои названия, стали еще очаровательнее, потому что поросли травой, и потом снесены почти все заборы и видна внутренность дворов. Невозможно передать прелести Питера, тоже на половину поросшего травой.

Конечно тебя помнят твои друзья, все просили обнять за них, если встретимся. Никто особенно не изменился, Савельев с Андреевым[3] потолстели, клуб[4] наш процветает — вошли новые члены Москвин и Лужский. Пили здорово. Попал на обед к Тамарину[5], который

---

[3] А. П. Савельев, врач, как и В. И., из духовного звания, обладатель превосходного протодьяконовского баса и любитель церковного пения. Н. А. Андреев, известный скульптор, автор памятника Гоголю на Пречистенском бульваре.

[4] Клуб наш состоял из пяти членов: Качалова, Л. М. Леонидова, Савельева, Андреева и меня и собирался приблизительно раз в месяц у Савельева и Андреева или у меня.

[5] А. Тамарин — псевдоним талантливого фельетониста, бывшего кавалериста, крымского татарина Бек-Мерецкого. Качалов познакомился с ним у меня и очень им заинтересовался.

теперь стал важной шишкой: был военным министром Бухары, а теперь в Москве стал послом бухарским. Имеет собственный вагон и трех адъютантов, и бухарскую лихорадку, от которой лечится коньяком, и попрежнему один громадный зуб во рту... Ну милый мой — бегу в театр. Крепко обнимаю тебя, Тамару и Сергея[6]. Надеюсь получить от тебя письмо и очень мечтаю о встрече. Храни вас всех Бог. Твой В. К.»

Театр прибыл в Америку в первые дни 1923 года. О московской жизни вести были весьма нерадостные. Еще в августе 1922 года Ричард Болеславский писал мне из Парижа, что Качаловы «шлют письма в Берлин, где проклинают час, когда решили вернуться в Москву. Одна из первых рецензий о Васе гласила: 'Нам не нужно это искусство буржуазных прихвостней'. Весело?» Нападки, впрочем, шли не от кремлевских властей, намеревавшихся использовать в целях пропаганды российскую и заграничную славу театра, а от распоясавшихся модернистов, которые ошибочно воображали, что с Октябрем пришла их пора. Мейерхольд поражал легкие умы конструктивистским Островским, от которого горькими слезами обиды плакал возмущенный Станиславский. Таиров щеголял провинциальным мюнхенским экспрессионизмом. Модернисты не могли еще предвидеть «социалистического реализма», ждановского похода на формалистов и зверской расправы с Мейерхольдом. Но и власти начинали оказывать давление на МХТ, требуя нового репертуара. Станиславский был в панике. Политграмота ему не давалась. Его сперва уплотнили, а потом и вовсе выселили из его барского особняка на Садовой.

В гастрольную поездку по Америке я был включен в качестве помощника административного директора С. Л. Бертенсона, тонкого эрудита и превосходного знатока русского театра и музыки. С Качаловым я постоянно виделся в театре. Порой в закулисном полумраке ласково касалась моего плеча рука барона или царя Федора, готовящегося к выходу. Почти всё свободное время мы проводили вместе. Возобновились наши ночные чтения Пушкина, Тютчева, Блока, Чехова. Американская жизнь Качалова интересовала, но от американского театра и кинематографа он приходил в уныние. Успех театра в Нью Йорке был совершенно необычайным. Вскоре начались предложения из Холивуда, заинтересовавшие даже Станиславского и Москвина. Но Качалова они никак не соблазняли, он и слышать о них не хотел. «Я актер, а это — не театр». И сын

---

[6] Тамара Дейкарханова и С. А. Васильев.

Качалова, Дима, участвовавший в поездке в качестве помощника режиссера, сразу остро возненавидел американскую театральную атмосферу, а с мнениями его В. И. всегда считался.

Я чувствовал, какою тяжестью легло на Качалова его «возвращенство». Мне и в голову не приходило его осуждать, и мы оба избегали этого касаться. Однажды, поздно ночью, он прочел мне чеховский рассказ «Студент», в котором семинарист ночью, в страстную пятницу, рассказывает у костра двум крестьянским вдовам-огородницам об отречении апостола Петра. «...Он в третий раз отрекся. И после этого тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько, горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...» Василий Иванович закрыл книгу и отошел к окну. Он долго глядел на ночную улицу Нью Йорка. Вспыхивало и гасло надоедливое зарево световой рекламы. Не помню, чтобы когда-нибудь со сцены я был так взволнован Качаловым.

Позднее он писал мне из Германии:

«...Мало мы всё-таки с тобой говорим. Может, этого и не нужно. Может быть, это даже хорошо, что какой-то большой запас невыговоренного остается в душе. Но только бы не явилось у тебя такого чувства, что я как-то замыкаюсь от тебя, или так внутренно холодею и опустошаюсь, так растекаюсь по плоскости жизни, — что теряю самую способность человеческого интимного общения. Не думай этого. И, знаешь, меня не смущает, что ты, относящийся, по-моему, слишком строго к людям, и во мне наверное многим шокируешься, — это не смущает меня и от тебя не отдаляет. Я знаю, что в конце концов ты меня прощаешь и принимаешь меня всего за самую давность наших отношений...»

Первая гастрольная поездка по Америке закончилась в мае 1923 года, вторая предполагалась в конце того же года. Качалов уехал отдыхать в Германию. 22-го июля он писал:

«...Здесь горы, простые хорошие горы, без швейцарской красивости и чудесности, сплошь покрытые сосновыми и еловыми лесами, и зеленые поля. Воздух замечательный, тишина, безлюдье. Наша деревушка Ширке расползлась по горе, и накаких людей не видно, кроме редких туристов да соседей по отелю. Конечно, за табль-дотом видишь публику, но вышел в лес, отошел от отеля — и никого, ни души. Хорошо. Вот беда, что мало времени для отдыха. Уже сюда в нашу глушь, то и дело, доходят разные вести, тревожащие

и нарушающие мой покой. На днях получил от Кости[7] письмо, — нечто вроде дарственной грамоты или завещания: передает мне в полное и беспредельное владение роль Штокмана и убеждает меня играть ее, соблазняя между прочим и тем, что Штокман явится хорошим вкладом в московский репертуар, — когда вернемся. А как ты думаешь об этом? Я боюсь, что для Америки это просто неинтересно, а для Москвы — даже и совсем невозможно. Кому в Москве нужны сейчас ибсеновские проблемы, старомодные и скромные. Но кажется придется согласиться...»

Во второй американской поездке театра я не участвовал. С Качаловым виделся только в начале ее и в конце, в Нью Йорке. Расстались мы, в последний раз, в тесноте и давке отплывающего «Мажестика». В. И. писал с парохода:

«...Итак послезавтра Париж, который мелькнет, как беспокойный и волнительный сон, — и Виши, в котором хотелось бы задержаться подольше. Но, повидимому, и в Виши мне лично больше двух недель пробыть не удастся, потянет Леонидов[8] на халтуру. Если будет Вильна — это будет для меня некоторым утешением, хочется еще раз посмотреть на родные места, поволноваться и погрустить. Я благословляю свою Вильну за всё, что она дала моему детству.

И, стало быть, 10-15 августа — Москва. Стараюсь не думать о ней. Бывало раньше всегда — после расставанья с ней — въезжал — большей частью с Александровского вокзала — по Тверской — с такой радостью и теплом в душе, с таким приятным ощущением уюта, покоя и отдыха. А теперь. Стараюсь не думать. Да трудновато без родного дома жить, грустно и холодно...»

А у Агапитовой мы читаем: «Качалова с семьей устроили очень уютно в верхнем этаже флигеля во дворе Художественного театра: три крохотных комнатки и кухня...». Театральный критик А. Р. Кугель так описывает это жилище: «...во дворе театра из дворницкой ему переделали квартиру. В этой дворницкой, занесенной снегом и напоминающей мещанский домишко на окраине уездного города, с нелепой сонеткой, с крылечком о трех ступенях, с обившейся клеенкой на рассохшихся дверях, с низким входом, так что надо нагнуться, переступая порог...» Входившие в театр с актерского подъезда хорошо помнят эту избушку на курьих ножках, примостившуюся к сараям на пустынном дворе бывшего дома Лиа-

---

[7]) К. С. Станиславский.

[8] Леонидов, — не артист Художественного Театра, а адвокат, импрессарио заграничных гастролей театра.

новых. В этих трех крохотных комнатках Качалов до 1928 года жил, сам шестой, с пятью членами своего семейства. Вот уж именно, как сказано на стр. 581: «...Где еще, в какой другой стране представители науки, литературы, искусства окружены такой огромной любовью и вниманием всего трудового народа?»

Так, по официальному заказу, искажает и подкрашивает действительность советское издание. Чтобы составить себе хоть сколько-нибудь правильное представление о том, что стало с Качаловым за железным занавесом, надо читать эту книгу между строк, или улавливать промахи и недосмотры советских редакторов. Вот, например, из списка ролей, сыгранных Качаловым с 1900 по 1948 г. мы видим, что за семнадцать лет до октябрьской революции он сыграл 44 роли, а за двадцать шесть лет после возвращения — всего лишь десять. Зато разросся его эстрадный репертуар, в котором, кроме неизбежных взяток режиму, он был хозяином. В конце книги приведен концертный репертуар Качалова, и в нем мы находим всё, что Качалов любил: Пушкина, Тютчева, Блока. Среди рассказов Чехова названы два, которые едва ли могли прийтись по вкусу советским властям: упомянутый мной выше «Студент» и «Святою ночью», в котором молодой монах-паромщик рассказывает спутнику о своем покойном друге, монахе, имевшем дар слагать акафисты. Василий Иванович, сын виленского протоиерея Иоанна Шверубовича, о котором он хранил нежную память и от которого, быть может, унаследовал одаренность, особенно любил этот рассказ, потому что, как и сам Чехов, он любил поэтическую красоту церковного языка: «...Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь у заутрени: «О, любезного! о, сладчайшего твоего гласа!»... В этом списке значится и речь Цицерона In Catilinam и Exegi monumentum Горация, которые Качалов исполнял в их подлинной латыни, и даже Гомер — по-гречески. А на странице 609 мы находим другой недосмотр советского редактора: «8-го декабря, когда МХАТ принимал Красное Знамя от Наркомата Морского Флота, Качалов в Кремлевской больнице думал о неустойчивости своего здоровья: «Конечно, скука есть скука. А совсем не какая-нибудь «в сердце-растрава» или «сердца вдовство» и прочее такое... Сейчас слушал передачу концерта из зала Чайковского. Среди *жуткой халтуры* (курсив мой, А. К.) заслушивался и заволновался Гиацинтовой[9] в

[9] С. В. Гиацинтова, артистка М. Х. Т.

«Белых ночах», — такая свежесть и мастерство». Вот она, и «жуткая халтура», дитя голодных лет. А ведь это — уже в 1940 году.

Одной из самых привлекательных черт характера Качалова была его способность искренно и глубоко восторгаться проявлениями таланта. В отделе книги, посвященном воспоминаниям, Нина Николаевна Литовцева пишет: «Во время спектакля «Фауста», в котором он впервые увидел Мефистофеля-Шаляпина, я обернулась к нему и с изумлением увидела его глаза, полные слез. На мой вопрос, что с ним, он сконфуженно и растерянно ответил: «Не могу видеть его ног!» (Шаляпин в этой роли двигался какой-то особой «звериной» поступью, слегка кривя ноги). И совершенно так же реагировал он на Шаляпина в князе Галицком (в «Игоре») во время его удалой и наглой сцены во втором акте. Тут на мое изумление он ответил, точно извиняясь: «Уж очень талантливо!»... Страницы воспоминаний Н. Н. Литовцевой принадлежат к лучшему, написанному о Качалове. В них запечатлены те интимные черты его характера, в которых всего яснее выразился его «особый талант — человеческий».

В последний раз услышал я голос Качалова в июне 1943 года на Аляске, на рыбном промысле в бухте Бристоль Бэй. Мы сидели с другом моим Н. В. Кочергиным в его конторе и о чем-то разговаривали, пропуская мимо ушей монотонные донесения радио, метеорологические, административные, о движении судов, о береговой страже. Внезапно тут же, в комнате, раздалась звонкая русская речь, два голоса, мужской и женский. Включилась Москва, да какая! Сретенка, Мещанская, Замоскворечье! Иван Михайлович Москвин и Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина читали чеховскую «Канитель». Не плохо прочли, «выше всей похвалы», как сказал бы наш друг Рябов. Но в чтении Москвина была какая-то новая и неприятная громогласность, звончее всяких труб, что-то от балаганов на Девичьем поле. Потом он прочел «Лошадиную фамилию», тоже хорошо, но с тем же нажимом, как будто в рупор. Он кончил, и вдруг вздохнула страдивариевская виолончель... «...Тоска по труде, о, Боже мой, как она мне понятна!.. Родился я в Петербурге, холодном и праздном...», говорил поручик Тузенбах. Звук был всё тот же, как и сорок лет тому назад, качаловский, бархатный, без усилия глубокий и полный, и всё так же без усилия разросся в кресчендо: «Пришло время, на-

двигается на нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка...»

Передача была наредкость ясная. Я слушал, и воображение рисовало его в роли Тузенбаха, в памяти вставал его старательно некрасивый грим, глаза за очками в стальной оправе, неловко сшитый военный сюртук, мягкие жесты его удивительных пальцев... И серый занавес с чайкой, и Москва, и наши ночные беседы, и Блок, и Чехов...

«...О, любезного! о, сладчайшего твоего гласа!»

А. К-ий

НОЧЬ

Ночь поздняя черным черна,
По стеклам в ночь ручьи стекают,
Деревья в проруби окна
Как руки длинные мелькают.
В саду потоп. Бурлит вода,
Цветы всплывают вверх корнями,
Дрожащий ветер иногда
В дом пробирается тенями.
Входите запросто, мой друг, —
Как встарь со мною помолчите,
О криво стоптанный каблук
Потухшей трубкой постучите.
Послушных слов не находя,
Взъерошьте волосы густые, —
И шум дождя, и шум дождя
Заменит нам слова пустые.
Давайте слушать дальний гром
И плеск, и лепет, и журчанье, —
Так распадается наш дом,
И словно плачет на прощанье.

Вл. Корвин-Пиотровский

МОНАХИНЯ МАРИЯ

К десятилетию со дня кончины[1]

ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА

Впервые я увидала мать Марию, когда ее еще звали Елизаветой Юрьевной и когда она была деятельным членом Русского Студенческого Христианского Движения (она была одним из его секретарей). Встретились мы не в «Движении», где я не бывала, а в религиозно-философском кружке под председательством Н. А. Бердяева. Просуществовал этот кружок года четыре. Собирались мы то у Федотовых, то у Фондаминских, то у нас. Доклады обычно посвящались «социальному христианству». Эти вопросы обсуждались тогда в эмиграции довольно горячо. Рассуждения на эти темы были назначением нашего кружка и Е. Ю. была его просвещенным и желанным членом.

Внешне Е. Ю. напоминала нашу курсистку-революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, прическе и бытовым стеснительным условиям: виды видавшее темное платье, самодельная шапочка-тюбитейка, кое-как приглаженные волосы, пенсне на черном шнурочке, неизменная папироса... Е. Ю. казалась такой русской, такой, до улыбки, русской! Можо было только удивляться, как она сумела сохранить в Париже, в центре моды и всякой внешней эстетической вычурности, всем нам знакомый облик русской эмансипированной женщины. И лицо у нее было тоже совсем русское: круглое, румяное, с необыкновенно живыми «смеющимися» глазами под темными круглыми бровями и с широкой улыбкой, но улыбкой не наивно-добродушной, а с той русской хитринкой, с той умной насмешливостью, которая отлично знает относительную ценность слов, людей и вещей.

---

[1] Мать Мария, в миру Е. Ю. Скобцова, урожденная Пиленко, погибла в лагере Равенсбрук 31 марта 1945 г.

Первые наши встречи были простым внешним знакомством. Разговорилась я с Е. Ю. случайно и по ничтожному поводу. Я заинтересовалась ее сложными рукодельными работами: она приносила с собой свои художественные вышивания, продолжая работать во время заседания. Разговорившись с нею, я узнала, что такая спешность работы вынужденная. И тут как-то быстро и легко мы «познакомились».

— И с заработком и с помещением нам сейчас трудно, — откровенно сказала она, — нас трое: моя мать, дочь и я, а муж с сыном живут вне Парижа, за городом. В комнате у нас и сыро и тесно. Хорошо еще, что живем не так далеко от Сергиевского Подворья, где я люблю бывать на церковных службах, но работать в таких условиях нелегко. Вот вам нравится эта вышивка[2], а я только что сдала один заказ — вот была работа! Но я справилась, вышивала в поездах днем, когда ездила в командировки от нашего «Движения», а ночью, когда в вагонах темновато — вязала.

Этот случайный разговор с Е. Ю. о вышивках и командировках заинтересовал меня. В одну из ближайших встреч мы вновь разговорились. Тогда же я заметила свойство Е. Ю. — приятную откровенность, ту, которая обнаруживает склонность к быстрому сближению с людьми, делает общение легким и простым. Так просто и откровенно в тот раз Е. Ю. рассказала мне следующее:

— Командировки «Движения» я очень люблю. Мне случается ездить в разные концы Франции, и эти поездки знакомят меня с жизнью эмиграции. Какие бедственные положения я открыла! В Париже мы об этом мало знаем. Для «Студенческого Христианского Движения» и вообще для социальной христианской работы всюду и везде беспредельные возможности. Нужда во всем вопиющая: в просвещении, в нравственной поддержке, в юридической защите, в материальной помощи. В какие трущобы приходилось мне попадать! С какими горестями встречаться!..

— Как же вы вашу работу организуете? — спросила я. — Ну вот, вы приехали куда-нибудь, как приступаете к делу?

— По приезде прежде всего надо разыскать русский центр. Иногда это церковь, иногда клуб, кантина, а то и просто лавочка. И тут начинается импровизация. Надо войти в контакт с соотечественниками, обсудить с ними вопрос о помещении для лекции, надо оповестить о докладе. Случалось

---

[2] Е. Ю. вышивала шелками, гладью, епитрахиль.

мне самой всё устраивать, даже писать и расклеивать афиши. Иногда с первой же встречи ясно: религиозные вопросы у них на первом месте, а бывало и наоборот, — лучше их не касаться, а посвятить вечер русской литературе или общественным вопросам. Как справляться со всякого рода неожиданностями, это дается опытом. Бывали случаи и совсем невероятные, когда приступать к людям с докладами и лекциями и думать было нечего. Тогда я из командированного лектора неожиданно превращалась... в духовника. С первого же знакомства завязывались откровенные беседы об эмигрантской жизни или о прошлом, и мои собеседники, признав, вероятно, во мне подходящего слушателя, старались найти потом свободную минуту как бы поговорить со мною наедине: около двери образовывалась очередь, как в исповедальню: людям хотелось высказаться, поведать о каком-нибудь страшном горе, которое годами лежит на сердце, или об угрызениях совести, которые душат... В таких трущобах о вере в Бога, о Христе, о Церкви говорить бесполезно, тут нужда не в религиозной проповеди, а в самом простом — в сочувствии. Так было в Марселе, в поселках, где живут портовые рабочие. Я с трудом разыскала русские бараки. Поселок место жуткое, меня предупреждали, что отваживаться туда одной, да еще не зная как пройти, не безопасно. Население его разношерстное: негры, арабы... и вообще интернациональный пришлый люд; русский барак оказался такой же неблагоустроенный, как все: грязно, убого, смрадно, неприбрано... койки — блоховники. Но встретили меня здесь радушно. Быстро познакомились, разговорились — и началась беседа: на перебой все рассказывали о «каторжной» работе в порту, об эмигрантских мытарствах... а потом, понемногу, начались и личные конфиденции наедине. Впечатление тяжелое: измученные люди, ожесточенные, озлобленные, огрубевшие, были и совсем опустившиеся. И всё же по отношению ко мне ими было проявлено столько благодарности, теплоты, заботы... Не везде меня встречали приветливо, бывали встречи и «в штыки». Так было в Пиренейских шахтах. Я никогда не бывала в этом районе и не воображала, что меня там ожидает. Отыскала я там русские бараки, добралась до кантины. Вхожу. Сидят несколько человек. Объясняю, откуда и для чего приехала. Молчание. Смотрят исподлобья, мрачно, недружелюбно, и молчат. И вдруг злобный голос: «Вы бы лучше нам пол вымыли, да всю грязь прибрали, чем доклады нам читать...» — А что же, говорю я, охотно вымою вам пол. Где у вас ведро, щетка, тряп-

ка? Скинула с себя пальто, засучила рукава. С этого мое «Христианское Движение» там и началось. Полы мыть я умею, грязи не боюсь. Работала я усердно, да только всё платье водой окатила. А они сидят, смотрят... Потом вдруг — и так неожиданно! — тот самый человек, который так злобно обратился ко мне, снимает с себя кожаную куртку и дает мне: «наденьте... вы ведь вся вымокли». И тут лёд стал таять. Когда я кончила, посадили они меня за стол, принесли обед и завязался разговор. О тяжелой рабочей доле я знаю немало, но о такой, как здесь, в шахтах, я недостаточно была осведомлена. Беспросветно... И уныние у них в душах безысходное — — та мера его, когда веры ни во что и ни в кого уже нет и надежды не осталось. Как могла, как умела говорила с ними, обещала сообщить о них в Париже, похлопотать, чтобы им из ада выбраться. К вечеру я должна была их покинуть. А днем вот какой случай приключился.

Я спешила на вокзал справиться о поездах, за углом нагоняет меня один из моих собеседников. Пошли вместе. «Знаете, вдруг говорит он, я нынче утром решил бесповоротно: сегодня покончу с собой... Ваш приезд помешал, но это только временно. Жить так, как живем — абсурд, я испробовал всё, чтобы с судьбой примириться, — не могу...» Я набросилась на него со всей силой убеждения, на которую только в ту минуту была способна. Было ясно, оставлять его в этом состоянии нельзя. — «Где вы живете?, спросила я, идемте к вам». А когда мы пришли, я сказала решительно: «Сегодня же вы уедете со мной в Тулузу, там есть семья, мои друзья, у них и поселитесь, а позже видно будет, как вам устроиться. Где ваши вещи?» Он пытался что-то возражать, но я уже собирала и увязывала его пожитки. Вечером мы уехали. Я понимала, что из трагического положения ему самому не выйти. И я оказалась права (но удостоверилась в этом позже). Тогда же увезла его в Тулузу и, как больного ребенка, сдала на руки семье С. Эта семья замечательная, пожалуй, единственная подлинная христианская семья, которую я за всю эмиграцию встретила. Трудящиеся люди малого достатка, но большой любви. Их дом — прибежище для всей русской Тулузы. Двери открыты каждому, кто одинок, беспомощен, беззащитен или безутешен. Человек попадал к ним — как в Царство Небесное, столько в этой семье доброты, тепла, радостного самопожертвования и терпеливого сочувствия всякому горю или нужде. Всегда там кого-то утешают, отогревают, отмаливают... Живут в тесноте, питаются чем Бог послал, делясь по-

следним, но в доме веет духом подлинного братолюбия. Здесь на первое время мой питомец и поселился. С. взяли его судьбу в свои руки.

— А что ж с ним сталось? Вы потеряли его из виду? — спросила я.

— Знаю, что понемногу с ним всё обошлось благополучно, но личных отношений с ним я не поддерживала. Это мое правило — не надо, чтобы моя деятельность соскальзывала в «дружбы»...

Все эти рассказы Е. Ю. меня очень интересовали — и не столько факты, сколько их объяснение. Тут была не одна опытность общественного деятеля, способного быстро осмотреться и благоразумно поступить, но и большая внутренняя сила, которая движет человеком независимо от опытности. И я не ошиблась. Как-то раз — и опять случайно — я заговорила с Е. Ю. на эту тему.

— Я не анализирую своих отношений к людям, сказала она, но одно сознаю ясно: мне свойственно чувство жалости. Иногда оно овладевает мной с такою силой, что я не нахожу покоя. Не только горе, нужда или беда какая-нибудь вызывают его, но случается мне иногда встречать людей как будто вполне благополучных, но которые почему-то вызывают во мне это же жгучее, мучительное чувство. Вот, например, Х. (она назвала известного пастыря-богослова), когда я смотрю на него, я иногда чувствую прилив такой нестерпимой жалости к нему, что вынуждена уйти из комнаты, чтобы овладеть собой... Когда людей жалко, тогда всё готова сделать для них, ничего нет тяжелого, потому что всё облегчение тебе же самой: чувство жалости такая мука! Оно ищет исхода в попечении, заботе, в служении тому, кого жалеешь...

Е. Ю. не добавила «и в самопожертвовании», вероятно не добавила потому, что не любила громких слов, а между тем упомянуть надо было: вольная жертва собою есть высшее и полное преодоление жалости.

В этот период нашего знакомства я не только внимательно присматривалась к Е. Ю., но и прислушивалась к тем рассказам о ее прошлой жизни, которые до меня доходили. Юность... увлечение литературой, поэзией... первые шаги на литературном поприще, литературные знакомства. Брак, ребенок — дочь, названная изысканным именем Гаяны (Гаиании). Поэзия перевивается с увлечением политической работой. Участие в партии эс-эров. Революция... Е. Ю. развивает бурную политическую деятельность на юге России. Второй брак... де-

ти... эмиграция. Всё ярко, стихийно, бурно, полно движения и разнообразных интересов. И всё задолго и предусмотрительно приуготовляло судьбу той Е. Ю., которую я знала в начале эмиграции и которая скоро должна была преобразиться в монахиню мать Марию.

МАТЬ МАРИЯ

Пострижение Елизаветы Юрьевны в монашество не вызвало в эмигрантском Париже сенсации — только некоторое удивление, недоумение. Правда, были толки и — развлечение болтунов — кривотолки, но скоро всё улеглось, и Е. Ю. легко стали именовать матерью Марией, а Елизавету Юрьевну легко и естественно совсем позабыли.

Лица строгого уставного типа поначалу любопытствовали, почему Е. Ю. митрополит Евлогий постриг прямо в мантию, минуя рясофор. Навели справки и дознались, ответ получили обстоятельный: жизнь и деятельность Е. Ю. всех последних лет были подлинной школой аскетики и вполне приготовили ее к монашеству; были и бедность и проявление полной нестяжательности, и ревностное исполнение возложенных на нее «Христианским Движением» ответственных поручений в самых тяжких условиях. Обычно духовные руководители намеренно ставят взыскующих монашества в суровые условия, дабы отучить их от изнеженности, довольства, самоугодия, самочиния, — о Е. Ю. позаботилась сама тяжелая эмигрантская доля. Что касается религиозной зрелости Е. Ю. для пострига в мантию, то суждение о ней входит в компетенцию ее духовных руководителей.

Весть о предстоящем постриге Е. Ю., добежавшая до меня через общих знакомых, меня не удивила, а обрадовала. В Е. Ю. я всегда чувствовала «подвижницу», но чувствовала и какую-то несогласованность ее личной жизни с ее религиозно-общественной устремленностью. Ни до пострига, ни в день его я Е. Ю. не видала (что-то помешало мне поехать в Сергиевское Подворье). Я послала ей белой сирени с поздравительной запиской и впоследствии узнала, что мои цветы украсили ее первую келью, — ту комнатку, которую ей на Подворье отвели для первых дней монашеской жизни. Прошло довольно времени, кажется около месяца, прежде чем мы с нею свиделись. Помню хорошо эту встречу.

Широкая, длинная ряса (восклицание м. Марии: «девять

аршин пошло!»), апостольник с завязушками на затылке, чётки в руках вместо папиросы, добродушные, «бабушкины» стальные очки вместо беспокойно взлетающего на переносицу пенсне... Но то же веселое лицо, та же умная улыбка, и по-прежнему разговорчива, бодра и оживленна. Однако, есть что-то иное, новое... гармония спокойной силы в манере себя держать вместо былой несколько суетливой бурности. Явно, она нашла для души своей соразмерную ей форму, и потому казалась гармоничной и устроенной. В это свидание я осведомилась о том, что меня всегда интересует при встречах с «иноческим чином»: когда и почему человек решил принять монашество? М. Мария не отмалчивалась, а со свойственной ей откровенностью, которая однако умеет безошибочно находить свои границы, рассказала мне, как это было.

— Я не знаю, говорила ли я вам о смерти моей второй дочери. Она умерла в эмиграции, в клинике Пастеровского Института. Маленькая... ей было 4 года. Там делали всё, чтобы ее спасти, но девочку спасти не удалось... Похоронили ее на парижском кладбище, но мне и моей семье хотелось перенести ее на другой участок. Перенесение праха обставлено тягостными формальностями. Родственники переживают как бы второе погребение, и я, право, не знаю, которое из них мучительней... Гроб извлекают и вскрывают, останки перекладывают в новый гроб. Так вновь увидала я мою дочку... Тело подняли, переложили, вновь запечатали и понесли. И вот, когда я шла за гробом по кладбищу, в эти минуты со мной это и произошло — мне открылось другое, какое-то особое, широкое-широкое, всеобъемлющее материнство... Я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидала перед собою новую дорогу и новый смысл жизни: — быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите. Остальное уже второстепенно: я говорила с моим духовником, с семьей, потом поехала к митрополиту...

О своих переживаниях во время пострига ничего не сказала, только обмолвилась: «вот католики заимствовали для пострига всю символику таинства бракосочетания: подвенечное платье, флёр д'оранж, вуаль, обручальное кольцо — невеста Христа, Возлюбленного Жениха. У нас, хоть и называют инокиню Христовой невестой, не на этом ударение. Когда я пала ниц, а хор запел «В объятия Отча...» тут в православии не невеста, а блудный сын, вернувшийся к Отцу, всё ему простившему, и начало новой жизни. Нет-нет, это глубже, гораздо

глубже символики бракосочетания и так созвучно нашей русской душе это примирение с Богом, это возвращение к Нему...»

В первые полгода после пострига м. Мария изредка приходила к нам, приходила «просто так», как ходят в гости. По-видимому она была занята только своим монашеским «подвизанием», никакого определенного дела у ней еще не было. Но довольно скоро обнаружилось, что монашество без большого, серьезного и живого дела ее не удовлетворяет: одним молитвенным правилом, подвизанием в добродетелях и в «борениях с помыслами» она несомненно ограничиться не могла.

— Еще немного осмотрюсь и что-нибудь начну. У меня разные планы, — как то раз сказала она. А потом в одну из ближайших встреч:

— У меня замечательный план! И вполне осуществимый... Нужно создать женское общежитие. Я кое-что обдумала... — Затем последовали разные хозяйственные соображения: — на благотворительность я не расчитываю. Чтобы строить крепко, надо строить на самоокупаемости. Общественные субсидии могут быть — и спасибо за них! — но надо вести хозяйство так, чтобы добиться самостоятельности. Потребность в общежитии насущная: трудящиеся женщины разбросаны по всему Парижу, платят втридорога, приходят домой — зачастую ни ужина, ни теплого угла. Одиночество, чувство заброшенности. Я уверена, что проект встретит отклик. Кое с кем я уже говорила.

Откуда у м. Марии была хозяйственная складка, объяснят, вероятно, ее биографы. Впоследствии я не раз подмечала у нее эту врожденную склонность быть «хозяйкой», и всё же эта черта житейской осмотрительности куда-то бесследно исчезла, когда жизнь требовала риска, импровизации. Тогда м. Мария умела бывать и безрассудной. Именно так возникло ее первое женское общежитие. Началось с проекта и пустого кармана. Однако, помню, м. Мария бодро заявила:

— Денег у меня никаких нет. Для начала можно кое-какой сбор сделать, но, знаю, соберу мало, а мне нужно сразу помещение, мебель, посуду и белье. Ничего у меня нет!

Через неделю: — Ищу, но не могу найти помещения...

Недели через три входит м. Мария сияющая:

— Нашла... чудное! Особняк в садике на авеню де Сакс, в тупичке. Дом чистый, ремонта не требует, надо скорей подписывать контракт, а денег у меня нет попрежнему. Ничего...

увидим. Надо уметь ходить по водам. Апостол Петр пошел и не утонул же. По бережку идти, конечно, верней, но можно до назначения не дойти, — рассудительно закончила м. Мария. — Нет, нет надо уметь ходить по водам.

В ближайшие дни это «хождение по водам» и началось. На задаток по найму особняка ушла вся та небольшая сумма, которая оказалась случайно в те дни под рукою, но в назначенный нотариусом для подписания контракта день у м. Марии еще утром денег не было. Последняя надежда на одного доброго человека к 12 часам не оправдалась... и м. Мария помчалась к митрополиту Евлогию.

— Я призналась ему во всем. Он меня жестоко выбранил, потом кряхтя полез в свой бездонно-глубокий карман, вытащил какие-то кредитки и отмусолил мне 5.000 франков. «вот тебе, а там видно будет». Я повалилась ему в ноги, — и полетела к нотариусу. В новом помещении я живу уже три дня. Там еще ничего нет: ни мебели, ни электричества, ни газа...

В тот радостный день м. Мария предложила мне съездить с нею полюбоваться новым домом.

Приятный, опрятный особнячок в тихом садике, в глубине узкой улочки, в двух шагах от широкой, аллейной авеню де Сакс. Рядом с особняком, безмолвный, запертый, как бы застывший в созерцании, небольшой дом — монастырь кларисс. Статуя св. Клары в углублении его стены не то удивленно, не то благожелательно смотрит в сад будущего православного женского общежития. Может быть ему суждено превратиться в монашескую общину? М. Мария водит меня по комнатам: — Здесь спальни, здесь столовая, церковь со входом прямо из сада, а вот здесь я сейчас живу.

Пустая комната, как и весь дом — ни гвоздя. В углу на полу набросаны свалявшиеся одеяла, вместо подушки что-то скатанное валиком. Одно убранство — большая икона Покрова Пресвятой Богородицы. Она стоит за валиком на полу, прислоненная к стене, под ее сенью одна в пустом особняке спит основательница будущего общежития.

Мы уселись на полу на одеялах и продолжали нашу беседу.

— Надо всё оборудовать, всё наладить, — но это что! Главное, вот что меня радует: едва распространился слух об общежитии, уже со всех сторон поступают запросы кандидаток.

После этого памятного дня на некоторое время я потеря-

ла м. Марию из виду. Доходили слухи, что она понемногу устраивается, пожертвовали ей кое-какую обстановку, немного посуды, белья... А потом узнала — общежитие открылось.

Впоследствии я бывала там не раз, навещая одну из пансионерок, мою приятельницу. Помню зеленые комнаты с окнами в густой садик, длинный стол в столовой, уставленный фантастической разнокалиберной посудой, маленькую церковь, где всё было так самодельно-убого, так трогательно-бедно... Случалось мне бывать и на лекциях, которые м. Мария любила устраивать для своих насельниц, приглашая соответствующих лекторов.

О своей новой деятельности м. Мария всегда рассказывала с воодушевлением.

— Основное мое хозяйственное правило — самоокупаемость. Плата за стол и комнаты — весь мой доход, но за эту плату прокормить досыта я не могу, вот я и отправляюсь на «халли»[3], там после окончания рынка скоропортящиеся товары отдают учреждениям для бедных и просто бедным за бесценок, а то и даром. Мне валят что попало: рыбу, кости, капусту, подгнившие фрукты, овощи, иногда в придачу попадает что-нибудь и получше: сало, потроха... Я взваливаю мешок — и на метро. Надо завести тачку и безработного, тогда будет удобней, а то вчера рыба протекла и мне всю спину промочила, — я вся пахну рыбой.

С материальной стороной м. Мария несомненно как-то справлялась, но, повидимому, этого успеха ей было мало, — хотелось духовно объединить пансионерок, помочь разношерстной группе женщин религиозно осмыслить и религиозно устроить их нелегкую трудовую судьбу. Со свойственным м. Марии чувством реальности, которое без иллюзий видит вещи, как они есть, она весьма скоро поняла, что в сторону монашеского идеала направляться с ее пансионерками было бы бесполезно. Были среди них верующие души, встречались благочестивые, но ни потребности, ни склонности к религиозно-подвижнической жизни не замечалось ни у одной. И м. Мария поставила крест на своем заветном (мне казалось) желании и стала искать другого пути.

Вскоре я узнала, что она предложила своим пансионеркам создать объединение трудящихся женщин или «трудниц». Устав был задуман несложный: общие молитвы перед уходом

---

[3] Парижский центральный рынок.

на работу и вечером (церковь уже была открыта), посещение субботних и воскресных церковных служб, совместное говение, создание просветительного кружка, библиотеки, устройство совместных развлечений, взаимопомощь на случай безработицы, болезни и проч. Пансионерки живо на проект откликнулись и в общежитии, как будто, зародилась новая жизнь. Общежитием трудницы дорожили и дух семейности, который там веял, ценили; если некоторые возражения были, то они касались кое-каких непорядков второстепенного значения. Эти мелкие конфликты были неизбежны при такой начальнице, как м. Мария. Ничего «своего» у нее уже не было и иметь «свое» она не желала; именно то, что у нее нет ничего, даже своей комнаты, радовало ее. «Я устроилась внизу, возле кочегарки, там неплохо, удобно за отоплением присматривать и спать тепло...» Неудивительно, что м. Мария образцовой начальницей дамского общежития не сделалась, ее путь лежал где-то вне всякой «буржуазной» домовитости. И поэтому, рядом с общежитием начинает возникать что-то совсем особое: в домике на авеню де Сакс нет-нет да и появляются безработные. За мелкие услуги на «халлях», по дому и саду кое-кого начинают подкармливать на кухне общежития. Эта «меньшая братия», повидимому, всё более и более стала интересовать м. Марию, и не только она одна, но и вообще всякая беспризорность, вопиющая нужда, безвыходное положение. Когда людям некуда идти и некому их защитить, — м. Мария устремлялась им на помощь. Надо уладить недоразумение с паспортом, — она, не щадя сил, хлопочет в соответствующих инстанциях. Нужно помочь безработному, она стучится во все двери. Стоило ей узнать про какую-то нервнобольную, которой может угрожать сумасшедший дом, она ввязывается в сложную историю, привозит больную в общежитие и матерински возится с несчастной женщиной, ужасая трудниц вынужденным соседством с нервно-больным человеком...

Постепенно о м. Марии узнают те, кому она может быть нужна, как последнее прибежище. Помню м. Мария как-то раз рассказала мне, смеясь и радуясь своему рассказу, что она уже делается известной на автомобильных стоянках. Приехал один безработный в Париж (высланный из Бельгии) и не знает, куда ему деваться; слышит русскую речь на вокзальной площади: — русские шоферы. Разговорился с ними, один и говорит: «делать нечего, придется тебя к м. Марии везти, есть у нас такая, она тебя как-нибудь обдумает...»

В своей трудной работе м. Мария была одинока, помощницей ее была только ее старушка-мать С. Б. Пиленко. Позже приезд из России монахини м. Евдокии с сестрой и матерью окрылил м. Марию надеждой, что у нее будут сотрудницы.

В последний год общежития на авеню де Сакс я немного теряю м. Марию из виду. Изредка читаю ее статьи в «Пути», всегда живые, на социальные темы, ее стихи в периодических изданиях, звучные, тяжеловатые, полные силы и какого-то особого внутреннего пламенения. Изредка слышу отзывы о ней, разнообразные по форме, но, увы, в большинстве банально-отрицательные: «м. Мария... — да какая же это монахиня? Доклады читает, дебаты любит, политику... Ни устава монашеского не блюдет, ни уклада. Неблагообразна, неблагочинна — один соблазн! Сидит нога на ногу, а то и на диване с ногами. Жарко — она апостольник на затылок. Нет-нет, уж ты либо монахиня, либо снимай клобук и рясу...» Так раздраженно говорили обычно дамы почтенные, благочестивые, до церкви усердные, ревностные охранительницы монашеских традиций. Явно, их идеала монахиня м. Мария не воплощала: не по-женски умна, дерзновенна, независима, беспокойна, всей своей стáтью революционна и не без вызова всякому порядку или чину. Такого рода отзывы сопровождали м. Марию в течение всего ее монашества, что не мешало ей иметь верных друзей и горячих приверженцев. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (Лук. 6, 26). Вот это «горе» м. Марии не коснулось, все хорошо о ней не говорили. Но, вероятно, все эти ропоты-шопоты, насмешки, колкие словечки казались ей выражением таких несложных требований по сравнению с теми, которые она сама к себе предъявляла.

Общежитие на авеню де Сакс просуществовало недолго, кажется, года три. И вот, м. Мария переезжает в особняк 15-го парижского аррондисмана. Кончается один период ее деятельности — период женского общежития с неудачной попыткой сплотить пансионерок в религиозную коммуну «трудниц». И начинается новый, с первыми шагами на пути к созданию той «спасательной станции», того «Ноева ковчега», которого так не хватало эмиграции.

МАТЬ

Новый дом на 77, рю де Лурмель — запущенный особняк, фасадом прямо на улицу и на улицу неприглядную: заводские гаражи, невзрачные лавки, заборы, рабочие гостиницы, би-

стро. Улица грязная, шумная, с кривыми тротуарами и разбитой мостовой. Как всё непохоже на чопорную авеню де Сакс, на особняк, спрятанный в кудрявой зелени палисадника! Зато новое помещение весьма удобно. В глубине — прилегающая к дому просторная галлерея, самой судьбою как-бы предназначенная для будущей «столовки» и тут же под деревом, неким чудом затерявшимся среди каменных стен, — гараж. М. Мария сейчас же использовала его, устроив там церковь, посвященную ее любимому празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. В устройство храма м. Мария вложила все свои художественно-декоративные, живописные и рукодельные способности. Роспись стен и стекол придали гаражу вид терема, а вышитые гладью пано — история царя Давида — оживили стены оригинальным разнообразием фигур, хотя и вызвали укоризну некоторых ригористов...

— Смотрите, смотрите, — с веселым торжеством говорила м. Мария, показывая свою работу, — вон Саул, а вот тут Давид с гуслями, там Авессолом, а вот, бедная Вирсавия после купанья расчесывает волосы...

С этим новым периодом ее работы связано раскрытие всех дарований м. Марии, ее духовное созревание. Знаменуется оно не только переездом в новое помещение, но и трагическим событием, которое, вероятно, бесповоротно обусловило ее путь: вскоре по приезде на рю Лурмель м. Мария потеряла свою дочь, юную, жизнерадостную, бурно-живую, одаренную, бесконечно дорогую ей Гаяну. Потеряла неожиданно. Молодая девушка вышла замуж и уехала с мужем в Москву, где вскоре же заболела тифом и умерла. Те, кому случилось видеть в те дни м. Марию, не могли не почувствовать, что ее горе той меры и силы, когда оно кладет на всю последующую жизнь неизгладимый след.

Я была на парастасе по Гаяне; в тот вечер в Покровской церкви собрались все друзья, почитатели и знакомые м. Марии. Меня поразила тихая сила, с которой она переносила свое горе: ни бурных слез, ни рыданий, ни того бесслёзного оцепенения, когда душа словно в обмороке от ужаса безутешности. Войдя в храм, прошла вперед, пала ниц и встала с колен лишь после «Вечной памяти»; потом принимала выражения соболезнования от своих друзей, отвечая на расспросы. Что переживала ее душа в те минуты, в те дни, — это ее тайна, о ней, быть может, знали только ее близкие, но к ней прикоснуться она дала всем, когда некоторое время спустя появились

в печати стихи посвященные смерти дочери. Белоснежно-нежные стихи, проникнутые трепетом материнской любви и глубокой печали...

После смерти Гаяны м. Мария еще ревностней отдается своей работе. Горе не удержало ее, а наоборот, неудержимо повлекло к осуществлению своего призвания. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что именно после тех дней, незаметно и естественно, как в жизни возникает и развивается всё живое, начинает появляться в ее судьбе и жизни всё полней, всё ярче то «широкое-широкое материнство», которое ей открылось на кладбище. Внешне эта стадия ее духовного роста отмечена мелким, но характерным знаком: ее окружение — друзья и родные, а потом, случалось, даже чужие, которые знали ее или имели с нею дело, — начинают именовать ее не «мать Мария», а просто «Мать». «Надо Мать попросить...» «надо Матери сказать...» «Так Мать распорядилась...» «Мать обещала...» «Мать сказала...» Это наименование всё чаще и чаще раздается в стенах общежития и в разговорах об основательнице. «Мария» куда-то исчезает, преходящее стало постепенно вытесняться типичным, а данный ей великий дар материнской любви, который все в ней, даже бессознательно, чувствуют, столь же бессознательно стал запечатлеваться соответствующим наименованием.

Теперь под кровом общежития живут самые разнообразные пансионеры. Это уже не женское общежитие, с которым были связаны когда-то религиозно-просветительные планы, теперь это убежище для скромных тружеников. Живут одинокие — молодежь, дряхлые старушки, живут и семейные с детьми. Мать сдает комнаты за минимальную плату, в столовке питает за гроши. В доме просторно, но пыльновато, грязновато, убого, невзрачно, но всё искупает теплое чувство укрытости, упрятанности, приятной скученности в спасительном «Ноевом ковчеге», которому не страшны волны грозной житейской стихии с ужасом просроченной квартирной платы, безденежья или уныния безработицы; тут можно переждать, передохнуть, как-то временно отсидеться, пока не станешь на ноги.

Как Мать справлялась со своим новым общежитием?

— Я веду хозяйство попрежнему по принципу самоокупаемости, а когда не хватает, приклянчиваю у общественных организаций, — говорит Мать.

Кажется, «не хватает» довольно часто: жильцы платят с перебоями, случаются у них «крахи» и «катастрофы», прихо-

дится допускать рассрочки; словом, финансовая сторона — источник неопределенностей и зыбкого бюджета. Но общежитие держится, оно имеет уже свою положительную репутацию; Покровская церковь посещается усердно; лекции и собрания, которые Мать иногда устраивает, привлекают слушателей, «столовка» ширится; понемногу, еще робко, начинает заглядывать на гостеприимный двор окружная французская беднота.

В этот «лурмелевский» период деятельность Матери развивается по разным направлениям. Так нормально растет здоровое, сильное растение, дающее всё новые и новые побеги. За общежитием на рю Лурмель последовала организация общежития в Нуази-ле-Гран, общежития на 43, рю Франсуа Жерар, курсов для псаломщиков, миссионерских курсов; м. Мария объединила группу единомышленников и создала «Православное Дело» — миссионерскую организацию для работы в приходах на окраинах Парижа. Находила время и для литературной работы, которая чередовалась с участием в религиозно-просветительных кружках и съездах молодежи, с посещением домов для сумасшедших в разных углах Франции с целью произвести учет и регистрацию душевно-больных русских. Не оставляла ручного труда и домашнего хозяйства: вышивание гладью икон и облачений, стряпня на кухне, мытье лестниц и уборных, малярные работы, топка печей... Случалось и вновь ездить на «халли». Ее энергия была невероятна. Не было, кажется, ничего, что могло бы ее заставить беспомощно сложить руки. Но особо важное, быть может самое для ее души интимно-дорогое, это была попечительная возня с «меньшей братией»: безработные, беззащитные, бесприютные — все эти «малые сии», о которых она с таким воодушевлением рассказывала когда-то в первые наши встречи. Мне и тогда казалось и теперь кажется, что среди «младшей братии» Мать только и чувствовала себя вполне и до конца сама собою, т. е., любила ощущать в себе ту спасающую любовь-жалость-заступу, для которой нет препятствий парализующих волю. Влечение Матери ко всякого рода отверженности и обойденности, эта характерная черта русских юродивых, отвечала, повидимому, своеобразному складу ее души.

— Ах, люблю я наших юродивых! — как-то раз с восхищением сказала она. — У них святость совсем особая, ни на чью не похожая. Что-то знали они про тайну человеческой души и шли своей дорожкой. Вот Василий Блаженный... это мой

любимый святой! В нашей Покровской церкви есть его икона, и мы всегда торжественно празднуем его день. После праздника Покрова это следующее наше большое храмовое торжество.

Во время лурмелевского периода м. Мария иногда заходила к нам, иногда мы встречались в ее общежитии. Помню тот вечер, когда она пришла к нам и рассказывала о своих мытарствах по сумасшедшим домам. Сколько забытых русских отыскала она в провинциальных убежищах для умалишенных! Сколько полуздоровых, которые давно бы вышли на свободу, если бы было куда и к кому уехать! Сколько безвестных драм...

Кроме смерти дочери, еще одно испытание постигло Мать в те годы. Поначалу казалось, что на своем пути она не одна, что у нее есть единодушные спутницы. После м. Евдокии, монахини приехавшей из России, появились в общежитии еще две новопостриженные монахини, обе души близкие. Новые побеги обещали новую надежду — общежитие может стать колыбелью женской обители, центром женского эмигрантского подвижничества, которое — кто знает? — разовьется, процветет и раскинет свои ветви на всю эмигрантскую диаспору. Но случилось иначе. Между Матерью и другими монахинями возникли разногласия, углубились до разлада и привели к расколу. Стайка снялась и, покинув основательницу, осела на ферме под Меленом, где положила основание самостоятельной маленькой общине. Как это могло произойти? Что нарушило гармонию единодушия? Поводом послужил тот самый идеал строго-уставного монашества, который заставлял эмигрантских дам морщиться, говоря о м. Марии. Тем, кто лелеял идеал классического монашества, запечатленный в творениях аскетической литературы и в строгих монашеских общежительных уставах, с Матерью было, конечно, не по пути. Чем старше и духовно опытней она становилась, тем всё менее «монашествовала». Посетители Покровской церкви подмечали, что она бывает на церковных службах нерегулярно и посещает небрежно: появится на несколько минут, помолится — и опять нет ее. Уйдет хлопотать по дому или уедет в город. Не ускользало от внимательного глаза и то, что к монашескому уставу она относилась вольно, «правилом» не вдохновлялась и всё более и более уходила в свое большое трудное хозяйство, в интересы своих подопечных, а краткие досуги отдавала лекциям и общественным собраниям, где обсуждались излюбленные социальные и политические проблемы, где касались богословских тем или просто посвящали вечера литературе и поэзии.

Общий стиль и дух общежития на рю Лурмель создался не монастырский, а напоминал скорей уклад какой-нибудь общежительной вольной артели. Жильцы-пансионеры чувствовали себя свободно, полноправно. Никаких строгих правил, придирчивых распорядков. И может быть, в этой вольной волюшке и была притягательная сила общежития, его любили, к нему привыкали, как к родному гнезду. Достаточно было хоть изредка навещать «Лурмель», чтобы почувствовать, что душа его — мать Мария и без нее он превратится в обыкновенный, плохой и унылый пансион.

Помню как-то раз летом, в африкански-знойный июльский день, случилось мне зайти в общежитие. Мать я застала на кухне у раскаленной плиты, в пару, в чаду, над огромным котлом с кипящими щами, в окружении ведер, кадок и разбросанных мокрых тряпок. Простоволосая, растрепанная, босая с подторкнутой юбкой, она более походила на бабу-стряпку какой-нибудь артели, нежели на монахиню, и уж конечно не на журналистку и поэтессу.

— Как вы только выдерживаете эту геену огненную? — изумилась я.

— Уж скоро полгода, как я из кухни не выхожу. С кухаркой пошли недоразумения, я и решила: возьмусь за дело сама. Вот на всю братию и стряпаю...

— Вам должно быть это очень тяжело?

— Холод я выношу легко, ну а жару... А это мой верный помощник, — перевела она разговор, указав на сидевшего в уголке человека, усердно чистившего картошку. — Он тихий... — шопотом пояснила Мать, и я поняла, что это один из тех счастливчиков, которых ей удалось вызволить из какого-нибудь дома для сумасшедших.

Опрощение, совлечение с себя всех видимых оказательств монашеской избранности, уклон к вольному творческому служению Христу и Церкви, хотя бы оно не только не совпадало, но подчас противоречило некоторым установленным нормам и традициям, — этот дух свободы, чуть окрашенный заветами юродства, проявлялся в ней для стороннего глаза всё заметней. Как-то раз встретились мы с ней в Монруже, на маленьком собрании у о. В. и, возвращаясь домой, шли вместе до Порт д'Орлеан. Разговор зашел о сложности житейских требований, о том, что человек раб многих условностей, множества мелочей.

— Вот и монашеский костюм... всё бы так с себя и сняла!

— воскликнула мать Мария, — надеть бы рогожку с дыркой для головы, подпоясаться веревкой — хорошо! Говорят монашеское одеяние проще мирского, совсем не проще, из этой «простоты» какой утонченный шик умудряются извлекать! Какую изысканную грацию из этих складок, из всех этих падающих линий! Капризным модницам под стать... Вот например Х. (она назвала одного архимандрита) — тонкий эстет. Меня с моим внешним видом он просто не выносит, а я нарочно — прости Господи! — как мне выходить к нему, — когда он заезжает к нам по какому-нибудь делу — апостольник долой, всклокочу волосы, в руках капуста, да так из кухни к нему и выхожу и монашеским поклоном приветствую... Ну что же, сердится и презирает...

Странно, что изо всех моих встреч с «монашеским чином», мать Мария была, кажется, единственной монахиней, с которой беседа не распространялась на вопросы мистики, аскетики или на церковно-монашеские темы. Это отнюдь не означало, что ее духовная жизнь была не монашеская. Я всегда чувствовала в ней подлинную инокиню — душу навсегда и всецело отданную Богу. И о монашеском призвании она говорила поощрительно, даже порой восторженно, горячо приветствуя желание людей вступать на этот путь.

— Только надо скорей решаться, — сказала она однажды по поводу одного зова, — есть души, которые томятся-таятся годами, готовятся, прикидывают, колеблются, а решения принять не могут. Так можно любое доброе влечение в себе загубить. Душа «пересидит» свой срок, как пирог в печке. Ничего потом путного из нее не выйдет. Надо, чтобы всё было во-время.

Монашество не было для Матери самоцелью, тем классическим исканием спасения души, о котором так много говорится в руководствах к иноческой жизни. Не тихая обитель за высокими стенами, не строгая красота монашеского уставного быта, а «мир сей» привлекал мать Марию: спасать погибающих в этом мире братьев силою любви той «меры безмерной», когда человек не только отдает всё «свое», но и самого себя, уже не думая, не заботясь о личном спасении — вот идеал, к которому мать Мария, повидимому, стремилась[4]. В общепринятом смысле идеал этот вряд ли даже можно назвать «монаше-

[4] М. Мария запечатлела это свое стремление в мистерии «Анна». См. «Мать Мария» изд. Oreste Zeluck, Paris, стр. 41-78.

ским», он просто — святость, ни с каким образом существования не связанная. Практически традиционный «монашеский чин» во внешнем облике только облегчал м. Марии служение в миру.

— Благодаря тому, что я в монашеском одеянии, многое мне доступно и просто, — как-то раз сказала она, — в мериях, на вокзалах, в больницах, комиссариатах, на почте, вообще в правительственных учреждениях всюду монахине легче справиться с трудностями, добраться до начальства, обойти волокиту... Конечно, всё это второстепенно, а главное, — служение людям: благотворительное, миссионерское, культурно-просветительное; такое служение требует очень напряженной духовно-религиозной жизни, если хочешь не только людям «помогать», но и на них религиозно-нравственно влиять. Монашество должно быть по отношению к жизни чувствительным и открытым, оно не может не отзываться на общественные и политические события.

Нет ничего удивительного, что как только вспыхнула война с Германией, м. Мария всем сердцем отдалась всевозможным делам и волнующе переживала все военные события. В первую же зиму при Покровской церкви она организовала кантину, административно связанную с мерией 15-го аррондисмана, и на «Лурмель» устремились неимущие соотечественники и французская квартальная беднота.

Летом 1941 г. началась война с Россией. Когда случалось видеть м. Марию в те дни и слышать ее взволнованную речь, было явно, что вся душа ее уже не здесь, а на родине. Словно опять по-молодому, с буйной силой проснулось, годами подавляемое иностранной действительностью, пламенное патриотическое чувство. Повидимому, оно жило в ней всегда, только она не давала ему воли. Вспоминается мне фраза, сказанная ею в одну из первых встреч нашего знакомства:

— Европа?.. По правде говоря, она просто для меня не существует. Я живу только Россией. Только она мне нужна и интересна. И еще православие... остальное всё чужое и чуждое, необходимость, вынужденное приспособление к условиям жизни.

Воспоминания столь личные, как мои, не исключают вольности «казаний», и вот, мне казалось, будь м. Мария не здесь, а там, в России, в те страшные дни, когда решалась судьба русского народа, она, сняв клобук и рясу, ушла бы в партизанщину...

Газеты, радио, карты военных действий, утыканные флажками, то утешительные, то тревожные вести, ко всему м. Мария относилась горячо, страстно. В часы английских радиопередач, пользуясь мощным аппаратом, который дали ей на хранение друзья, покинувшие Париж, она каждый вечер ловила запрещенные вести, забывая о проходящих под окнами германских патрулях. Русские победы приводили ее в восхищение. Помню, в день св. Серафима, в престольный праздник храма на рю Лекурб, я увидала ее на дворе в толпе, расходившейся после службы. Сияющая, она встретила меня громким, на весь двор, ликующим восклицанием: «Наши то ...наши! уже Днепр перешли... Ну, теперь кончено! Мы победили...»

Она жила победами и ждала, не могла дождаться триумфального финала. Вся душа ее была со своим народом, там ли, здесь ли. Материнскому ее сердцу, больше, чем когда либо, было кого теперь любить-жалеть, угревать-кормить, спасать-прятать. Об этой ее деятельности в годы оккупации знают те, кто были во Франции в германских лагерях и вне лагерей ее питомцами. Скажу одно: в те дни слух о Матери, о ее самоотверженной дерзновенности уже облетел эмиграцию, восхищая многих. Ходило по рукам и ее стихотворение «Звезда Давида», посвященное гонимому еврейскому народу; его заучивали, прятали, переписывали и передавали дальше. При таких обстоятельствах арест Матери, увы, ошеломляющей неожиданностью не был...

За несколько дней до этого события серьезно заболел один из жильцов общежития — сын нашего старого доброго друга. Врач, пользовавший больного, хотел отправить его в госпиталь. Больной приуныл: тяжко болеть одному среди чужих людей. Мать пожалела его: «санитарную карету отослать обратно, сами больного выходим». По поводу болезни м. Мария теперь ежедневно беседовала с нами по телефону, не раз заключая разговор обещанием зайти к нам. И через несколько дней: «я непременно скоро приду, мне надо с вами погововорить...» Потом два-три дня молчания, — и весть: Мать арестована[5]...

Далее слухи о Компьене, о Дранси, и что увезли в Германию. Еще позже обрывки не то вестей, не то слухов, что

---

[5] Арестован был и ее сын Юрий, 17-летний юноша; впоследствии он погиб в одном из германских лагерей.

она в лагере Равенсбрук, что от нее пришла открытка, что она получает посылки.

В этот период мне приснился сон о м. Марии. Я не придала ему значения, он вспомнился позднее, когда после окончания войны в освобожденную Францию стали прибывать спасенные из германского ада. Тогда казалось, что Мать вот-вот вернется тоже, что благодаря своей огромной духовной силе, она всё сумела вытерпеть, всё преодолеть и дождаться желанной свободы. Но среди лета пришла совсем другая весть, вернее донесся слух, смутный, еще непроверенный, что Мать погибла. Погибла с группой несчастных женщин в лагере Равенсбрук в газовой камере. Позже этот слух подтвердили кое-кто из уцелевших пленниц[6]. Вот эти слухи-вести и напомнили мне забытый сон.

Церковь... иконостас... Мать на солее — прикладывается к образам, как принято перед Причастием. На ней светлый дорожный костюм, а на голове повойником повязан голубой шелковый платочек. Внешний облик двойственный: по одежде дама, а головной убор крестьянки. Видимо, она принарядилась, надела всё новое, чистое, цветное. Так у нас когда-то старались принарядиться к Причастию. И вся она мне кажется приуготовленной к таинству: спокойная, степенная, умиротворенная. Ни свойственной ей взволнованости, ни порывистой динамики, — тишина и покой гармонии.....

Вот последний, прощальный след в моей душе о встречах с матерью Марией.

Т. Манухина

---

[6] О пребывании м. Марии в Равенсбруке подробно рассказала И. Н. Вебстер. См. стр. 159-165 уже указанной книги «Мать Мария». О м. Марии упоминает в книге-дневнике и Simone Saint Clair, «Ravensbruck. L'enfer des femmes». Ed. Tallandier.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДАХАУ

1

Конец нашего хождения по мукам приближался. Всякий разговор между заключенными кончался одной и той же фразой: «девятый вал... если переживем его — переживем Дахау». Но чем ближе этот конец был, тем опаснее становилось положение в лагере.

Семь тысяч мертвых, т. е. свыше 12% общего числа, было только в декабре 1944 и январе 1945 года. В феврале ежедневно умирало от 120 до 150 наших товарищей. «Морэкспресс» — повозка, запряженная десятью русскими пленными,[1] не успевала перевозить трупы из мертвецкой в лагерной больнице, и из так называемых «мертвых» блоков, где люди были заражены сыпным тифом все до одного и вымирали как мухи. Трупы — одна кожа да кости — складывались вдоль боковой улицы, в восточной части лагеря. Складывались штабелями, как дрова, и ждали очереди на «Морэкспресс». Крематорий не поспевал их сжигать. Тогда трупы вывозились в поле между городом Дахау и лагерем и сваливались в громадную яму — братскую могилу.[2]

Плохим признаком были часто приходившие в Дахау транспорты новых заключенных. Нацисты очищали различные полицейские и каторжные тюрьмы, отправляя «опасных» к нам в лагерь. Концлагери, находившиеся в местностях, которым угрожало вторжение союзников, также эвакуировались в Дахау. Всё это создавало опасение, что нацисты хотят свой пер-

---

[1] Русские обычно назначались на самые трудные рабочие места. Возить «на русских» тяжести, мертвецов, мусор — доставляло СС-овцам особое удовольствие.

[2] Когда части 45-ой американской дивизии 29 апреля 1945 года освободили Дахау, возле больницы было найдено 900 трупов, на подъездной железной дороге в вагонах и возле нее — 2.000, а перед самым крематорием около 3.500. Эти трупы состояли только из бледнозеленой кожи и костей. Они превратились в подлинные мумии.

вый и самый старый лагерь превратить в лагерь общей ликвидации. Помещения в бараках, которые когда-то назывались «спальнями» и были рассчитаны максимум на 113 человек, превратились в «свалочные места», где было по 400 и даже 500 человек. О какой-нибудь гигиене — не могло быть и речи. Даже обычная, раз в неделю, перемена нижнего белья была отменена. Люди ходили грязные, вшивые, что помогало расширению эпидемии сыпного и голодного тифа. В эти дни рядом со смертью, косившей направо и налево, появился и грозный призрак повального голода. СС-овцы ограбили лагерь, отправив все запасы продовольствия в «глубокий тыл» — в баварские Альпы, где они хотели оказать «последнее сопротивление». Восьмушка хлеба, т. е. около 190 грамм плохо выпеченной смеси черной муки, конского боба и деревянных опилок, в полдень — литр воды, без мяса и жиров, называвшийся супом, вечером — тонкий ломтик самой отвратительной «так сказать колбасы» или маргарина — стало дневным рационом заключенного в Дахау. И при таком пайке нужно было еще работать, а многим очень тяжело работать, по 12-14 часов в сутки.

Таково было положение в нашем лагере, когда командование, — главным образом «лагерфюреры» — повели с нами «войну нервов». Началось это еще в феврале, когда в одну темную, холодную, зимнюю ночь произошло событие, потрясшее лагерь. Среди ночи весь лагерь неожиданно ярко осветили сразу семью прожекторами со сторожевых башен и всеми электрическими фонарями на Лагерштрассе и на бетонных столбах забора из колючей проволоки, которые зажигались только в особых случаях. Пробужденный необычным светом, я увидел через окно моего барака № 2, что войска СС вошли во внутренний лагерь, чего никогда не бывало, и что они длинной цепью постовых с пулеметами оцепили и «Аппельплац», и все бараки в районе, так называемого, «Арбайтс-лагеря». Затем отдельные отряды СС ворвались в бараки, зажгли освещение и начали будить заключенных пинками и криками: «Aufstehen! Antreten! Los! Los!»

Звериные крики, удары прикладами, лязг оружия перепугали спавших заключенных. Дрожа от холода и страха, люди в панике вскакивали, давили друг друга, хватали чужую одежду, совали в карманы, на всякий случай, что попало. Было приказано выйти из бараков и построиться на своей «блок-штрассе». В строю сначала стояла гробовая тишина, потом начали

шопотом обмениваться догадками: — «может быть массовый расстрел», «нет, это — эвакуация, поход в смерть»... На Лагерштрассе стояла кучка офицеров СС — наших властителей. Они тоже шептались. О чем?.. Мы понимали только одно — от исхода этих разговоров зависит наша жизнь... Когда мы увидели, что СС-овцы производят в бараках массовый обыск, что-то ища, перерывая тюфяки, выбрасывая вещи из шкафов, личных пакетов, — наступило успокоение. После приказа вернуться в бараки, мы застали в комнатах картину Мамаева побоища — все вещи в неописуемом беспорядке; потребовалось много труда и времени, чтобы всё разобрать и вернуть на свое место.

После я узнал, что эта необычная ночная тревога была результатом провокационных слухов, что будто бы в лагерь кем-то внесено тайком оружие, что заключенные вооружаются и готовятся защищать свою жизнь. Слухи эти пошли от заключенного Верника, который был «капо» нашей полиции во внутреннем лагере, т. е. шефом сети тайных агентов в нашей среде, зорко следивших за нашими настроениями и разговорами. Верник был «их» человек на все 100%. Бывший «штурмовик» из знаменитого отряда «Хорст Вессель», посаженный к нам за колючую проволоку за какую-то кражу и потому носивший на груди «зеленый» треугольник уголовного, он должен был верной службой своим господам искупить содеянный грех. Этими господами были — «гауптштурмфюрер» (СС-овский чин, равный капитану) Рупперт, прославившийся ранее многими зверствами в концлагере Люблин, первый «лагерфюрер», т. е. фактический комендант лагеря, и кроме него «обершарфюрер» (что-то вроде фельдфебеля) Бах, великий инквизитор Дахау, шеф Гестапо в этом лагере.[3] Своей тайной агентуре ими дано было задание: составить список активистов, т. е. всех способных играть какую-то руководящую роль в лагере, и разными провокациями довести атмосферу в лагере до взрыва, который позволил бы СС-овцам осуществить желанную массовую ликвидацию заключенных. До нас дошло, что Верник хвалился Менсарьяну,[4] что он с помощью

[3] Баху удалось скрываться в течение десяти лет, сейчас он появился в городе Ларе (Баден), где служит в финансовом ведомстве.

[4] Русский армянин Менсарьян был «лагерэльтесте» в 1944 г.; он был ранее, повидимому, двойным агентом — немецким и английским; американцы расстреляли его и Верника сразу же после освобождения Дахау, в апреле 1945 г.

500 агентов держит лагерь в своих руках и в любой момент может осуществить план «великой провокации». Нужно было быть сугубо осторожными. Мы следили за каждым шагом Верника и Менсарьяна, чтобы предупредить подобную провокацию. Так вот — их агенты донесли «великому инквизитору», что в лагере появилось оружие. Теоретически это было вполне возможно, т. к. многие заключенные работали в СС-овской ружейной мастерской, а кроме того по разгрузке вагонов с «военной добычей» — разным краденым имуществом из Северной Италии, среди которого попадалось и оружие. Но фактически СС-овцы оружия в наших бараках не нашли. Только у одного русского мальчика обнаружили старинный маленький пистолет, который не стрелял. Позднее мне говорили, что будто бы у поляков в их блоке № 16 было оружие, зарытое в землю и припасенное на случай, если произойдет столкновение между ними и большевиками, т. е. заключенными из Советского Союза. После гибели восстания Бор-Комаровского в Варшаве, отношения между этими двумя национальными группами были натянуты до такой степени, что до открытого столкновения оставался только один шаг. Мы это знали и понимали, что это как раз то, чего хотят Рупперт и Бах, а потому всячески старались смирить страсти. Но одно наблюдение во время ночного обыска было нам особенно важно и ценно. СС-овцам, по всем признакам, было приказано обращаться с нами возможно грубее и быть готовыми к тому, что, может быть, придется устроить «кровавую баню». Но мы заметили, что грубость многих из них была только показной, для отвода глаз начальства, некоторые из них подмигивали заключенным, давая понять, что, мол, не бойтесь. А это указывало на то, что даже в СС-войсках, главной опоре режима, образовалась трещина — сознание, что война уже проиграна...

В одно прекрасное мартовское утро над нашим внутренним лагерем появилось необычное густое облако черного дыма. Это не был знакомый дым из трубы крематория, ибо в нем совсем не чувствовался специфический, дурманящий запах горелого человеческого мяса. Что такое? Мы не верили глазам. СС-овцы сжигают свои тайные архивы! На западной стороне горели огромные костры политического отделения. СС-овцы выносили из барака горы документов и бросали в огонь, разгребая вилами остатки бумаги, чтобы догорели до конца. Мы знали, что о каждом из нас у них имелось отдельное «дело»,

что в нем лежала характеристика каждого и решение за подписью Гиммлера, а чаще всего Гайдриха (начальника Главного управления государственной безопасности), о сроке заключения. Для многих из нас этот срок был — до конца жизни, в лучшем случае — до конца войны. Но точно мы этого никогда не узнаем. Документы исчезли в дыму костров так же, как в течение пяти лет войны сотни тысяч заключенных Дахау исчезли в огне и дыму крематория. И сейчас его малая и великая печь тоже горели во всю. Здесь лагерная комендатура сжигала свой архив, а также вынесенную из нашего внутреннего лагеря картотеку того отделения, которое занималось организацией рабочих команд, снабжая фабрики и предприятия СС-овцев самой дешевой силой. Но потеряв голову, СС-овцы в суматохе забыли об еще одной картотеке в «Шрайбштубе» (канцелярии внутреннего лагеря), ведшей учет всех поступавших и уходивших из лагеря заключенных. Только эта картотека, которую вели заключенные, осталась после освобождения в том виде, в каком велась с 1939 года. В ней было сравнительно немного общих данных о каждом заключенном, но она помогла установить их конечную судьбу: в какой лагерь переведен, с каким транспортом смерти ушел, когда умер в лагере или ликвидирован в бараке «Х» (что помечалось буквами «Н. Н.»). С помощью этой картотеки мы могли установить после освобождения, что с 1939 и по 1945 год через Дахау прошло свыше 220.000, а в живых осталось только 33.000 человек...

Во внутреннем лагере в воздухе тоже летали клочья горевшей бумаги. Из трубы барака № 5, бывшего в составе больницы, поднимался густой черный дым. И здесь СС-овцы спешили скрыть следы своих преступлений. Для нас этот барак был самой большой тайной.[5] Иногда оттуда доносились

[5] В бараке № 5 производились «научные эксперименты» над заключенными. Целые группы людей искусственным образом заражались малярией, чтобы потом испробовать на них новые методы лечения этой болезни. На других делались опыты с целью установить, какую низкую температуру может выдержать человек, когда его погрузят в ледяную воду. Делались также и опыты лечения флегмоны: на ногах операционными ножами делались углубления, в которые вкладывались особые бацилы. От стона и крика несчастных жертв люди в соседних бараках не могли спать. С этими злодеяниями связаны имена «экспериментаторов» — профессора Шилинга и доктора Рашера.

крики и стоны умиравших товарищей. Мы знали только одно — в этом бараке находилась тайная испытательная станция немецких воздушных сил, где на живых людях производились разные смертоносные опыты. СС-овцы сожгли, конечно, и архив больницы, чтобы никто не узнал, сколько здесь умерло «залеченных» людей.

Дым СС-овских костров отравлял наше сознание. Что будет с нами? Что будет с лагерем? В ответ заключенные только уныло качали головами, зная что СС-овцы и нацисты готовы на всё и, решившись на самоубийство, нас не пощадят. В лагере стали циркулировать самые фантастические «пароли» (так назывались вздорные или провокационные слухи). Они довели нервность и беспокойство до последней точки. Так долго продолжаться не может! Конец должен придти. Но какой? Все надежды возлагались на скорое занятие лагеря освободителями. Ежедневно с величайшим волнением следили мы за движением фронта на Западе и Востоке. Это были радостные вести. Русские идут на Берлин с востока и юга... В Берлине слышится их артиллерийская канонада... Американцы прорвались до чешской границы... Союзники перерезали Германию пополам... Седьмая американская армия вошла в Нюрнберг. Всё это мы знали, конечно, не из немецких газет и сводок, которые всегда запаздывали с своими констатациями давно совершившегося. Действовала наша «прислушная» тайная служба. Во всех рабочих командах, где заключенные имели малейший доступ к радиоаппаратам, регулярно подслушивались сообщения с «другой стороны», потом приносившиеся в лагерь и с молниеносной быстротой распространявшиеся между заключенными. На Плантаже, в одной из лабораторий, где наши товарищи — чехи и поляки — занимались селекцией разных трав и растений, был установлен самодельный приемник. Однако, на этих наших линиях информации по условиям обстановки бывали частые перебои. Поэтому из разных мастерских заключенные стали приносить в лагерь отдельные части и другой нужный матерьял и вскоре наши люди смонтировали радиоприемник в самом внутреннем лагере. Он был дан в пользование и на хранение верному человеку — югославу Звонку Трупцу, который был тогда «капо» команды дезинфекции лагеря. Звонко его скрыл в котле рядом с мертвецкой больницы, куда СС-овцы понятно избегали приходить. Но было важно тайну этой «прислушной станции» уберечь и от мно-

гих внутренних, тайных шпионов Верника — Баха. И мы ее уберегли до конца. На мою долю выпала обязанность поддерживать «информационную» службу по двум линиям. Каждый день, после вечернего сбора и проверки заключенных на Аппельплаце я являлся в мертвецкую к моему товарищу, доктору Блахе, впоследствии председателю чехословацкой национальной группы, и тут же у каменного стола, на котором секцировались трупы умерших, я быстро выслушивал от него только одни заголовки последних известий, которые ему приносили чехи с Плантажа. Затем, для дополнения и проверки, я являлся к Звонку Трупцу. Разговор наш происходил у дезинфекционного котла среди вшивого, зараженного одеяния и белья, только что снятого с умерших товарищей. Полученные новости или, как они для конспирации назывались, — «жуковские пилюли» я должен был передать дальше. Каждый вечер или рано утром, перед выходом на работу, я должен был встретить нескольких друзей — Юстина Ажмана, словенца из югославского блока, Леона Княжелуцкого, бывшего когда-то адъютантом Пилсудского, из польского блока, и католического священника Франца Вайнмана из блока для духовных лиц. Как они меня ждали!.. Мои новости были настолько точны, что «жуковские пилюли», увы, стали знаменитыми и о них начали говорить в лагере. Но эта моя работа была пляской на острие ножа. В любой момент меня мог заметить и выдать кто-нибудь из агентов Верника — и тогда бы я наверно поплатился жизнью.

Вести «с другой стороны» были радостными и обнадеживающими. Дух свободы всё сильнее пробивался сквозь колючую проволоку, за которой мы досиживали последние дни. Однако, одна неожиданная, секретная весть «с этой стороны», дошедшая до нас случайно и известная только узкому кругу лиц, не оставляла у нас никакого сомнения в том, что над всеми нами нависла смертельная опасность. На Плантаже была вилла обергруппенфюрера Поля, одного из высших СС-овских генералов, генерального инспектора всех концлагерей Германии. Здесь он раньше часто проводил дни отдыха, наслаждаясь плодами рабского труда. Здесь он сейчас скрывался, бежав от бомбардировок Берлина. Несколько автомобилей с походными кроватями, радиостанцией и неприкосновенными запасами всего необходимого стояли наготове для его дальнейшего бегства. Канцелярия Поля разместилась в здании лаборатории

Плантажа. Заключенные — Майор, Валашек и Брлица, работавшие в этой лаборатории, нашли в одной корзине для бумаг клочья каких-то разорванных документов. Когда они их слепили, то увидели, что это копии двух чрезвычайно важных документов. Один был радиограммой Гиммлера, которую принял штурмбаннфюрер Гроттман для Поля; в ней говорилось, что заключенные освобожденного лагеря Бухенвальд напали на город Ваймар и отмстили немцам за свои страдания; поэтому Гиммлер приказывал: — «ни один заключенный Дахау не смеет попасть живым в руки неприятеля», «немедленно начать общую эвакуацию лагеря и по дороге осуществить ликвидацию». Другой документ — доклад оберштурмбаннфюрера Кугеля «о поездке во Флоссенбург» свидетельствовал, что и другие лагеря на юге Германии получили тождественный приказ Гиммлера. И не только получили, но и осуществили. Концлагерь Флоссенбург был уже эвакуирован и ликвидирован. В докладе писалось: — «В придорожных оврагах по обеим сторонам пути в Штраубинг лежало множество трупов заключенных. Я приказал сельским общинам в этом крае закопать мертвых — убрать следы...» Позднее мы узнали, что такая же печальная участь постигла наших товарищей и в ближайшем к нам лагере Ландсберг, в котором СС-овцы зажгли бараки с убитыми и неубитыми заключенными... Больше объяснений нам не нужно было — то, что вчера случилось с Флоссенбургом и Ландсбергом, завтра произойдет и в Дахау. Судьба 33.000 заключенных висела на волоске, «была запечатана», — как говорили югославы. Но только очень узкий круг лиц знал об этой страшной опасности.

Никому ни слова об этом — получили мы приказ от наших подпольных руководителей. Лагерь должен остаться спокойным. Вместо слов, нужны действия. Наши люди действовали. Путем одной хитрой интриги, которую удалось пустить в самых верхах, т. е. в направлении лагерфюрера Рупперта, нашим немецким товарищам удалось устранить Менсарьяна и Верника. Старостой внутреннего лагеря был назначен немецкий коммунист Оскар Мюллер, который стоял в связи с нашими подпольщиками. Это позволило приступить к осуществлению давнишнего плана «последнего действия» — плана о подлинном самоуправлении лагеря. В блоке № 17 состоялось первое общее заседание подпольщиков, которое вынесло ряд важных решений. Прежде всего был образован международ-

ный комитет заключенных лагеря Дахау, в который вошли представители всех национальностей. Во главе комитета стал Патрик Олери, канадский пилот, командос и, по всей вероятности, офицер британского Интэллидженс Сервис. При содействии членов нового комитета во всех блоках были образованы подпольные группы с целью обеспечения внутренней безопасности в лагере, для наблюдения за действиями провокаторов (если бы они попытались вызвать беспорядки и превратить их в «кровавую баню»), а также и для подготовки, в случае крайней необходимости, отпора насильникам.

II

Наступило 26-е апреля. Земля тряслась от близости фронта. Американцы теперь уже шли на юго-восток, приближаясь всё ближе к Мюнхену, а значит и к Дахау. Сердца заключенных наполнялись радостью, но она тотчас же уступала место тревоге, при мысли о том, что утопающий может потянуть нас за собой в пропасть. В 5.30 утра была обычная проверка численного состава лагеря. Нас особенно интересовало пошлют ли нас на работу вне внутреннего лагеря. Пока что по лагерю был передан приказ не выходить и не строиться на левой части Аппельплаца, которая нам служила в часы отдыха футбольной площадкой. На ней лежали вповалку заключенные, пригнанные из лагеря Кауферинг. Многие из них были уже мертвы. Мы видели, как действует СС-овская машина уничтожения и что значит «эвакуация». Сердце сжималось до острой боли. Вдруг раздалась команда — вернуться в бараки. Волна возбуждения и радости прошла по выстроенным рядам. Но люди еще не успели сдвинуться с места, как завыли сирены. И уже при последних звуках «флигераларма» над лагерем пролетела эскарилья легких бомбардировщиков. Она снизилась так, что казалось, аэропланы своими крыльями заденут верхушки высоких тополей и сосен во внешнем лагере. Машины начали пикировать колонну СС-овских солдат, которые разбежались по окольным улицам и прятались во все дыры. Но лагерь на ногах. Тысячная толпа ликовала и рукоплескала союзникам. А они как будто услыхали эту бурю восторга и еще азартнее начали поливать врага из пулеметов, сыпать мелкие бомбы. Какое было наслаждение видеть и слышать их взрывы! СС-овские часовые на семи башнях вокруг

лагеря бросились к своим пулеметам, навели их на нас, лихорадочно сжимая рукоятки...

Внутренний лагерь слишком открыто выявил свое настроение, забыв, что все мы еще во власти зверя и можем очутиться под перекрестным огнем пулеметов раньше, чем долгожданная свобода придет в лагерь. Да, она близка. СС-овцы указали нам на это. Как гром из ясного неба, внезапно пришел приказ: *эвакуация*, быть готовыми к отходу после полудня... В бараках и на улицах наступило смятение, давка. Неужели же это — последние часы Дахау? Люди собирали пожитки, набивали ранцы и сумки, сворачивали одеяла. Кто поумнее, старались взять с собой как можно меньше вещей, чтобы облегчить себе поход. Другие, наоборот, нагружались так, что не могли сделать десяти шагов по Лагерштрассе. Внутри бараков и на улицах в беспорядке валялся всякий скарб, тряпки, картонки. Лагерь кишел, как встревоженный муравейник. Между бараками и по главной улице двигалась тысячная толпа. В час дня пришел новый приказ — построиться по национальностям на Аппельплац. Перед строем показался Рупперт со своим штабом и начал отдавать приказания голосом бешеной собаки. Вдруг на небе появились четыре союзных истребителя, летя низко над самым лагерем. За ними другая группа. Сирены что-то очень поздно завыли. Серебряные птицы падали как камни, бомбы свистели в воздухе. Обезумевшие СС-овцы скрылись как побитые собаки, хотя во внутренний лагерь не упала ни одна бомба. Крик восторга раздался в лагере. Люди без всякого приказа возвратились обратно в бараки. Возвратились к развалинам былой жизни. Старого Дахау уже больше не было. Перед глазами открывалась небывалая картина гигантского цыганского лагеря. Там и сям горели костры. Топлива было сколько хочешь. Всякий думал — завтра я не буду в Дахау — и в огонь бросали всё, что попадало под руку: табуретки, столы, деревянные сандалии, картонки... А в это время на Аппельплац пришел новый транспорт несчастных из какого-то далекого лагеря. Люди падали в изнеможении на землю и тут же засыпали. Державшиеся еще на ногах просили воды и хлеба. Поистине — великое смятение. Люди садились у костров и не хотели идти в оставленные, грязные, заплеванные бараки. Обсуждали между собой грозные события. Из канцелярии лагерфюрера давались какие-то новые распоряжения. Ночь пронизывали крики. Аппельплац был ярко освещен. Туда приходили

группы заключенных, которых уже переодели в «зебра» — в арестантские одеяния. Это были русские, болгары, евреи. Румыны и немцы были построены по пяти в ряд и ожидали приказа об отходе. Аппельплац оцепили СС-овцы. Значит, эвакуация началась...

Наше подпольное руководство — наш международный комитет — решило не сдаваться и на приказ Рупперта ответить общим саботажем. По всем направлениям, через членов комитета, была дана директива: саботировать раздачу отходящим пайков, не отзываться на приказы о построении в ряды и выходе на Аппельплац, поддерживать всячески хаос и анархию в лагере, переменять буквы, указывающие на национальность, в треугольниках, которые мы носили на левой стороне груди. Саботаж эвакуации начался по всей линии. Поляки из Шрайбштубе передали нам, что Дахау будет эвакуирован в Тироль и что назначение транспортов — Инсбрук. Нужно будет пройти пешком, горными дорогами более 400 километров. Погода благоприятствовала эвакуации. И ни одного больше союзного аэроплана на небе над Дахау и Мюнхеном! Хотя мы слышали отчетливо гул пулеметов, но не знали, что происходит. Первая партия немцев и русских уже перед кухней. Началась выдача продовольственного пайка на дорогу: 500 грамм черного хлеба, 50 гр. сыра и 30 гр. маргарина. И это на несколько дней. Наши люди замедляли раздачу как могли. СС-овцы щедро раздавали пинки и орали что есть мочи. В 8 часов вечера транспорт был готов к отходу. Итальянцы получили приказание готовиться к отходу. За ними пойдут в каком-то порядке другие национальности. Они только ждали приказа Рупперта. Теперь всем стало ясно, что всё кончилось и спасения нет. Верно, американцы уже в Фризинге, но Фризинг в 20 километрах от Дахау. Свобода так близка и так возможна, а мы должны уходить от нее. И куда — в смерть... Десять часов вечера. Семь тысяч заключенных снимаются и в сопровождении вооруженных СС-овцев уходят в неизвестность. Из окна Шрайбштубе я видел, как при слабом свете у главных ворот двигались тени этих скелетов, уходя во мрак![6]

---

[6] По дороге к этому транспорту присоединилось еще 700 наших товарищей из команды, работавшей на заводе шарикоподшипников «Прецификс», затем из лагеря Аллах возле Мюнхена 3.500 заключен-

Наступило 27-е апреля. Утром было относительно спокойно. Потом страшное возбуждение во всем лагере вызвал пронесшийся слух, что будто бы американцы подходят к лагерю с восточной стороны и что они уже на Плантаже. Люди лезли на крыши бараков, всматривались, прислушивались. Увы, слух был преждевременным. После полудня эвакуация продолжалась, хотя всё указывало на то, что она провалилась и не может быть доведена до конца. То почему-то не приходили отряды сопровождения из СС-овцев. То никак нельзя было собрать транспорт, т. к. заключенные тысячами уходили обратно в бараки, меняли одежду, номера и треугольники и скрывались среди заключенных других национальностей.

Наш подпольный международный комитет через своих представителей в блоках дал следующие директивы участникам возможного второго транспорта: использовать первое благоприятное обстоятельство в марше, разоружить стражу и с оружием в руках пробиваться навстречу американцам... Никто из нас в тот момент еще не знал, в какой смертельной опасности находилось Дахау. Только после освобождения было установлено, что мюнхенский гаулейтер Гизелер смертельно боялся, что заключенные Дахау повторят пример Бухенвальда и нападут на Мюнхен, а поэтому приказал расстрелять из пулеметов всех оставшихся в лагере, если бы не хватило времени для полной эвакуации. Когда бывший комендант лагеря, штурмбаннфюрер Вайс воспротивился этому, то Рупперт просто ликвидировал своего шефа. Кровавый Гизелер не унимался — он потребовал, чтобы немецкие самолеты «по ошибке» бомбардировали лагерь. Летчики Люфтваффэ понимали, который уже час — и решительно отказались выполнить приказ сумасшедших. Рупперт придумывал новые способы уничтожения и старался найти исполнителей этих дьявольских планов. В последний момент мы узнали, что Рупперт сменил стражу на башнях вокруг внутреннего лагеря и вместо молодых СС-овцев не немецкого происхождения поставил старых, испытанных палачей СС. Из Шляйсгейма должен был придти

ных и около 3.000 из разных малых лагерей. Транспорт прошел только 60 километров от Дахау, причем из 15.000 в живых осталось только 4.000. Остальные или умерли в пути от голода и изнеможения, или были ликвидированы выстрелом в затылок, а также впрыскиванием какой-то ядовитой жидкости.

батальон СС, специально для кровавой бани в Дахау... Стрельба орудий приближалась, было ясно, что нас может спасти только немедленное освобождение извне. А американцы никак не приходили... Вопрос был в часах, а не в днях. Всякое промедление было тут смерти подобно. Международный комитет поручил заключенному Карлу Римеру, добровольно вызвавшемуся выполнить эту опасную миссию, прорваться к американцам. Ему не только удалось выскользнуть из Дахау, но и пробраться до штаба 45-ой американской дивизии и в точности объяснить ее начальнику критическое положение и смертельную опасность для оставшихся в лагере заключенных. Хотя Дахау не лежал в том направлении, где развивалось наступление американцев, однако, один полк получил приказ прорваться в Дахау, не считаясь с тем, что его фланги не были обеспечены...

...В бараках СС-овцев, которые стояли во внешнем лагере и были отделены от нас колючей проволокой и широким каналом, началась какая-то странная суматоха. Перед бараками лежало разбросанное оружие, обмундирование. СС-овцы метались как угорелые коты, собирали свои сумки и ранцы и готовились к уходу или правильнее — к бегству от возмездия за свои злодеяния. Не легко было их соучастникам, которых оставили еще на страже у главных ворот и у пулеметов на семи башнях вокруг нашего лагеря, смотреть на это бегство. Мы видели, как они всё время нервно ходили в своих будках и больше поглядывали в сторону убегавших соучастников, чем в нашу. Надвинувшаяся гроза ускорила бегство СС-овцев. Черные облака спустились совсем низко, почти до самых крыш бараков. В воздухе ощущалось приближение страшной бури. Сильный порыв ветра открыл хляби небесные — крупные капли дождя начали падать всё чаще и чаще... К вечеру на Аппельплац прибыли жалкие остатки транспорта из лагеря Бухенвальд. Старая картина — одни уходят, другие приходят. Пришедшие рассказывают, что половина их погибла в пути. Всякий отставший получал от СС-овцев пулю в затылок. Кто добрался до Дахау, падал как сноп прямо в грязь. Имевшие мало-мальскую силу ползали на четвереньках возле больницы и ели молодую зеленую траву...

День 28-го апреля... Все устали от долгих волнений и ожиданий. Но у всех всё-таки появился какой-то оптимизм. Прежде всего мы почувствовали, что стали сами себе госпо-

дами. Взять хотя бы для примера то, что люди начали вставать «по-барски», при дневном свете, а не до зари, как обыкновенно. Никто не гнал нас на проверку или на работу... Сирены ревели почти без остановки. Вдруг раздался необычный и очень тревожный сигнал. В лагере хорошо знали все сигналы — он означает, что или спустились парашютисты, или головная колонна танков подошла совсем близко. И то, и другое для нас — спасение. Люди возбуждены, едва дышат, прислушиваются. По лагерю пронесся радостный крик — «танковая разведка», «пришли союзники»... Всех охватило радостное возбуждение. Но через полчаса сирены дали отбой. Значит — надежда пропала. Наступило разочарование, но люди утешали себя — главное, что они уже вблизи, что не будет больше транспортов, опасность эвакуации миновала. Действительно, стоявших на Аппельплац итальянцев послали обратно в барак. Наша «прислушная» служба сообщила, что в Мюнхене вспыхнуло восстание против нацистов и восставшие, завладев на короткое время радиостанцией, успели бросить призыв к всеобщему восстанию... Значит, у нацистов уже земля горит под ногами. Значит, пути в Тироль, которые лежат через Мюнхен, закрыты. Наш оптимизм растет с часа на час. А когда из котлов на кухне запахло гороховым супом — нашему веселью не было конца. Первый раз за многие годы увидели мы в своих мисках настоящую густую похлебку с большим числом зеленых зерен, которые были твердыми, как камень, но и это было для нас невиданным лакомством. «Ну, чего тут думать — говорили люди — значит союзники уж на пороге...».

День прошел без особенных событий, но ночь была настоящей симфонией освобождения. В лагере стояла мертвая тишина. Люди лежали в бараках притаившись. Я уже третью ночь на ногах, сижу на своем месте в Шрайбштубе. Моей задачей было наблюдать за всем, что происходило в главных воротах у Жургауза и передать моим друзьям сигнал о приближающейся опасности или о приходе американцев. Там, впереди колючей проволоки, за высокой стеной внешнего лагеря пыхтят поезда, слышится топот тяжелых солдатских сапог, скрип колес повозок, гул артиллерийской канонады и одиночных американских самолетов... Но во внутреннем лагере — гробовая тишина, как в больнице. Вижу, как главные ворота неожиданно широко открылись... Что это?.. Какие-то тени входят в лагерь. Тут и мужчины и женщины. Некоторые несут на руках грудных детей. Это пришел откуда-то еврей-

ский транспорт, остатки его — последнее явление в последнем акте трагедии Дахау.

Памятный день 29-го апреля. Яркое солнце. На Жургаузе и на всех башнях висели белые полотнища. По лагерю пронеслось — «белые флаги», «белые флаги». Радость неописуемая. Заключенные на Лагерштрассе обнимали и поздравляли друг друга. Но возле этих флагов всё еще стояли часовые СС-овцы, сжимавшие ручки пулеметов... Целый день развевались белые флаги. Целый день тряслись стены бараков, тряслась земля от близости фронта. Но мы так и не могли понять, что значат эти белые флаги — капитуляцию, обман, ловушку?.. Мы ничего не знали, что происходит за стенами лагеря. Мы не знали, что у самого города Дахау, в двух километрах от нас, немецкие войска оказали сопротивление наступавшим американцам, а потом, отходя к Мюнхену, взорвали мосты через речку Ампер, которая огибает и город и лагерь Дахау. Мы не знали и того, что американцы, забив глубоко свой танковый клин в линию расположения немецких войск, старались расширить его так, чтобы как можно дальше отодвинуть фронт от нас, от внутреннего лагеря. Можно себе представить, что произошло бы в лагере, если бы борьба за его освобождение велась в непосредственной близости, у самых ворот... Сколько было бы жертв, если бы снаряды и пули полетели в бараки, в толпы сбитых в них людей. Совершилось великое чудо — незримая рука Всевышнего отодвинула эту опасность от лагеря Дахау. Мы были спасены. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетели к нам... Всё было как во сне...

Но мы ничего этого не знали. С замершим сердцем мы ждали эпилога нашей трагедии. Сколько еще будет длиться наша неизвестность?.. Мы — буквально при последних силах. Нервы не выдерживают. Я сижу прикованный к окну Шрайбштубе, слежу... Ничего нового — кругом слышна прерывающаяся стрельба, а у ворот Жургауза мертво — никакого движения. Стрельба приближается. Одиночные пули свистят в воздухе, щелкают по тополям у высокого здания комендатуры. С правой стороны Жургауза, по дорожке, которая шла вдоль канала, какой-то заключенный тащит нагруженную повозку. Когда он появился перед Жургаузом, раздалось несколько выстрелов — и заключенный упал на землю.[7] Потом я отчет-

[7] Это был заключенный, проведший в лагере пять лет, а погиб он за пять минут до освобождения. Под предлогом, что нужно выключить какие-то машины на фабрике, ему было дозволено утром

ливо увидел отдельные силуэты американских солдат, которые медленно приближались к нам, перебегая прыжками от дерева к дереву, от одного угла здания к другому.

Я посмотрел на часы — было точно 17 часов 15 минут. Вдруг ворота широко открылись и в лагерь въехала невиданная еще в жизни машина — джип. В ней был только один американец, — один-одинёшенек. В шлеме, в каком-то странном комбинезоне оливкового цвета, в высоких желтых шнурованных ботинках, без всякого оружия. Он лихо, по-акробатски выпрыгнул из машины, начал оглядываться по сторонам, и вдруг развел руками, как будто хотел сказать: «Ну, где же вы — я принес вам свободу...» — «Свобода!.. Свобода!.. Свобода!» — пронеслось по всему лагерю, от барака к бараку... Лагерь зашумел, всколыхнулся, поднялся и двинулся вперед — на Аппельплац, к пришедшему освободителю. Сначала это был поток, затем река, а после бушующее море воодушевленных, восторженных людей. Все навалились на заокеанского пришельца, все хотели задавить его в своих объятиях. Целовали ему руки, одежду, висевший на поясе револьвер. Подняли на руки, качали и начали носить по Аппельплацу.

Вероятно, с тех пор, как существует свет, не было такой великой радости у такого множества разнородных людей на таком маленьком пространстве. Какое это необыкновенное чувство, когда вчерашний покойник сегодня превращается в новорожденного. Никакая радость не может сравниться с радостью тех, кто многие годы переносил бесконечные страдания, лишения, опасности, перестал быть личностью, стал нумерованным рабом, но молился, верил, надеялся и ждал этого великого дня... И, наконец, дождался. Нигде и никогда я не видел столько озаренных, одухотворенных, сияющих лиц, горящих глаз, высоко поднятых голов. Кто-то из толпы схватил меня, обнял и потом зарыдал как ребенок. «Христос воскрес!» — сказал мне этот русский незнакомец. «Воистину» — ответил я...

На западной стороне затрещали ружья. Раздались голоса — «СС-овцы с башни убили американского солдата!» Толпа с голыми руками бросилась на колючую проволоку. Кровь лилась из рук. Проволока поддалась и была разорвана. Но подошедшие американские солдаты уже ответили огнем своих

выйти из лагеря и пойти на фабрику. На самом же деле он отправился перевезти в лагерь какой-то припрятанный скарб. За это и поплатился жизнью перед самым приходом американцев.

легких пулеметов на подлый выстрел. Отомстили за себя и за нас. Потом сняли со всех башен оставшихся часовых. С поднятыми над головой руками СС-овцы сошли вниз, лица их были бледны, как полотно. Глухое щелканье автомата — и они падали в траву...[8]

В самом лагере началась новая жизнь... У Жургауза толпился народ. Люди построили пирамиду из живых тел, влезая друг другу на спину, а потом на здание Жургауза. На крыше водружаются заранее приготовленные флаги наций-победительниц. Наши шапки летят в воздух. Кто-то наломал веток тополей и украсил ими главные ворота — триумфальная арка. Появляются новые группы американцев. На этот раз кинооператоры, репортеры. Вот на джипе приехал какой-то молодой американец очень привлекательной наружности. Так и есть — американец женского пола, потому что она прежде всего вынула сумочку, намазала губы губной помадой, посмотрелась в зеркало, а затем спросила у стоявших вблизи бывших заключенных: «сколько вас осталось в живых?» На всех бараках висели флаги. Много флагов. Каждая нация вывесила свой флаг. Вчерашние рабы начали готовиться к новой жизни — создали впервые свое поллинное самоуправление в Дахау, во главе которого стал, недавно еще подпольный, а сейчас всемощный международный комитет заключенных, который вместе с национальными комитетами каждой группы поставил себе целью поддерживать порядок в лагере и помочь скорой эвакуации на родину. Перед ним было много срочных задач: нужно было приостановить эпидемию сыпного тифа, дизенфицировать всех и вся, накормить изголодавшихся, помочь скорейшему выздоровлению тысяч больных, разгрузить лагерь и дать каждому новую постель, одежду, наладить связь с родиной, и т. д. Потекли новые, но томительные и долгие дни ожидания отъезда. Всем хотелось как можно скорее покинуть Дахау...

Наступило первое мая... Дахау отпраздновал этот праздник по-своему. В одном конце служили под открытым небом торжественный «Те деум», а в другом происходил массовый

---

[8] В ночь между 29 и 30 апреля две СС-дивизии, в том числе и дивизия «Викинг», получили приказ вернуться из Мюнхена в Дахау и «очистить» его. Они не дошли трех километров до лагеря. Если бы им удалось снова занять его, никто из заключенных, конечно, не остался бы в живых. Но огонь американской артиллерии и контратака танков заставили СС-дивизии откатиться назад.

митинг с массой красных знамен, плакатов, зажигательных речей. Но все мы стояли — на сей раз добровольно — на Аппельплац, который был свидетелем стольких событий в нашей жизни, где с 1933 года, с первого дня прихода Гитлера к власти, разыгрывалась трагедия Дахау. Стояли мы радостные, озаренные солнцем свободы, верящие в то, что оно никогда больше не зайдет, и что наши идеалы победили. Мог ли кто-либо из нас тогда поверить, что для многих вскоре наступит полоса новых тюрем и лагерей? Только советские русские почувствовали это — и один за другим бежали из лагеря на запад...

Евгений Жуков

**
*

Тех слов, что были сказаны весною,
Весне теперешней не повторить
И никакой ценой не возвратить
Того, что было некогда тобою.
Из прошлого слова не возвращались.
Жизнь учит нас не жить, а умирать,
Чтоб, научившись день за днем терять,
Мы сами как-то, где-то потерялись.
Пусть я живу с холодной кровью рыбьей,
Но то чему я верю каждый день
Отбрасывает отсвет или тень
И потому всецело не погибну.
Погибнуть может только то навеки,
Что не было на свете рождено,
Чему судьбою не было дано
Открыть хоть раз для этой жизни веки.

Анатолий Величковский

РАННИЕ ГОДЫ ЛЕНИНА[1]

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА В ЛЕНИНА

М. А. Ульянова после казни сына возвратилась в Симбирск. Исчезновение Саши, добавляясь к неостывшему горю от смерти Ильи Николаевича, мучительно переживалось семьей Ульяновых. Ни у кого из них и мысли не было, что Саша может принять участие в террористическом заговоре. Слова некоего Ковнатора, что в семье знали о его взглядах и, будто, уже его отец «не мог не знать или не мог не догадываться о взглядах Александра», ни на чем не основаны. Даже сестра Саши — Анна, жившая в Петербурге, постоянно видевшая брата, ровно ничего не знала о его политических настроениях. Крайне тяжелое впечатление произвела смерть брата на Владимира Ульянова. «Он стал суров и молчалив». Верить тому, что о нем говорит его официальная биография, никак нельзя. Она дает понять, что 17-летний Ульянов, якобы уже просвещенный марксизмом, придерживался взгляда, что не террористическая борьба одиночек-революционеров, а только массовое движение пролетариата сокрушит царскую власть. На этом основании она приписывает ему следующие слова при вести об аресте брата и его участии в покушении на царя: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». Вымысел обидный для Ленина. Невозможно допустить, что в дни такого горя Владимир Ульянов не нашел сказать ничего другого, а только, забравшись на марксистские ходули (ему, вдобавок, неизвестные!), осудил за терроризм любимого брата. И о каких-таких «мы» мог тогда говорить гимназист Ульянов? Сей обидный для Владимира вымысел, очевидно, с целью его прославления, первая повидимому пустила в ход его любимая сестра «Маняша». В ее воспоминаниях есть такое место: «Особенно запечатлелось у меня выражение лица Владимира Ильича, когда он сказал: «нет, мы пойдем не тем путем. Не таким путем надо идти». Мария Ильинична родилась в 1878 г. В год

---

[1] См. «Нов. Журн.» кн. 36, 37 и 39.

казни Саши ей не было и девяти лет. Можно ли поверить, что этот ребенок запомнил не только слова, а даже «выражение лица», с каким ее брат изрекал свою политическую сентенцию. Наоборот, весьма отвечают мыслимому душевному состоянию в тот момент Владимира Ульянова дошедшие до нас слова, сказанные им учительнице Кашкадамовой, первой сообщившей Владимиру об участии его брата в заговоре и его аресте: «Значит, Саша не мог поступить иначе, значит, он должен был поступить так».

Владимир еще не знает, как и почему Саша стал на этот путь. Интереса к общественным вопросам он до сих пор не проявлял. Но он как-то сразу пришел к убеждению, что раз брат стал заговорщиком, хотел убить царя, значит, то было необходимо, значит, от такого решения он уклониться не мог. Таковы первые рефлексы. В сознание вступает доселе далекая от него мысль. Даже не мысль. Больше всего бурлит чувство, появившаяся ненависть к царю, ко всем, кто удушил Сашу. В этой резкой душевной встряске смутное начало большого перелома. Однако, в мае и июне 1887 г. углубиться мыслью в то, что произошло, он едва ли может. Мысли его троятся: думы о Саше, мысль о потрясенной горем матери, которой теперь нужно помогать вести разные житейские дела, дума о выпускных экзаменах. В гимназии он всегда был первым. Первым ее он и должен кончить. Это вопрос самолюбия. У него оно огромно. Сдаваться нельзя. У него есть воля. Беря себя в руки, Владимир Ульянов усидчиво готовится к экзаменам, превосходно выдерживает их и 10 июня кончает гимназию первым, получая за отличие золотую медаль.

Казнь Александра Ульянова, сына действительного статского советника, директора народных училищ, была сенсацией в Симбирске. Разговоры о ней взбудоражили город «оцепенелого покоя». Уже тогда, когда Саша был только арестован и М. А. Ульянова, спеша для защиты сына в Петербург, искала попутчиков, чтобы вместе сделать 150 верст до первой станции железной дороги, никто из страха не пожелал ехать с матерью опасного человека. После казни Саши страх возрос. От Ульяновых отшатываются. Быть в сношениях или подозреваться в сношениях с семьей, где оказался террорист, никто не хочет. У Ульяновых и раньше мало кто бывал. Теперь вокруг них пустота.

У некоторых из биографов Ленина есть указание, что начальство гимназии колебалось — можно ли наградить золо-

той медалью брата политического преступника. Не думаем, чтобы такой вопрос был действительно поставлен. А будь это так, тогда для того сурового времени (кажущегося сантиментальным в сравнении с нынешним!) нужно признать большое мужество у консервативного директора гимназии Ф. М. Керенского (отца А. Ф. Керенского), который, не взирая ни на что, дал Владимиру Ульянову блестящую аттестацию для поступления в университет. При Сталине он был бы за это расстрелян или кончил бы жизнь в концентрационном лагере.

Считаясь с созданной около ее семьи атмосферой отчуждения, страха, у многих явной неприязни, мать Ленина чувствовала, что продолжать жить в Симбирске, учить в его школах Ольгу, Дмитрия, Марию будет очень тяжело. Так как Владимир должен был поступить в Казанский университет, М. А. Ульянова решает перебраться в Казань со всей семьей, навсегда покинув Симбирск. Она отправляет младших детей в деревню, а сама остается в Симбирске с Владимиром. Он помогает ей продать дом, часть вещей, а оставшееся уложить и отослать в Казань и в имение Кокушкино. В начале июля Ульянова с сыном уезжают. Прощай Симбирск! Ленин увидит его снова в мае 1889 г., плывя по Волге из Казани в Самару. Во время стоянки парохода он побежит в город бросить взгляд на родные места. Еще раз, и тоже на пароходе, он проедет мимо него весною 1900 г., отправляясь со своей матерью и сестрою из Сызрани по Волге, Каме, Белой до г. Уфы. Там, оканчивая срок высылки, жила его жена — Крупская. Об этом путешествии он через два года будет вспоминать в письме к матери из Лондона: «Как мы великолепно прокатились с тобою и Анютою по Волге весною 1900 года».

Симбирск Ленин не забудет, но в него уже более не заглянет. В 1905 г. брат Ленина — Дмитрий Ильич приехал сюда из Киева занять место санитарного врача в губернском земстве. Что побуждало его искать место в Симбирске — не знаем. Навестить Дмитрия Ильича и посетить могилу мужа в тот же год приедет М. А. Ульянова и ее старшая дочь. Пребывание их всех в Симбирске будет кратковременным и потом, кроме М. И. Ульяновой и Крупской, приезжавших в 1926 г. никто из их семьи в нем не покажется. После смерти Ленина Симбирск в его честь переименован: его имя теперь Ульяновск, а улица Московская, на которой находится дом принадлежавший Ульяновым, называется Ленинской... Чем объяснить, что вопреки укоренившемуся в СССР обычаю давать ста-

рым улицам и городским местам имя какого-нибудь, иногда совсем небольшого, революционера, ни одно место Симбирска не получило названия в честь Александра Ульянова — казненного брата Ленина? Не тем ли, что эпигоны Ленина считали его брата «морально» им чуждым человеком?

Лето 1887 г., проведенное Ульяновым в Казанском имении, было печально. Мысль о казненном Саше всех давила. В Кокушкине всё гораздо острее чем в Симбирске напоминало о нем. С 1883 г. он приезжал из Петербурга в Симбирск лишь на Рождество, тогда как в Кокушкине он жил летом со всеми несколько месяцев. Кроме того все знали, что Саша «особенно любил» Кокушкино и его окрестности, находя «там столько простора для рано пробудившейся в нем склонности к естественным наукам». «В Кокушкине, вспоминает Веретенников, он читал по ночам, ложился спать позднее всех, раньше всех вставал и часто пропадал на целый день, бродя по лесам, полям или на лодке-душегубке пускаясь в далекие странствования». На балконе старого дома, не смотря на доску он играл в шахматы одновременно с тремя партнерами, одним из них часто бывал Владимир. Во флигеле, в биллиардной, будучи прекрасным химиком, он приготовлял составы для эффектных фейерверков. Вспоминали как на берегу реки на высочайшем дереве Саша добрался однажды до гнезда какой-то редкой птицы. Он собирал яйца разных пород птиц и составленная им из них коллекция могла бы оказать честь даже взыскательному зоологическому кабинету. По Кокушкину и его окрестностям он собирал для анализа различные сорта почвы. Привезенную Сашей в Петербург для исследования землю (в ящике) жандармы во время обыска нашли в комнате А. И. Ульяновой. Ей долго пришлось им пояснять что ничего подозрительного в этой земле нет.

До весны 1887 г. Владимир Ульянов никогда не предавался размышлениям о своем брате, он просто его не понимал. Теперь, сбрасывая прежнее равнодушие к общественным и политическим вопросам, он хочет дать себе отчет: почему Саша стал террористом, почему он «не мог поступить иначе и должен был так поступить»? Еще до отъезда в Кокушкино он начал об этом думать. Важное указание на этот счет мы имеем от симбирца Чеботарева, как и Саша, студента Петербургского Университета, только много старше его. Он жил вместе с Александром в одной квартире, но месяца за два до покушения Александр убедил Чеботарева переехать от него на

другую квартиру. Он не хотел — новое доказательство его моральной деликатности, — чтоб сожительство с ним Чеботарева, совершенно непричастного к террористической организации, привело к опасным для последнего последствиям. Выполнение настоятельного совета Саши оказалось Чеботареву очень полезным: хотя 1 марта он был арестован и подвергся допросам, всё же за отсутствием улик был выпущен. В июне Чеботарев из Петербурга приехал в Симбирск и семейство Ульяновых, разумеется, захотело его видеть.

«Наравне с другими членами семьи, а может быть больше других, — сообщал позднее Чеботарев, — Владимир Ульянов расспрашивал меня о последних днях моей совместной жизни с Александром, о допросах меня на предварительном следствии, о верховном суде и в особенности о впечатлении, какое произвел на меня Александр на скамье подсудимых. Обо всем этом он расспрашивал спокойно, даже слишком методично, но видимо не из простого любопытства. Его особенно интересовало революционное настроение брата».

Фраза Чеботарева, что Владимир расспрашивал о своем казненном брате «видимо, не из любопытства» — нелепа. Но другое его замечание, что Владимир вел расспрос «спокойно, даже слишком методично», удивлять не должно. Замкнутость и холодная выдержка Владимира Ульянова были замечены многими, когда умер его отец, а Ленину не было тогда и 16 лет.

Свои расспросы о брате, о том что с ним произошло Владимир продолжал в Кокушкине у сестры Анны. Она была старше его на шесть лет, жила с 1882 г. в Петербурге, вращалась среди университетской молодежи. Нужно заметить, что летом 1887 г. разговоры на политические темы делаются в Кокушкине общими. В них принимают участие и старшие дети, и младшие. От матери они слыхали о ее свиданиях в тюрьме с Сашей и о самом тяжком — последнем. Она говорила им о его речи на суде, отказе просить о помиловании. Ненависть к Александру III, ко всей царской власти, становится общим чувством семьи. Можно сказать что в Кокушкине все дети Ульяновых делаются «республиканцами». Уже на многое Владимир Ульянов стал смотреть под новым углом зрения. Совершающийся перелом сопровождается у него некоторыми переживаниями, которые можно было бы характеризовать как «сожаление» и «раскаяние». В чем раскаяние, о чем сожаление? Для ответа нужно осветить отношения между Александром и

Владимиром Ульяновыми. Они совсем не просты. В официальной биографии Ленина сказано, что он *«очень был дружен»* с братом Александром. По обыкновению, она уклоняется от правды. Дружбы между братьями совсем не было.

«Различие натур обоих братьев, пишет их сестра, выделялось уже с детства и близкими друг другу они *никогда не были*, несмотря на безграничное уважение и подражание Саше со стороны Володи с ранних лет». Приводя эту цитату из статьи А. И. Ульяновой, напомним, что она напечатана в «Пролетарской революции» в 1927 г. т. е. три года спустя после смерти Ленина. Бальзамированные останки его, подобно мощам святого, находились уже в мавзолее на Красной Площади у стен Кремля. Он был окружен созданным государством религиозным культом, не перестающим быть религиозным от того, что выражался в словах марксистской церкви, в процессиях, церемониях и поклонении пролетариата. Ленин был канонизирован как создатель советского государства, как великий вождь и пророк мировой революции, ее «святой». Каноны были утверждены партией, вернее Политбюро, директорией, правившей в СССР до времени пока, уничтожив соперников, не явился новый диктатор — Сталин. Ульянова была дисциплинированным членом партии. Она не смела колебать установленный образ Ленина. У нее несомненно было великое желание поведать для истории то, что после смерти матери *только она знала о Ленине*. Но при его жизни это было неловко, а после его смерти стало невозможно. Свое желание она могла осуществить прикрыто, в очень несвободной форме, часто полунамеками, обрывками характеристики, сознательно пряча многие ей известные факты. При всех недомолвках ее записки всё же бросают свет на отношения между ее братьями. Однажды (это происходило в Петербурге, вероятно, в начале 1887 года) она спросила Сашу: «Как тебе нравится Володя?» — «Саша ответил: «он несомненно человек очень способный, но мы с ним не сходимся, даже *совсем не сходимся»*. — «Почему? спросила я. Саша не пожелал объяснить».

Мнение Саши она всё-таки знала, долго объяснять его было не нужно и, так как для Владимира оно совсем не было лестно, Ульянова хотела бы его сохранить про себя, умолчать о нем. — «После смерти Саши я *понятно* не стала говорить Володе об этом мнении. Я понимала, что нанесу ему только лишнюю боль. Потеря Саши, такого любимого и уважаемого всеми нами, ощущалась и без того слишком остро, чтобы я

могла причинить лишнее огорчение тем мнением Саши, которое Володя всё равно не мог уже изменить. Все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга».

Ребенком и даже подростком лет до 11-12 Владимир преклонялся пред братом. «Он любил играть во всё, во что играл Саша, делать всё, что делал Саша, он подражал ему во всем до мелочей». Подражание стало исчезать по мере того, как Владимир рос и постепенно формировал свое индивидуальное лицо. Оно не было похоже на брата. Натуры братьев были действительно глубоко различны. Саша был вдумчив, терпелив, тих, ровен в своих отношениях к членам своей семьи и другим лицам, мягок и при огромных способностях и трудоспособности очень *скромен*. Владимир тоже с очень большими способностями и настойчивостью в работе, — бурно-энергичен, вспыльчив, резок, заносчив, нетерпелив, властен, крайне самолюбив и самоуверен. Дерзость и самоуверенность стали особенно проявляться после смерти отца присутствие которого действовало на него умеряющим образом. Матери он стал отвечать «порой так резко, как не позволял себе при отце». А. И. Ульянова выражается очень мягко: есть много данных думать, что в то время Владимир был с матерью до крайности груб. Впрочем, нужно немедленно добавить, что эта грубость у него исчезла после смерти Саши. В горе, постигшем семью и ее крепко объединившем, Ленин в этом отношении как бы переделал себя и стал нежным сыном. При жизни Саши этого еще не было. Никогда не выходя из себя, не расставаясь со своей обычной сдержанностью, Саша с неодобрением относился к дерзким выходкам брата. Однажды, Владимир грубо отказался выполнить какую-то просьбу матери. Саша, игравший в это время с ним в шахматы, заявил, что если Владимир не выполнит просьбы матери, он никогда больше с ним играть не будет. Самолюбивому и заносчивому Владимиру такие замечания брата должны были казаться непереносимыми, во всяком случае, не принимались им легко.

Но не тут, однако, главная причина их отчуждения. Саша в семье почитался существом особенным. Какой-то истерической любовью, что видно из ее воспоминаний, его любила старшая сестра. Его обожала сестра Оля, имевшая с ним много общего: «глубина и твердость характера с преобладанием в нем чувства долга, большая ровность, мягкость и из ряду вон выходящая трудоспособность». К Александру в семье и вне ее все прислушивались не только потому, что он был

вдумчив и серьезен. В нем чувствовалась большая моральная сила. В. В. Водовозов, тот студент, у которого Саша в 1886 г. взял и не смог отдать «Deutsch-Französische Jahrbücher», вспоминая в 1902 г. Александра Ульянова, так характеризовал его: «Никому он не читал уроков нравственности, никого не наставлял на путь истинный, но даже при самом поверхностном с ним знакомстве чувствовалось, что у всего его поведения, всех его суждений, есть крепчайшая моральная основа, сразу определяющая что позволено, что нет, что хорошо, что плохо».

Вот что всем внушало особое уважение к этому хрупкому на вид и не по годам серьезному молодому человеку. И тридцать девять лет после своего знакомства с А. Ульяновым, Водовозов, в правление Ленина превратившийся в эмигранта, не мог забыть встречи с братом Ленина, поразившего его своей «юношеской свежестью и одухотворенностью». «Несмотря на наше короткое знакомство он произвел на меня глубокое, неизгладимое впечатление».[2]

Никакого «излучения» моральности не было у властного и бурного Владимира. Моральный «ошейник» должен был им ощущаться с крайней неприязнью, вызывая бессознательное желание сбросить эту обузу. Он плохо терпел какие-либо ограничения. Вероятно, только огромное самолюбие, желание быть «первым учеником», заставляло его неукоснительно подчиняться всем строгим правилам Симбирской гимназии. Не забудем еще, что Владимир был баловень в семье. В отличие от скромного Саши, шумливый и кипучий, он был всегда на авансцене жизни семьи. Он видел, что им восхищаются и привык с детских лет, когда слышал от няньки, что Володя не «золотой», а «бриллиантовый», чтобы им восхищались. Привыкнув к этому, уже не терпел замечаний и резко реагировал на все указания матери. Волевой и самоуверенный, Владимир Ульянов хотел быть свободным в своих влечениях. Внутренних сдерживающих сил и правил, «велений совести», «чувства долга», столь сильных у Саши, у него не было. И Саша, это чувствуя, имел полное основание решительно сказать: «мы с ним совсем не сходимся».

А. И. Ульянова совершенно права, говоря, что, несход-

---

[2] Водовозов. Мое знакомство с Лениным. Журнал «На чужой стороне», 1925 г. книга XII, стр. 175.

ство характеров было осознано и формулировано одним Сашей. Владимиру подобный анализ был не под силу. Он был для этого слишком молод. Некоторые чувства, правила, понятия не могли вообще попасть в его анализ, они были чужды ему, а в зрелом возрасте вызывали у него лишь усмешку. Позднее он, например, всегда с иронией спрашивал — «а что такое хороший человек?», и уже с явным презрением слушал «интеллигентскую белиберду о моральном сознании». Брата Сашу он, конечно, ценил и по-своему любил, но в последние годы тот стал для него во многих отношениях таинственным незнакомцем. Невольно выплывает вопрос: что было бы, если бы уступая мольбе матери, Саша подал царю прошение о помиловании? Его товарищам по процессу — Лукашевичу и Новорусскому — Александр III заменил смертную казнь тюремным заключением, а Николай II в 1905 г. их полностью амнистировал. Они не только дожили до октябрьской революции 1917 г., но пережили Ленина. Попав в число амнистированных, Александр Ульянов тоже мог бы дожить до этой революции. Ему исполнился бы 51 год. В 1887 г. Александр Ульянов верил, что момент падения самодержавия совпадает и должен совпасть с началом социалистической революции, а именно эту идею с неистовством проводил в 1917 г. Ленин. Допустив, что Саша вплоть до этой революции сохранил бы свою веру, можно ли всё-таки думать, что он был бы на том же берегу, что Ленин? То, что мы знаем о «натуре» обоих братьев, позволяет с уверенностью ответить: тогда, более чем когда-либо, Александр сказал бы о своем брате: «Мы с ним совсем не сходимся». Правила Ленина «кто против нас — того к стенке» — Александр Ульянов по самому складу своего духовного облика никогда принять бы не мог.

Касаясь отношений братьев, их сестра замечала: «Саше не нравились те черты характера Володи, которые резали, но, очевидно, слабее, и меня: его большая насмешливость, дерзость, заносчивость». Оставим в стороне дерзость и заносчивость, слишком ясно, что Александру они не были симпатичны. Остановимся внимательнее на том, что А. И. Ульянова называет *«большой насмешливостью»*. Саша был слишком терпимым, ровным, сдержанным, чтобы насмешливость, пусть даже большая, могла его задевать. Очевидно, по отношению к нему была насмешливость *особого* характера. Если она могла его «резать», то не потому ли, что направлялась против чего-то для Саши очень важного, скажем, «святого», осмеянию не-

подлежащего? Против чего же? Мы знаем, что Саша был поглощен изучением естественных наук. Смелый, пытливый исследователь он стремился постигнуть тайны жизни органического мира. Он избирает области наименее исследованные, начиная с жизни пресмыкающихся, в частности, червей. Даже в недели пред покушением на царя, Саша не перестает в университете работать над магистерской диссертацией об органах зрения червей. Она следовала за его работой о половых органах annulala — кольчатых червей. Еще в Симбирске и Кокушкине, исследуя с микроскопом органы червей, Саша с необычайным рвением отдавался этой работе. Много лет спустя Ленин, рассказывая об этом Крупской, говорил, что Саша «чтобы использовать (для микроскопа) максимум света вставал на заре и тотчас же брался за работу». Но это рвение молодого, Божьей милостью ученого было непонятно Владимиру, не говоря о том, что к изучавшемуся братом зоологическому виду он относился с крайней брезгливостью. Владимир не понимал — как брат может целые дни сидеть с микроскопом над такими пустяками! В работе брата он не видел смысла, ни научного, ни практического. Она вызывала у него лишь колкие насмешки. Для них здесь была удобная, а при желании и скабрезная почва. Ведь так легко посмеяться, что Саша весь день с раннего утра наблюдает под микроскопом сексуальную жизнь — чью? Червей! Сестра Ленина о том дипломатично молчит, но несомненно всё происходило именно так, как мы представили. «Я думал тогда, позднее признавался Ленин Крупской, что человек, серьезно отдающийся общественным вопросам, не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей». Такая фраза с достаточной ясностью указывая, что служило предметом насмешек Владимира, в то же время объясняет почему его «большая насмешливость» должна была резать Сашу и отчуждать от брата. Стоит указать, что Крупская недостойным образом исковеркала слова сказанные ей Лениным. Ленин не был лживым. Он не мог уверять Крупскую, что уже в гимназии «решил для себя вопрос о необходимости революциионной борьбы». А между тем она изображает его чуть ли не от рождения революционером, который свысока смотрел на своего старшего брата, недошедшего до этого сознания, и с сожалением говорил: «нет не выйдет из брата революционер».

А. И. Ульянова настаивает, что в основе расхождения братьев не нужно искать каких-либо политических разно-

гласий. Это несомненно. У Александра были сложившиеся убеждения, и никаких у Владимира — об этом мы уже достаточно говорили. Совершенно несведущий в общественных вопросах и к ним равнодушный Владимир, разумеется, не мог противопоставить что-либо солидное убеждениям брата, сидевшего не только за микроскопом, но и за обширной политико-экономической литературой, изучавшейся им не поверхностно, а вдумчиво. Никаких серьезных разговоров на общественные темы, как свидетельствует А. И. Ульянова, Саша с Владимиром никогда не вел. Не вел и не желал вести, а не желал потому, что в этой области, как и в случае с кольчатыми червями, — его отталкивала насмешливость Владимира. Постоянное чтение и перечитывание «Дыма», «Рудина», «Нови», где с особенной силою проглядывает критическое и ироническое отношение Тургенева к революции, вооружило Владимира целым арсеналом «стандартных» насмешек. Это не подлежит никакому сомнению. Словечки из этого арсенала можно было слышать у Ленина и двадцать лет спустя. О его привычке с усмешкой бить «словами» — упоминает и его сестра Анна. И эти «словца» по адресу Саши и его общественных стремлений именно в то лето, когда Саша с мучением приходил к выводу, что безнравственно уклоняться от участия в революции, — не могли создавать между ним и Владимиром добрых отношений. При всей терпимости Саши, насмешки Владимира его больно задевали. И осенью 1886 г. он уехал в Петербург с убеждением, что с Владимиром он «совсем не сходится».

Смерть Саши толкала Владимира пересмотреть свои отношения к погибшему брату. «Я увидел, передавал Ленин Крупской, *как я ошибался*». Он теперь знал, что Саша за свои убеждения геройски и мужественно отдал свою жизнь. Это уже не «пустяки», не «дым», не «гиль». Кроме сидения с микроскопом над червями у брата Саши, очевидно, была какая-то другая опасная, неизвестная жизнь, какие-то стремления, столь для него важные, что его не испугала и виселица. Значит, всякого рода насмешки по адресу брата были непростительны, гадки, пошлы. Владимир должен был испытать раскаяние, мучиться, что так плохо понимал брата. Вполне понятно, что его сестра, чтобы «не нанести ему лишнюю боль» ни одного слова не сказала о мнении, которое, на основании поведения Владимира, имел право себе составить Александр. Не довольствуясь уже тем, что о последних месяцах и днях жизни

брата ему сообщили мать, старшая сестра, Чеботарева, Владимира Ульянова охватывает желание глубже понять брата. Зная, что роман Чернышевского «Что делать» — одно из любимейших и почитаемых Сашей произведений — он берется за чтение его. Он хочет таким путем войти в общение с духовным миром Саши, найти ключ к более глубокому его пониманию, по фактам и мыслям книги догадаться о мыслях, чувствах брата, его толкнувших, в частности, на террор. Владимир и раньше, ему было тогда 14 лет, читал «Что делать». Вернее сказать — просто перелистывал. То было более чем поверхностное чтение. Он сам на это указал в 1904 г. автору этих строк. Тогда его интересовала лишь романтическая сторона произведения. Не таково вторичное чтение романа. Владимир его не выпускает из рук. Уходя от всех, вероятно, сидит с ним под старыми липами Кокушкина. Каждая страница «Что делать» наводит его на размышления. Он не просто читает, а изучает. Его знание этой вещи позднее вызывало удивление у Крупской. «Я была удивлена как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в романе, он заметил».

Глубокую борозду провело «Что делать» в душе Александра Ульянова и еще более глубокую у его брата. Впечатление, произведенное на 17-летнего Ленина этой книгой при чтении ее в июле 1887 г. в Кокушкине, можно назвать потрясающим. По его образному выражению она его «перепахала», уничтожив в нем прежнее, то равнодушное, то презрительное и насмешливое отношение к общественным вопросам. Ленин испытывал судороги отвращения, слыша о мистике и религии — «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на земле». Тревожа его прах, скажем, что с помощью «Что делать» он вошел в своего рода мистическое общение с душой, мыслями и чувствами своего брата, удавленного на виселице в Шлиссельбургской крепости. В 1891 г. в Самаре Ленин, вспоминая казнь брата, говорил Лалаянцу: «для меня, как и для всей семьи, участие брата в деле 1-го марта было полнейшей неожиданностью». Эта тайна брата, им непонимаемого, часто встречаемого насмешкой, была теперь открыта и понята. От происшедшей через книгу связи живого с мертвым, впечатление созданное «Что делать» должно было быть у Ленина каким-то особенным, сильнее и острее, чем у других читателей. С тех пор роман Чернышевского, — а он читал его в тех самых номерах «Современника», которые держал в своих ру-

ках Саша, — сделался для Ленина священной книгой. И никакой хулы на Чернышевского, как потом и на Маркса и Энгельса, он не мог выносить спокойно.

Рисуя организацию коммунистического строя, Чернышевский поясняет, что этот строй появится только благодаря деятельности революционеров, людей «отважных, неколеблющихся, неотступающих, умеющих взяться за дело так, что оно не выскользнет из рук». Они, по его словам, представляют «цвет лучших людей», «соль соли земной», «ими расцветает жизнь и без них она заглохла бы, прокисла». Говоря об этих новых людях, видя в них «соль соли земной», Чернышевский прежде всего и больше всего имел в виду самого себя. Прочитав «Что делать», Вл. Ульянов решил, что он тоже будет среди «цвета этих лучших людей», того передового слоя, слово которого будет «исполняться всеми». Такое решение — продолжение укоренившейся привычки быть в семье и в гимназии на первом месте, сознавать себя в числе лучших. Самоуверенность и самолюбие у Владимира — громадны и недаром его отец, боясь что эти черты примут уже нестерпимый характер, избегал его «захваливать». Тут еще раз обнаруживается коренное различие между братьями. Оба приняли формулу Чернышевского о «цвете лучших людей» и их миссии, но для Александра это — этическая проблема. Быть в отряде «лучших людей» его побуждало совсем не самолюбие, не желание быть на виду, быть во главе, а — совесть, долг пред страною, пред народом. Совершенно с иными предпосылками формула о «цвете лучших людей» принимается Вл. Ульяновым. У него — гора самолюбия и ни малейшего желания вступать в область этических вопросов. «Что делать» его учит, что «человеком управляет только рассчет-выгода» и «то, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе». В. Ульянова гипнотизирует картина «вольного труда и довольства», выгоды и пользы, которую видит Чернышевский в будущем обществе. Его душевное состояние, вероятно, можно уподобить тому, какое было у французов поплывших в Америку отыскивать «Икарию». В борьбе за эту Икарию, не в Америке, а в своей стране, В. Ульянов хочет быть не маленьким двигателем, а очень большим. У него претензия на роль командира, начальника. Желание командовать у Вл. Ульянова почти с детских лет. В Кокушкине, играя со своими двоюродными братьями в казацкую вольницу, он всег-

да хотел быть «Тарасом Бульбой», атаманом. «Он встряхивал и увлекал нас, — вспоминает Веретенников, — атаманство, его первенство проступало, так сказать, непроизвольно». Право на командование сначала покоится на смутном и неясном чувстве. Через несколько лет (в 1891-92 г.г.), оно дойдет до сознания, превратится в уверенность, подкрепленную семейной обстановкой, наполненной преклонением пред ним как «гением». И эта уверенность вместе с другими свойствами этого человека сыграет огромнейшую роль в судьбах России и всего мира.

**
*

Летом 1887 г. Вл. Ульянов подал прошение о зачислении его в студенты юридического факультета Казанского университета. Его двоюродный брат, не зная о происшедшей с ним большой перемене, был удивлен таким выбором. До сих пор Владимира больше всего интересовали языки, история, география, судя по этому он должен бы избрать историко-филологический факультет. «Теперь такое время, ответил В. Ульянов, что нужно изучать науки права и политическую экономию. В другое время я избрал бы другие науки».

Осенью вся семья Ульяновых, за исключением Анны, принужденной оставаться под гласным надзором в Кокушкине, переезжает в Казань и Вл. Ульянов начинает посещать университет. Он заряжен энергией, ему нужно скорее проявить себя в каком-нибудь общественном политическом деле. После всего пережитого у него — брата казненного Ульянова — больше чем у других студентов желания как-нибудь демонстрировать против ставшего ему ненавистным царского правительства. Оказия себя показать скоро представляется: недовольство введением нового сурового университетского устава вызывает в декабре беспорядки, протесты, сходки студентов и в них Вл. Ульянов участвует с большой страстью. Ничего важного и опасного для правительства в этих беспорядках не было. В протестах и волнениях в высших учебных заведениях с шестидесятых годов вплоть до 1908 г. участвовали тысячи и тысячи юношей. Беспорядки в Казани имели обычный конец: арест и исключение из университета некоторых наиболее виновных студентов. В ночь на 5 декабря Ульянова и других его коллег полиция сажает в каземат Казанской крепости, а

7-го декабря утром ему предписывает выехать из Казани в Кокушкино, куда он и добирается в тот же день по занесенной сугробами снега дороге. Биографы сообщают, что в каземате студенты обсуждали, что им делать после исключения из университета и Вл. Ульянов, отвечая на этот вопрос, гордо сказал: «передо мною одна дорога — дорога революционной борьбы». Ленину в это время без четырех месяцев восемнадцать лет, всё же он только желторотый юнец, по-мальчишески безмерно гордящийся тем, что во время беспорядков ему удалось обругать инспектора университета. Ему это кажется героическим актом и его сестра писала, что приехав в Кокушкино он «глубоко переживал» это событие: «Мне бросилось в глаза, что Володя, обычно почти не писавший писем, строчит что-то большое и вообще находится в возбужденном состоянии. Он писал товарищу по гимназии, поступившему в один из южных университетов. Описал в нем, конечно, с большим задором студенческие беспорядки в Казани, в повышенном настроении прохаживался по комнате и с видимым удовольствием передавал мне те резкие эпитеты, которыми он награждал инспектора и других придержащих».

Приехав в Кокушкино в октябре 1887 г. Ленин жил там почти год, до поздней осени 1888 г., когда, отказывая в приеме в университет, ему разрешили переехать в Казань. Прибыв после высылки в Кокушкино несведующим зеленым юнцом, — хотя и перепаханным «Что делать», — Вл. Ульянов через год превратился в серьезного, в общественном отношении вполне сложившегося человека, обладающего обширными знаниями. Та самая Анна, которая отмечала в 1886 г. отсутствие у Владимира какого-либо интереса к общественным вопросам, — летом 1888 г. уже видела огромное различие между ним и приехавшими в Кокушкино двоюродными братьями (как всегда нет пояснения о каких из этих братьев идет речь). «Они могли быть товарищами Володи для прогулок, игры в шахматы», но эти «люди без общественной жилки» уже не были для него «интересными собеседниками» и хотя были старше его, «сильно пасовали пред ним». Указанный год, проведенный в Кокушкине, представляет собою важнейший период в биографии Ленина в смысле его духовной и политической формации. Именно в этот год произошло начальное превращение Влад. Ульянова в Ленина, т. е. появление у него комплекса специфических и характерных для Ленина чувств и революционных

идей. Дать отчет об этом периоде, показать происходившую на ее глазах метаморфозу ее брата Владимира, казалось бы, должна была Анна Ильинична. Она этого не сделала и после смерти Ленина коснулась этого периода немногими пустыми словами:

«Провели мы зиму в полном одиночестве. Никаких соседей у нас не было. Редкие приезды двоюродного брата, да посещение исправника, обязанного проверять на месте ли я и не пропагандирую ли крестьян, — вот все кого мы видели. Владимир Ильич много читал. Во флигеле был шкаф с книгами покойного дяди, очень начитанного человека[2], и старые журналы с ценными статьями, кроме того мы подписывались (были абонентами) в Казанской библиотеке и выписывали газеты».

Какие журналы с ценными статьями были в книжном шкафу и что читал Ленин, — а в этом вся суть интересующего нас вопроса — об этом Анна ничего не сказала. Трудно объяснить почему, будучи главным и даже единственным свидетелем, Анна Ульянова промолчала о столь важном для биографии Ленина, кокушкинском периоде его жизни.

Еще меньше чем Анна Ульянова о кокушкинском бытии Вл. Ульянова сообщил его двоюродный брат Николай Веретенников: «Володя жил очень уединенно, проводя бо́льшую часть времени за книгами, которые доставлялись из Казани. Его редко кто навещал. Путешествие зимою из Казани требовало пяти-шести часов в один конец и то при благоприятных условиях. Дорога была узкая, шла между сугробами снега и пара лошадей запрягалась «гусем», т. е. одна впереди другой. Во время буранов дорогу заметало и, потеряв ее, легко можно было проплутать несколько часов по малонаселенной местности». Ничего кроме этого Веретенников и не мог сообщить. При отсутствии у него интереса к общественным и теоретическим вопросам ему была недоступна лихорадочно совершающаяся перемена, которую испытывал тогда Вл. Ульянов. Странно, что он ничего не говорит даже о находившемся в Кокушкине шкафе с книгами его покойного отца и со-

---

[2] Речь идет о И. Д. Веретенникове, бывшем инспекторе Дворянского Института в Пензе. Установить его биографию, его жизнь в Кокушкине мне не удалось.

здает впечатление, что кроме книг, привозимых из Казани, у Владимира не было других.

Типичной коммунистической болтовней является сообщение об этом периоде жизни Ленина в казенной биографии, изданной в 1944 г. Она больше всего хочет убедить, что уже в 18 лет. Вл. Ульянов был таким опасным революционером, что за каждым его шагом ежедневно следило в Петербурге высшее начальство департамента полиции! «Около года провел Ленин в маленькой, глухой деревушке. За ним было учреждено повседневное секретное наблюдение полицейских шпиков. За Лениным и всей семьей Ульяновых неотступно следило жандармское око. О каждом шаге (sic!!) Ленина летели полицейские донесения в департамент полиции. Ленин много читал и усердно занимался самообразованием. Уже в то время Ленин обнаружил умение систематически работать по строго продуманному плану».

Первым применившим правильный метод с целью узнать, что приобрел Ленин, сидя почти год в Кокушкино, — был проф. Б. Волин («Исторический журнал» 1945 г. № 4). Ленин читал то, что находилось в книжном шкафу, нужно узнать что же там было? «Книг и журналов было в изобилии в библиотечном шкафу, хранившемся во флигеле. Их накопилось немало за многолетнее пребывание в Кокушкине передовых семей Бланков и Ульяновых... В старом флигеле, без сомнения, молодой Ленин нашел среди журналов «Современник» Чернышевского и Добролюбова, «Русское Слово» Благосветлова и Писарева, «Знание» и «Слово», в котором печатался проф. Н. И. Зибер — один из первых пропагандистов в России экономического учения Маркса, «Отечественные Записки» — Краевского, Некрасова, а затем Салтыкова, «Русское Богатство» и «Русскую Мысль». Предполагая, что Вл. Ульянов имел в своих руках эти журналы и их внимательно читал, Б. Волин делает отсюда следующее заключение: — «Зима и лето, проведенные юношей Лениным в Кокушкинской ссылке, закалили его, сделали его теоретически и политически более зрелым, подготовили его к серьезной работе над Марксом, к участию в федосеевских марксистских кружках Казани 1888 г., где он оформился как последовательный революционный марксист».

Б. Волин лучше других сказал о происходившей перемене в Ленине, тем не менее, ясно, что ничего уверенного он со-

общить не может и выводы его основываются на догадке. Например, далеко не все им перечисляемые журналы были в Кокушкине, можно с уверенностью говорить лишь о полном комплекте «Современника» и неполном собрании «Отечественных Записок» и «Вестника Европы». Об этом в 1919 г., отвечая на расспросы В. В. Воровского, говорила Анна И. Ульянова. Произнося же имя Воровского, нужно немедленно обратиться к его записи, в которой уже не на основании догадок, а со слов самого Ленина (в 1904 г.) имеется подробный рассказ о Кокушкинском периоде его жизни, о том, что он тогда читал и что произвело на него сильное впечатление. По причинам, о которых можно лишь гадать — *этот документ в советской прессе отсутствует*. В ней мы его не нашли. С необходимыми пояснениями о его происхождении он впервые был напечатан в 1951 г. в книге 26-й «Нового Журнала» в моей статье «Чернышевский и Ленин» и с некоторыми новыми объяснительными добавлениями — в моей книге «Встречи с Лениным». К сожалению, я не мог привести полностью запись Воровского, но даже в укороченном виде, она является единственным документом, освещающим процесс превращения Владимира Ульянова в Ленина. Нет не только ему равноценного, но вообще *никакого* другого материала, освещающего этот вопрос.

Рассказывая о своем, с утра до позднего часа, чтении зимою в Кокушкине, Ленин сообщил, что больше всего «от доски до доски» и «не один раз» он читал сочинения Чернышевского в «Современнике» и Чернышевский «покорил» его. До знакомства с Марксом, Энгельсом и Плехановым не было никого по словам Ленина, кто имел бы на него такое «подавляющее влияние». Чернышевский был для него авторитетнейшим учителем. От Чернышевского пришло к Ленину первое знакомство с философским материализмом и диалектическим методом Гегеля, а его перевод с примечаниями сочинения Милля — был тем курсом политической экономии, который подготовил его чтобы позднее перейти к Марксу. От Чернышевского Ленин воспринял (на всю жизнь) ненависть к либерализму и Крупская правильно говорила, что Чернышевский своей непримиримостью к либералам «заразил Ленина».

Долгое и внимательное чтение статей Чернышевского, а Ленин не просто их читал, а штудировал, делая из прочитанного (особенно из его иностранных обзоров) «большие вы-

писки и конспекты» — цепко и властно влезало в его мозг, формировало его интеллектуальный строй и соответствующие ему эмоции. Ленин сказал: «Что делать» меня «перепахало». Перефразируя это «словцо» и уточняя всю фразу, следовало бы сказать, что в Кокушкине летом 1887 г. «Что делать» впервые вспахало Ленина, а в 1888 г. вся остальная масса сочинений Чернышевского уже окончательно его «перепахала и допахала».[3] Для настоящей, а не лживой биографии, для отчета о действительной истории духовной формации Ленина — этот вопрос имеет, на наш взгляд, исключительно важное значение. Из воспоминаний Крупской мы знаем, что в Кремле в кабинете Ленина «в числе авторов, которых он хотел иметь постоянно под руками, наряду с Марксом, Энгельсом и Плехановым, стояло и полное собрание сочинений Чернышевского, которое Владимир Ильич в свободные промежутки времени читал *вновь и вновь*». Как видим, воспоминание о Чернышевском или, как Ленин говорил, «заряд от него» сохранился у Ленина «на всю жизнь».

Он никогда Чернышевского не забывал. Например, всегда держал в своем альбоме фотографические карточки Чернышевского. В ссылке в селе Шушенском в Сибири (1897-1900 г.) у Ленина их было две. И рядом с ними — фотография Мышкина, пытавшегося под видом жандармского офицера увезти Чернышевского из Вилюйска. «Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант *меня покорили*», говорил Ленин Воровскому. Плененный и восхищенный этим талантом, Вл. Ульянов из Кокушкина послал Чернышевскому письмо. Значит с помощью кого-то и через кого-то из живущих в Казани он узнал его адрес, зная, что Чернышевский уже давно не в Сибири. Всё, что из его произведений печаталось в «Современнике» — Вл. Ульянов читал, по его словам «с карандашиком в руках», т. е. подчеркивая фразы и выражения, привлекавшие его особое внимание, делая из прочитанного выписки, которые «у меня потом долго хранились». Благодаря такому чтению, в тех страницах Чернышевского, которые ныне, 90 лет после их появления, почти всем кажутся серыми, скучнейшими, совершенно потухшими, он сумел найти скры-

---

[3] О влиянии Чернышевского на Ленина см. статью Н. Валентинова «Чернышевский и Ленин» в 26 и 27 кн. «Нов. Жур.».

тый от цензуры революционный огонь. А динамита в сочинениях Чернышевского было действительно много и этот динамит «человека с топором» он с замечательным искусством под носом цензора совал всюду где только мог.

Неоспоримым доказательством тому, что основное, оставшееся у Ленина на всю жизнь представление каким должен быть революционер, Вл. Ульянов почерпнул из наставлений Чернышевского, служат его слова, сказанные Воровскому: — «Величайшая заслуга (заметьте — *величайшая!*) Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное — каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, каким способом и средствами добиваться ее осуществления».

Вселяясь в Вл. Ульянова, Чернышевский ему внушал самомнение на службе у революции, взгляд на себя как на персону выше других стоящую, имеющую право и обязанность учить как надлежит людям «думать и жить». Из сочинений Чернышевского Вл. Ульянов себе усвоил, что настоящий революционер, идя к цели, добиваясь победы, должен — быть беспощадным, не бояться пролития крови, не жалеть людей, не жалеть жертв. Он же ему поведал, что так называемые «чистоплотные люди», с пугливым нравственным чувством, с моральными тормозами, озирающиеся на принципы морали, боящиеся покрыться «грязью и пылью», участниками настоящей революции быть не могут. «Это занятие благотворное, но не совсем опрятное». Всё это усваивал Вл. Ульянов и тем самым превращался уже в Ленина, ибо именно эти последовательно проводимые принципы и составляют основу Ленина, вернее сказать составляли его основу до 1920-21 г.г., когда и характер, и взгляды Ленина начали сильно ломаться. Из слов Ленина Воровскому видно, что Маркса и марксизм он в Кокушкине еще не знал. Марксизм был посевом на почве уже вспаханной и перепаханной Чернышевским.

Проф. Б. Волин пишет, что из Кокушкина Ленин переехал в Казань и принял участие в 1888 г. в «федосеевских марксистских кружках», где «оформился как последовательный революционный марксист». Совершенно верно, что этому «страшному» революционеру, за «каждым шагом» которого, якобы, следил из Петербурга департамент полиции, позволили

осенью 1888 г. вернуться в Казань. Но что касается его участия в «федосеевских кружках», то это уже измышление, канонизированное казенной биографией Ленина. Оно повторяется во всех его жизнеописаниях, являясь доказательством бездарности советских исследователей. Ведь до сих пор — тридцать лет после смерти Ленина! — они всё еще не дали настоящей его биографии и, в частности, не допытались узнать и точно представить, при каких условиях, в какой обстановке произошла не в 1888 г., а в 1889 г. *первая встреча Ленина с марксизмом.* Талантливый юноша Н. Е. Федосеев, уволенный за вредные политические мысли из гимназии, на год моложе Ленина, но раньше его усвоивший марксизм и явившийся его активнейшим пропагандистом, действительно сыграл роль в приобщении Ленина к марксизму. Но, во-первых, «федосеевских марксистских кружков» в Казани не было. Был — это установил Л. Б. Каменев, — всего на всего один такой кружок. Все остальные кружки, хотя в них и забегал с пропагандой Федосеев, не были «марксистскими». Во-вторых, если бы Ленин посещал федосеевский марксистский кружок, он не мог бы не встретить в нем Федосеева, а он его не встречал. «Я слышал, — писал Ленин, — о Федосееве в бытность мою в Казани, но лично не встречался с ним» (см. сочинения Ленина том XXVII, стр. 376). Несколько лет позднее, уже будучи в Петербурге, он вступил с ним в переписку, очень хотел с ним увидеться когда тот сидел в тюрьме во Владимире и впервые увидел его только в 1897 г. в Красноярской тюрьме. После этого он никогда больше его не видел — Федосеев покончил с собою в ссылке в Сибири в 1898 году в Верхоянске. Этого «необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» Ленин высоко ценил. Федосеев первый в 1889 г. толкнул его на приобщение к марксизму, но как произошло это столь важное по своим (даже мировым!) последствиям событие — о том бездарные казенные биографы-попугаи — ровно ничего не знают. О сей загадочной истории мы расскажем в дальнейшем.

Н. Валентинов

ВЛ. СОЛОВЬЕВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Достоевский и Соловьев, несмотря на разницу в возрасте, в течение целого периода были современниками. Вечерняя заря творчества Достоевского совпала с утренней зарей творчества Соловьева. Они не только были знакомы, но находились друг с другом в духовном общении. Уже эти факты придают теме об их взаимоотношениях особый интерес. В настоящей статье мы можем затронуть эту богатую тему лишь в самых общих чертах. Начнем с фактической стороны вопроса.

Первая встреча Достоевского и Соловьева состоялась зимой 1873 года. 52-летний Достоевский достиг в это время почти зенита славы. Он уже успел написать «Преступление и наказание», «Идиота» и «Бесов» и был занят «Дневником писателя». Вл. Соловьеву было тогда всего 20 лет. Он только что закончил университетский курс и готовился к диссертации «Кризис западной философии», защита которой состоялась в следующем году. Однако, характер мировоззрения юного философа успел к тому времени в основных чертах определиться. Пережив недавно перед тем духовный кризис, преодолев свое ранне-юношеское увлечение материализмом и атеизмом, Соловьев с головой окунулся в изучение немецкой идеалистической философии, критике рационализма которой, при признании ее великих заслуг, посвящалась его диссертация. Главное же — к тому времени Соловьев уже твердо стоял на почве христианского миропонимания — недаром, кроме университетского курса, он прослушал курс в Московской Духовной Академии. Он тогда уже решил посвятить свою жизнь построению и проповеди христианского мировоззрения, причем стоял на позициях славянофильского православного мессианизма (первая юношеская работа его была написана в духе Хомякова).

Следовательно, Соловьев и Достоевский имели тогда общую духовную платформу. В эпоху, когда увлечение материализмом и атеизмом среди русской интеллигенции было повальным, Достоевский не мог не ценить в юном философе своего союзника. К тому же, сама личность Соловьева произвела на него большое и, по словам писателя, «очаровывающее» впе-

чатление. «Чем больше мой муж общался и разговаривал с ним», свидетельствует Анна Григорьевна Достоевская, «тем более любил он его и ценил его ум и его глубокие познания». Голова юного Соловьева напоминала Достоевскому голову Христа на картине Караччи. Помимо того, Соловьев напоминал Достоевскому друга его юности, писателя Шидловского, имевшего в свое время, еще до каторги, глубокое и благотворное влияние на Достоевского. Таким образом, впечатление Достоевского от первых встреч с Соловьевым было самым светлым.

Общение между ними прервалось на несколько лет, когда Соловьев уезжал заграницу. Но с 1877 года Соловьев снова становится нередким гостем в петербургском доме Достоевских. Их общение тогда приобретает характер интимной дружбы, скрепленной единством религиозно-философских взглядов. В письме к Петерсону от 1877 года, Достоевский пишет: «Предупреждаю, что мы здесь, т. е. я и Соловьев, по крайней мере, верим в воскресение реальное, буквальное, и в то что оно будет здесь, на земле».

В начале 1878 года Соловьев прочел в Соляном городке цикл лекций под заглавием «Чтения о Богочеловечестве» — произведение, которое с полным правом можно назвать гениальным. Достоевский был его внимательным слушателем и не пропустил ни одной лекции. (Интересно, что на одной лекции присутствовал и Лев Толстой).

В мае 1878 года умер любимый сын Достоевского, Алёша. Горе отца не поддавалось описанию, и Анна Григорьевна, сама убитая несчастьем, но встревоженная за состояние мужа, убедила его совершить поездку в обитель православия, в Оптину пустынь. Но так как Достоевский часто страдал эпилептическими припадками, она боялась отпустить его одного, и просила именно Соловьева сопровождать ее мужа, на что последний с радостью согласился. По слову В. Иванова, Соловьев становится «путевым товарищем писателя в то время когда он в общении с монахами и старцами изучал идеалы русской мистики и аскетики». Самый факт, что гениальный русский писатель и великий русский философ вместе ездили на поклонение в древнюю обитель русского монашества, глубоко показателен и символичен. Посещение Оптиной пустыни произвело на них обоих глубочайшее впечатление и благодаря ему Достоевскому удалось преодолеть свое личное горе.

Как известно, именно в Оптиной пустыни в душе Достоевского окончательно сложился образ старца Зосимы. Два реальных лица послужили прототипами Зосимы: св. Тихон За-

донский, великий святитель конца 18 века и один из создателей обители, бывший также глубоким христианским мыслителем (поучения Зосимы во многом напоминают поучения Тихона из его книги «Сокровище духовное, от мира собираемое») — и старец Амвросий, которого Достоевский застал еще в живых. Утешительные слова этого старца, которые он просил передать жене Достоевского, вошли затем в роман как утешительные слова старца Зосимы, обращенные к плачущей матери. Идея романа «Братья Карамазовы», уже раньше задуманного Достоевским, теперь приняла вполне сложившийся облик, образы и идеи романа наполнили его душу, и как раз от 1878 до 1880 года он создает это величайшее произведение русской и мировой литературы. Но процесс писания был мучителен и сам автор называет это время «годами каторжной работы».

Для нашей темы интересно отметить, что наиболее глубокое общение с Соловьевым приходится у Достоевского как раз на период созревания в его душе «Карамазовых». В частности, глава «Русский инок» была написана им сразу после посещения пустыни. Мало того, мы знаем, что Достоевский посвятил Соловьева в план романа и что этот план служил темой их бесед. Уже этот факт ставит вопрос о возможном взаимном влиянии их друг на друга. Да и было бы странно, если, при общности основных взглядов и чуткости обоих в восприятии идей, дружба между Соловьевым и Достоевским осталась бы лишь формальным «фактом биографии».

Надгробное слово на похоронах Достоевского (в феврале 1881 года) сказал именно Соловьев, а к 1883 году им были закончены «Три речи о Достоевском» — самое значительное из всего, что писалось в то время о Достоевском. Эти речи дают нам некий дополнительный ключ к вопросу о родстве их взглядов и о вероятном взаимном влиянии. Правда, тут мы уже покидаем твердую почву биографических данных и невольно вступаем в область предположений и догадок, хотя в высшей степени вероятных.

***

Прежде всего отметим, что в «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев упоминает о трех искушениях Христа в пустыне: искушении «хлебами земными» («обрати камни в хлебы»), искушении чуда («бросься с пропасти вниз») и искушении власти («поклонись мне и будешь царем земли»), — т. е. те самые искушения, которые станут во главу угла в «Легенде о Ве-

ликом Инквизиторе». Напомним, что сама «Легенда» была написана полугодом позже «Чтений». Придавая этим искушениям также и актуальное значение, Соловьев связывает их с социализмом и католичеством (напомним, что тогда Соловьев еще находился в славянофильствующем периоде и что его увлечение католичеством наступило позднее, уже после смерти Достоевского). Достоевский же связывает их с католичеством, хотя «Легенду» в свете событий 20 века можно истолковать, как предвидение тоталитарной коммунистической диктатуры. Сопоставляя эти факты, некоторые исследователи приходят к выводу, что Соловьев оказал влияние на «Легенду». В такой форме это утверждение представляется нам преувеличенным: основные взгляды Достоевского на католицизм успели к тому времени достаточно сложиться, и в набросках к «Бесам» упоминается и «третье дьяволово искушение» (власти). «Легенда» созревала в душе Достоевского еще до знакомства с Соловьевым. Однако, вряд ли будет преувеличением сказать, что целостное толкование Соловьевым трех искушений сыграло свою роль в окончательной композиции «Легенды» хотя бы в форме дополнительного толчка мысли. Вообще, известно, как чутко откликался Достоевский на созвучные его духу идеи. Духовная близость Достоевского и Соловьева довлеет здесь над влиянием одного на другого — оба стояли, к тому же, на общей славянофильской позиции. Но возможность частичного отражения «Чтений» в «Легенде» всё же весьма вероятна. Достоевский всегда нуждался в философском информаторе. Он сам был гениальный интуитивный философ, но остро чувствовал недостаток своего философского образования («шваховат я в философии, но не в любви к ней, — писал он, — в любви к ней я силен»). Роль такого информатора в 60-ые и в начале 70-х годов играл Н. Страхов. С 1877 года эту роль начинает играть Соловьев, ставший, однако, больше чем только информатором.

**
*

Второй вероятный след влияния Соловьева в творчестве Достоевского, это идея о «превращении государства в церковь», высказанная устами Ивана Карамазова во время беседы в монастыре. Напомним, что идея «свободной теократии» была высказана впервые Соловьевым еще в свободной от позднейших католических увлечений форме, сначала в «Философских началах цельного знания» (начало 1877 года) и затем — в докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», которая, к

слову сказать, печаталась одновременно с «Братьями Карамазовыми» в «Русском Вестнике» в 1879 году. Вот слова Ивана: «Не церковь должна искать себе места в государстве, а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне». — «Да что же это, в самом деле, устраняется государство, а церковь возводится в степень государства. Это — архиультрамонтанство. Это и папе Григорию Седьмому не мерещилось», — говорит Миусов. — «Совершенно обратно изволите понимать, — строго проговорил отец Паисий, — не церковь превращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение, а, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью во всей земле. От Востока звезда воссияет».

Напомним, что, по идее Соловьева, высказанной, повторяю, почти двумя годами раньше, идеал теократии формулируется, как свободное подчинение государства — церкви. Функции государства и церкви остаются различными, но в вопросах принципиального характера государство свободно подчиняется нравственному руководству церкви, так что, в пределе, государство становится церковью. Связь между теократическими идеями Соловьева и Достоевского несомненна и приоритет по времени принадлежит Соловьеву. Конечно, идея эта близка по духу православному мессианизму Достоевского, так что Соловьев как бы высказал то, что вытекало из взглядов самого Достоевского и что последний пережил и выразил глубоко по-своему. Близость духовного опыта, опять-таки, довлеет здесь над категорией «влияния». Поэтому термин «влияние» здесь лучше заменить словом «отражение».

Вероятность этой гипотезы подкрепляется тем интересным фактом, что сам образ Соловьева не остался без отражения в творчестве Достоевского. На это намекал сам Достоевский, и одно время принято было думать, что образ Соловьева послужил прототипом для образа Алеши. Но интересно, что Анна Григорьевна, уже после смерти мужа, опровергла это предположение и утверждала, что Соловьев послужил частичным прототипом образа Ивана. Это и гораздо правдоподобнее: во Владимире Соловьеве не было той простоты сердца, которая есть в Алеше и, главное, блестящий диалектик и философ, Иван, более сродни Соловьеву, чем смиренный Алеша. А если мы вспомним, что идея православной теократии вложена Достоевским в уста Ивана, который частноподобен образу Соловьева, то гипотеза об отражении соловьевской идеи теократии в твор-

честве Достоевского приобретет весьма высокую степень вероятности, граничащей с достоверностью.

Конечно, как всегда, Достоевский в творческом процессе переиначил и переосмыслил образ Соловьева, сделав Ивана атеистом, хотя и особого, не-материалистического склада: Иван верит в Бога умом, но не принимает Христа сердцем. Он принимает Бога, но не принимает «мира Божьего» и почтительно «возвращает» свой билет Господу Богу. Это указывает на то, что образ Соловьева послужил для Достоевского лишь первым отправным пунктом в создании образа Ивана, а не был его буквальным жизненным прототипом. В творчестве Достоевского много подобных аналогий переосмысливания прототипов. Так, образ Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах» списан с Грановского, но, опять-таки, творчески переиначен.

Во всяком случае, свидетельству Анны Григорьевны нет оснований не доверять. Но необходимо категорически отвергнуть версию, недавно предложенную проф. Андреевым в «Православной Руси». Ссылаясь на бесспорный теперь для исследователей факт частичного отражения образа Соловьева в образе Ивана, проф. Андреев делает отсюда заключение, якобы Достоевский «угадал» в Соловьеве скрытого атеиста. Этот домысел опровергается и жизнью и учением Соловьева, который мог заблуждаться в вопросах осуществления христианства на земле, но у которого нельзя найти и намека на «атеизм» или «бунт» против Творца. На основании предыдущего изложения можно смело утверждать, что и учение и образ Соловьева нашли свое частичное отражение в творчестве Достоевского.

***

До сих пор мы говорили преимущественно об отражениях Соловьева в творчестве Достоевского. Но, разумеется, и Достоевский оказал свое влияние на Соловьева. В этом влиянии нужно различать два аспекта: во-первых, влияние церковно-общественных взглядов Достоевского, высказанных им преимущественно в публицистической форме (особенно в «Дневнике писателя»), и влияние мистического опыта Достоевского, который нашел свое отражение в его романах.

Что касается первого, то явный след влияния Достоевского можно обнаружить в речи «Три силы» — этой первой публицистической речи Соловьева, произнесенной им в начале русско-турецкой войны (1877). В этой славянофильской по духу речи Соловьев говорит о России, как «третьей силе», про-

тивопоставляемой им западному либерализму и восточному деспотизму, которая единственная способна объединить человечество силой своего христианского смирения. Почти буквально пользуясь некоторыми выражениями Достоевского, он пишет: «внешний образ раба, доселе лежащий на нашем народе, только подтверждает его религиозное призвание, ибо та высшая сила, которую русский народ должен принести в человечество, есть сила не от мира сего и внешнее богатство и порядок относительно ее не могут иметь никакого значения». Здесь, в этом религиозном народничестве Соловьева нельзя не видеть следы влияния религиозного народничества Достоевского, который в «Дневнике писателя» проповедывал идею о преимущественно религиозном призвании русского народа, как народа «богоносца», в наиболее чистом виде сохранившего образ Христов. «Может быть, единственная любовь русского народа есть Христос», писал он в это время. Конечно, и Достоевский и Соловьев стояли здесь на платформе славянофильства, но обоим им чужда идиллия благополучной православной монархии, которой страдали классические славянофилы.

Может быть, Соловьев написал свои «Чтения о Богочеловечестве» не без бессознательного влияния культа Христа у Достоевского, что не исключает того, что и сами «Чтения» были преломлены затем в «Легенде». Интересно, что когда Достоевский в 1880 году присутствовал на защите Соловьевым докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», то его особенно поразила мысль диспутанта о том, что «человечество бессознательно и интуитивно давно знает то, что гораздо позже и по иному, в отвлеченных понятиях, познает философия». Поэтому понятно, что Достоевский обогащал Соловьева интуитивным мистическим опытом, в то время как Соловьев мог примером своего блестящего диалектического и архитектонического дара способствовать усовершенствованию философской техники «Карамазовых».

Вообще, поразительно, что, как это показал С. И. Гессен, основная идея «Братьев Карамазовых» и соловьевской «Критики отвлеченных начал», в сущности, одна и та же: — «церковь как общественный идеал» и критика основных соблазнов, стоящих на пути осуществления этого идеала. Ибо «свободная теократия» Соловьева в до-католической ее формулировке и «церковь как общественный идеал» Достоевского, это — различные аспекты одной и той же идеи. Говоря так, я имею уже в виду не столько взаимоотражения, сколько общность мировоззрения Достоевского и Соловьева. Эта общность с особой си-

лой проявится у Соловьева в его предсмертном и самом гениальном произведении «Три разговора», связь которого с «Легендой» несомненна. Но путь Соловьева от теократической утопии к апокалиптическим «Трем разговорам» вел через духовный кризис, и для осмысления связи между этими двумя изданиями русского Апокалипсиса необходимо дать краткий анализ общности и различий в мироощущении обоих.

Известный ключ к разгадке этой общности дают «Три речи» Соловьева о Достоевском. Я говорю «известный», так как речи эти всё же более показательны для самого Соловьева, чем для Достоевского; Соловьев подчеркивает только близкие ему стороны творчества писателя. В предисловии к «речам» и сам цитируя свою надгробную речь, Соловьев пишет: «Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека. Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения и эту же всепрощающую благодатную силу проповедывал он как основание для внешнего осуществления... царства правды». В первой речи Соловьев называет Достоевского предтечею нового, религиозного искусства. Интересно, что тема об отношении религии к искусству волновала самого Достоевского. Здесь можно узнать дорогую Соловьеву идею «свободной теургии», т. е. искусства, как орудия религиозной проповеди.

Во второй, главной речи Соловьев говорит, что Достоевский был весь обращен к будущему, что предмет его романов — не устоявшийся быт, а общественное движение. Он предугадывал повороты этого движения и судил их. Он имел на это право, ибо у него был общественный идеал — церковь. Западному атеистическому социализму он противопоставлял «русский социализм», основанный на вере в Христа и всемирном братстве народов во Христе. Настоящее христианство не должно быть только «домашним» и «храмовым», оно должно стать «вселенским». Интересно и показательно, что идея вселенскости была высказана Соловьевым именно в речах о Достоевском, который ту же идею выражал словом «всечеловечность». «Полнота христианства есть всечеловечество», писал Соловьев и вся жизнь Достоевского была горячим порывом к всечеловечеству. «Не хочется верить, чтобы эта жизнь прошла даром». Но «церковь как общественный идеал» есть только другое наименование для идеи свободной теократии. Таким образом, Соловьев ценит в Достоевском больше всего именно ту идею

теократии, на служение которой сам Соловьев отдал впоследствии наиболее зрелый период своей жизни.

Наконец, в третьей речи Соловьев говорит о вере в Богочеловека и Богородицу. «Усвоенная интуитивно и полусознательно русским народом со времен крещения, эта христианская идея должна стать основой для сознательного духовного развития России. Только связав себя с Богом во Христе и с миром в церкви, можем мы делать настоящее Божье дело — то, что Достоевский называл Божьим делом». И далее Соловьев приходит к выводу, что призвание России заключается в примирении Востока с Западом, православия с католичеством. Таким образом, мысль Соловьева развивается по трем этапам: теократия — всечеловечество — соединение церквей. Предпосылки, действительно, принадлежат Достоевскому (недаром он говорил в пушкинской речи, что русская идея — всепримирение идей). Но выводы принадлежат Соловьеву и нет сомнения, что Достоевский отшатнулся бы от них. Выводы сделаны логически безупречно, но в противоречии со взглядами самого Достоевского. Итак, православный мессианизм, поставленный на службу всечеловечеству — такова утопия Соловьева, которую разделял — если не в выводах, то в предпосылках, сам Достоевский.

Однако, Достоевский преодолевал эту утопию в своем творчестве, и особенно, в «Легенде», где ему предстала идея всемирной диктатуры. Путь же Соловьева от теократической утопии к апокалиптическим «Трем разговорам» шел через тяжелый внутренний кризис.

Это ставит нас лицом к лицу с основными проблемами христианского миропонимания, носителями и проповедниками которого были, по-разному, но и по-родственному, Достоевский и Соловьев. Их объединяла прежде всего общность христианского миропонимания в период, когда большинство русской интеллигенции переживало увлечение материализмом и атеизмом. Оба они деятельно и пламенно боролись с духом неверия. Оба они были противниками социализма и оба остро полемизировали против узко-моралистического толкования христианства, согласно которому христианская мораль — положительная ценность, мистическая же сторона христианства — мифологический предрассудок. В противоположность этому, оба они утверждали, что мораль без мистической основы христианства бессильна и отвлеченна. Соловьев посвятил целую главу в «Критике отвлеченных начал» осуждению «отвлеченного морализма» — веры в добро вне Бога, а впоследствии, в «Трех разго-

ворах», резко выступил против толстовства. Достоевский же прямо говорил: «Не мораль, не учение Христово спасет мир, а вера в то, что «Слово плоть бысть». Оба они славили образ Христа: слова Достоевского о «сияющем образе Христа» и его христологическая теодицея — высшее славословие Христу в художественной литературе. Соловьев в центр своего учения ставит идею «Богочеловечества».

Однако, между ними были и существенные расхождения: Достоевский как никто чувствовал темную силу зла, переживал мучительную борьбу веры и неверия, и центральное место в его мировоззрении занимает тема страдания, тема человеческой свободы и сатанинского зла — тема «теодицеи». Его «осанна» проходила через «горнило сомнений». В противоположность этому, Соловьев был настолько захвачен мистическим видением «миров иных», настолько погружен в чистый эфир божественного бытия, что склонен был недооценивать силу зла. По слову Мочульского, «один, — как Данте, хранил на лице копоть от адского огня и дышал грозовым воздухом страшного суда, другой — чистым эфиром грядущего царствия». Соловьев был христианский платоник, Ариэль религиозной философии. Поэтому и в своей метафизике он был склонен чересчур сближать Творца и тварь, он учил о Душе мира — святой Софии, «от века соединенной с Божеством и во времени соединяющейся с ним во временном процессе». Его мистические видения вечной женственности, конечно, ничего не имеют общего с земной чувственностью. Он преклонялся перед нетленной красотой Софии, а не перед грешной прелестью земной Евы. Всё же образ нетленной красоты Софии перевешивал в нем образ страдающего Христа, тайна воскресения иногда заслоняла для него тайну Голгофы. Но если учение Соловьева о Софии не есть ересь, оно должно быть всё же отнесено к категории «ложных мнений» по ряду богословских и философских соображений, главное из которых — уклон в пантеизм, чересчур тесное сближение Творца с тварью, приводящее к недооценке сил зла и недооценке человеческой свободы. Соловьев не болел идеей свободы, как Достоевский. Зло для него было лишь следствием сопротивления разъединяющей силы материи объединяющей силе божественной любви. Упрощая, можно сказать, что зло было для него лишь недостатком добра, а не коренилось в злой воле. Он был слеп к тому, что бл. Августин называл «libertas major» — к иррациональному своеволию, самообожествлению, как к иррациональному корню зла.

В этом, повторяем, он был антиподом Достоевского, кото-

рый по опыту знал иррациональный корень свободы и который в своих романах-трагедиях дал художественно-мистическое обличение тех соблазнов, которые таятся в бездонном дне свободы. По этой причине Соловьев в своих «Речах о Достоевском» почти не затронул главного, чем мучился Достоевский — проблемы теодицеи, вопроса о совмещении благости Божией со страданиями и злом, с человеческой свободой: — «проклятый» вопрос, на который сам Достоевский дает единственно-возможный ответ в «Легенде».

Под конец жизни сам Соловьев почувствовал эту слабую сторону своего учения. Дьявол, о котором он забыл в своем софийном пафосе, стал напоминать ему о себе, несколько раз являлся ему. Об этом мистическом касании «нижней бездне» он рассказал и в своих стихотворениях и в беседах с друзьями. И, наконец, в «Трех разговорах» он уже ребром ставит вопрос о зле: «Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само по себе исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазна владеющая миром, так что для успешной борьбы с ним нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?».

В этих словах нельзя не видеть осуждения Соловьевым своего прежнего морального оптимизма и признания реального существования «страшного и умного духа» зла. «Три разговора» написаны в форме диалогов, доступных мало-мальски образованному человеку. Ибо Соловьеву мало было создать новую религиозно-философскую концепцию зла, ему надо было «всенародно обличить дьявола», сорвать с него маску. Раньше его дух, как бы оторвавшись от души, преждевременно вознесся к созерцанию «миров иных», не подготовив всего своего существа к восприятию божественных тайн. Поэтому предсмертный кризис философа был как бы Немезидой этого отрыва воспарившего духа над еще неумудренным сердцем. Недаром старцы Оптиной пустыни дали о нем отзыв: «гордость самой себе неясная и шатание в корне». Они вряд ли повторили бы эти слова после «Трех разговоров». По своей мистической насыщенности, при духовной трезвости, «Три разговора» — произведение глубоко православное по духу.

Согласно новому убеждению Соловьева, история предстает ему не как эволюция человечества к добру, а как трагический процесс тяжбы сил добра и зла, оканчивающийся временной победой сил зла. Под конец жизни Соловьев пришел к убеждению, что Второму Пришествию будет предшествовать не вселенская теократия, а вселенская сатанократия, где люди,

пребывавшие в верности духу Христову будут гонимым меньшинством. Моральный оптимизм и богословский романтизм, одушевлявшие Соловьева раньше, были полностью изжиты им в последние годы жизни. Преображению неба и земли будет предшествовать временное торжество Антихриста, надевшего на себя маску мнимого человеколюбия и обнаруживающего свой подлинный, сатанинский лик лишь после того как он завладевает миром. Вспомним, что Антихрист выступает у Соловьева не как заведомый изверг, а как «благодетель человечества», хотя на самом деле он — религиозный самозванец, снедаемый ненасытной гордыней. Не простой эгоизм и не простое неведение, а злоупотребление свободой, самообожествление, нежелание знать истину Христову — являются главным источником зла. Эти идеи вполне созвучны идеям Достоевского, который еще в «Бесах» изобличил зло, не как простое неверие, а как «атеизм сердца», как горделивое самообожествление человеческой свободы. Также и его Великий Инквизитор верит в Бога лишь умом, но не приемлет правду Божию и истинного Сына Божия своим сердцем.

Духовные пути Соловьева и Достоевского шли по разным орбитам, хотя они имели и точки соприкосновения. Но под конец жизни орбита Соловьева особенно приблизилась к орбите Достоевского. Оказала ли «Легенда» Достоевского посмертное влияние на «Три разговора» — сказать трудно. Но духовное родство этих двух гениальных произведений несомненно. Как и «Великий Инквизитор» Достоевского, «Император» Соловьева сначала искренне мнит себя благодетелем человечества и убежден в том, что им движет мотив человеколюбия, в то время как он — жертва собственной адской гордыни. Он готов признать Бога, но не может молиться Христу распятому. Тайна Голгофы, принятие которой требует смирения, не вмещается в его гордую душу.

Может быть и раньше Соловьев прислушивался к интуиции зла у Достоевского — недаром на вопрос, что больше всего произвело на него впечатление в романах Достоевского, он отвечал: «некоторые места из «Бесов». Но во всяком случае под конец жизни Соловьев, подобно Достоевскому, узрел страшную силу зла, но, подобно Достоевскому же, хотя и глубоко по-своему, он не впал в уныние, а преодолел его непоколебленной верой в конечную победу правды Христовой, в свете которой рассеиваются, как дым, мрак и беснование злой стихии. Ибо, несмотря на явное разочарование Соловьева в

прогрессе морального сознания, несмотря на жуткое предчувствие пришествия Антихриста, «Разговоры» не оставляют впечатления безысходности. Как в настоящей трагедии, величие и значительность борьбы Бога с Дьяволом довлеет здесь над категориями счастья и бедствия. Как в настоящей трагедии, катастрофа преодолевается здесь катарсисом и радость о Господе превозмогает все человеческие скорби и ужасы. Таким образом, как видно, тема о Соловьеве и Достоевском, несмотря на ее частный характер, помогает вскрыть жизненные нервы мировоззрения обоих гениев.

В заключение мне хотелось бы отметить, что во многих кругах русской интеллигенции установилось какое-то неблагодарное отношение к Владимиру Соловьеву. Мыслитель, столько потрудившийся на ниве Господней, всю свою философию сделавший умственной литургией, — (недаром последние слова его были «трудна работа Господня») — создатель самостоятельной традиции русской философской мысли, отвергается и поносится теперь многими как «софиологический еретик», как будто этой — не ересью, а частичным заблуждением, исчерпывалась вся сущность его философии и его жизненного дела. Не забудем, что весь русский религиозно-философский ренессанс начала 20 века стоит под знаком Соловьева и под знаком Достоевского. Имеем в виду таких мыслителей как Н. Лосский, С. Франк, Н. Бердяев, о. Павел Флоренский, о. Сергей Булгаков и ряд других блестящих имен.

Именно Достоевский и Соловьев явились посмертными вдохновителями русского ренессанса. Не забудем также, что оба они являются литературными изгнанниками в условиях советской тоталитарной диктатуры. Достать сочинения Соловьева еще труднее, чем достать «Бесов». Не забудем, что если Достоевский — золото нашей литературы, то Соловьев — серебро нашей мысли. И поэтому сопоставление этих имен — не случайно и произвольно, а как бы символизирует высшие достижения русской духовной культуры.

С. Левицкий

ПРОБЛЕМЫ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

1

Когда говорят о еврейском национализме, — имеют в виду, в первую очередь, движение, которому Теодор Герцль впервые придал определенную политическую форму и направленность. Однако, движение созданное Герцлем не было *националистическим* в том смысле, в каком ныне употребляется это слово. Герцль принадлежит 19 веку. Этот век видел освобождение Греции, объединение Италии, два польских восстания, много других национальных восстаний и войн. Но ни Кошут, ни Траугутт, ни Мадзини и Гарибальди не были «националистами» в том особом смысле, какой придал этому слову 20-ый век. В те времена «национализм» означал восстание порабощенной нации против внешнего угнетения. В наше время национализм главным своим острием обращается против интернационализма и классовой идеологии известного типа.

Не только революционеры-мятежники 19 века, но и такие государственные деятели как Бисмарк, Сесиль Родс, строители французской колониальной империи, Авраам Линкольн, выковавший единство Соед. Штатов в самой кровопролитной гражданской войне 19 века, — не были националистами в нашем современном смысле. Революционеры-мятежники и государственные деятели прошлого века приводили в движение народные массы для достижения национальных целей. Сионизм Герцля, как и его ближайших продолжателей и преемников, был национальным движением: он апеллировал к народу во имя освобождения от гнета и достижения национальных целей. Но он не был националистичен, ибо не требовал от масс и отдельных деятелей квази-религиозного фанатизма, не был связан с утверждением особой национальной избранности или исключительности. Герцль ничего не имел против того, чтобы языком будущего еврейского государства был хотя бы немецкий; и трагическое противоречие сионизма и советизма еще не существовало в его время.

В конце 19 века историческое развитие с особенной

остротой поставило перед еврейским народом основную проблему его существования: проблему *сохранения жизни* — «survival». Национальная мысль искала выхода на путях ненационалистических. Некоторая часть евреев пробовала обойти проблему: считала, что евреи не народ, а религия. Существуют поляки, немцы, американцы, русские еврейского вероисповедания, а еврейского народа нет, и стремление восстановить его — ненужно и реакционно. Другая часть народа, — огромное большинство, — сознавая, что еврейство не исчерпывается одним конфессиональным признаком, понимала его, как наследие веков, которое существует силой факта, но не требует особой опеки, защиты, возведения в принцип. «*Тяжко быть евреем*» — говорили эти люди и несли свое историческое бремя без энтузиазма, ассимилируясь, насколько было необходимо, а иногда и больше, чем необходимо. Наконец, третья группа признавала положительное значение национальных ценностей, но строго разграничивала понятия «национальное» и «националистическое». Национальное — хорошо, национализм же — вреден. Народ проявляет себя в особой религии, литературе, музыке, труде, правах и обычаях, которые надо культивировать, любить и совершенствовать, и, конечно, — надо защищать право евреев на культурную автономию среди окружающих народов, но не создавать себе «фетиш» из еврейской особности. В конце-концов, некоторые (как М. О. Гершензон) договаривались до того, что видели национальную особенность евреев именно в том, чтобы не быть народом в обычном значении, чтобы противиться нормальным формам национальной жизни. На практике все эти учения, или взгляды, не могли остановить неудержимого разложения еврейской жизни.

Таков исторический фон, на котором зародилось и развилось герцлианство. Герцль предложил в высшей степени необычный, искусственный способ оживления замирающей национальной жизни — с помощью создания нового государства и переселения туда всех желающих. «Захотите, и это не будет сказкой!» Оказалось, однако, что одного желания было мало. На пути еврейского национального движения выросли огромные и непредвиденные трудности. В результате, национальное движение стало, с одной стороны, ослабевать в своем внутреннем напряжении, а с другой стороны, оно стало усиливаться, накаляться. — до степени принципиального «национализма».

Этот первый процесс — внутреннего ослабления — выразился в том, что сионизм принял характер «*рамы*». Цель сионизма, якобы, создать «раму картины» с тем, чтобы полотно, на котором должна быть создана картина, было передано художникам, свободным от национализма. Основоположник пролетарского сионизма, Бер Борохов именно так понимал сионизм. Марксизм — учил Бер Борохов накануне октябрьской революции — говорит о производственных силах и отношениях, но он забывает о «производственных условиях». Сионизм должен создать для еврейских масс нормальные производственные условия. Производственные условия — это рама картины. Другие говорили о «правовых условиях», а третьи удовлетворялись одной географической рамой, в стране отцов. Внутри этой рамы занимались живописью на разные лады: социальная революция, обновление религиозной жизни, религия труда, еврейское земледелие, новый тип еврейской молодежи, культурная работа. Можно было и вне Израиля говорить на иврите, построить еврейский университет. Но сионизм переносил все многообразные стремления еврейской национальной жизни в одно место, концентрировал их на исторической родине еврейского народа, с надеждой, что здесь они смогут развиваться свободно. Ведь был же Толстой национальным русским писателем, Шуберт национальным немецким композитором, а Ньютон гордостью английской науки, — без того, чтобы они были националистами. Сионизм даст раму, внутри которой будет развиваться еврейская культура, еврейская свободная жизнь в деревне и городе, не впадая в грех национализма. Сионизм, в этом понимании, никому не должен был мешать, никого не принуждать и никого не обижать. Он отказался от опасных притязаний, которые могли его ввести в опасный конфликт с Британской Империей, не настаивал больше на идеале самостоятельного государства, на массовой иммиграции, отказался от герцлианского сна о том, чтобы решить еврейский вопрос и ликвидировать Галут (рассеяние). Национальное движение скоро превратилось в огромное предприятие в обще-национальном масштабе, конструктивное, экономическое, культурное, связанное с очень реальными интересами, — но занятое прежде всего собой и неспособное принести спасение народу.

2

Поколение, духовным вождем и выразителем которого был Хаим Вайцман, много сделало в области строительства и организации еврейской жизни на мандатной территории Палестины, но от политического сионизма Герцля оно отошло далеко. Возникновение еврейского национализма в 20 веке связано с именем Вл. Жаботинского. Жаботинский основал еврейский национализм. До него были национальные деятели, мечтатели, проповедники, как Пинскер и Ахад-Гаам, искатели, колонизаторы. Жаботинский заслуживает имени первого еврейского националиста в прямом и точном смысле этого слова. Блестящий оратор, поэт и романист, рыцарь без страха и упрека, и джентльмен, — он без сомнения представляет собой самую романтическую фигуру, какую выдвинуло мировое еврейство в первой половине 20 века. В этом человеке, как и в Герцле, его учителе и вожде, были величие и стиль, гордость и полнота восприятия жизни, чуждые миллионам жителей еврейских местечек и гетто Восточной Европы. Отклик, который он получил от них, был невелик. Русская революция отрезала его от еврейских масс в России. Британская власть запретила ему в 1930 году въезд в Палестину. При всем том Жаботинскому удалось внести в еврейскую жизнь новое начало и создать движение, которое его боготворило и из его уст приняло мудрость жизни и политическую идеологию.

Чему учил Жаботинский еврейскую молодежь? Вещам, которые иногда были поразительно далеки от нее: — идее «панбазилейи», царственного величия каждого отдельного человека, — идее «гадар'а», эстетического идеала жизни, прекрасной во всех ее проявлениях, который, в сущности, представлял собой перевод на иврит древнегреческой «калокагатии», гуманизму и либерализму, — которые этот рожденный в 1880 году человек воспринял, как духовное наследие русской интеллигенции начала 20 века. Жаботинский вырос среди русской интеллигенции, и ее язык, из десяти языков которыми он владел в совершенстве, до конца его жизни оставался истинным языком его мысли и речи.

Эту часть его учения последователи Жаботинского усвоили плохо. Ревизионистская молодежь выросла в эпоху между первой и второй мировой войной в Польше, Прибалтике, центральной Европе, как в глубокой долине между двух гор ком-

мунизма и фашизма. Ни жалости, ни человеколюбия она вокруг себя не видела. От Жаботинского она прежде всего усвоила резкое и безусловное отрицание социализма. Жаботинский сделал своих последователей имунными к марксизму в любой его форме. Это принесло ему обвинение в фашизме. В глазах еврейской массы в Европе, не понимавшей ни его учения, ни собственного положения на краю гибели, особенно повредило ему несчастное совпадение коричневого цвета рубашек бетаровской молодежи с рубашками наци. В 1924 году, когда организовался «Бетар», союз националистической молодежи, коричневый цвет был избран, как цвет израильской почвы. Никто не думал в то время о растущем в Германии движении, но в будущем мундиры и антимарксизм этой молодежи заслужили ей имя «еврейских наци».

Бесполезно отрицать, что еврейский национализм в провинциальных кружках Польши и других стран часто казался каррикатурой и подражанием скверным образцам. Но не это было существенно. Солидаризм Жаботинского, его призыв к объединению всех классов для достижения общей национальной цели, сам по себе не был ни реакционным, ни фашистским, и вытекал из серьезности создавшейся ситуации. Хорошо или плохо, но сионизм основан на добровольном или вынужденном обстоятельствами сотрудничестве всех слоев и классов, партий и групп еврейского народа. Лучше делать добровольно то, к чему принуждает тебя логика истории.

Важнее, чем социальное учение Жаботинского была его политическая идеология, диагноз и прогноз еврейской трагедии в Европе, прямо противоположные оптимизму Вайцмана и официального руководства сионистской организации. Концепция Жаботинского в 30-ых годах выражается: «Либо вы покончите с Галутом (состоянием рассеяния), — либо он покончит с вами». Жаботинский рано увидел смертельную опасность уничтожения, угрожавшую миллионам евреев в Европе. У него не было никаких иллюзий. Его книга «Еврейское государство», написанная в 1936 году, содержит слова: «*Весь еврейский народ, во всем своем составе, катится навстречу небывалой, без прецедентов, катастрофе*». Слова эти, хотя находятся на 36 стр. еврейского издания, составляют мотто всей книги.

Другой ревизионистский автор в то же время писал: «Несчастье, угрожающее еврейскому народу, является чем-то аб-

солютно новым в его истории. Не гетто угрожает нам. Ибо гетто, при всех ограничениях, представляло в средние века еврейский резерват, оставляло евреям какое-то, пусть мизерное, место и определенные функции в экономике окружающих народов. Теперь угрожает нам не гетто, а абсолютное уничтожение». (Ю. Марголин, «Идея сионизма», Варшава, 1936).

Это не значит, что Жаботинский и его единомышленники предвидели темп и технику истребления, газовые камеры Гитлера. Но ощущение нестерпимого положения и безвыходного состояния еврейских масс в Восточной Европе было всеобщим в кругах еврейского национализма. Это движение требовало крайних, немедленных мер. Требовало создания вооруженной силы, восстания, эвакуации из Диаспоры и независимости в Палестине. Концепция Жаботинского была трагической. Он говорил не о мирном ренессансе, не об идиллии возрождающейся национальной жизни на полях и в кибуцах «национального дома», а о национальной революции, об экстраординарных отчаянных усилиях, которые должны быть сделаны в ускоренном темпе, в последнюю минуту, накануне страшной катастрофы. Он называл свой сионизм «большим» или «гуманитарным», и говорил о миллионах, ждущих спасения, — в эпоху, когда Еврейское Агентство не требовало от англичан больше чем 16.000 сертификатов и было довольно, когда после торгов получало 8.000 на год. Пропагандные палестинские фильмы того времени изображали идиллию: цветущие поля и счастливые детские лица на лоне природы, филантропический рай, отрешенный маленький мирок, вне всякого соответствия действительным размерам еврейской нужды и несчастья.

Не надо удивляться, что сионизм Жаботинского был принят в штыки еврейской общественностью. Он слишком противоречил не только навыкам еврейской мысли, но и многим реальным и воображаемым интересам в сионистском лагере и за его пределами. Как курьез, приведем статью, которой руководящий литературный журнал Варшавы на идыш «Литерарише Блетер» приветствовал приезд Жаботинского в Варшаву и его проповедь эвакуации в 1937 году. Статья называлась русскими словами «*Пошел вон!*» — и подписано было под ней имя известного литератора, переводчика «Капитала» Маркса на идыш. Предостережение Жаботинского принято не было. Национализм его был неприемлем или просто непостижим для миллио-

нов тех самых евреев, которым через 2-3 года предстояло позорное унижение, муки и смерть от рук нацистов.

3

Post factum очевидно, что рождение еврейского национализма произошло в условиях, которые делали неизбежным крайнее обострение национального чувства и превращение национального движения в националистическое. То, что было бы ненормально в нормальных условиях, становится понятным как реакция на ненормальные, чудовищные симптомы нарастающей катастрофы. Еврейская молодежь должна была сосредоточиться на национально-политических задачах, закрыть глаза и уши на всё, что не было связано с задачей спасения народа. И самое понятие народа должно было быть поднято на пьедестал, окружено культом; идея завоевания независимости, государственной суверенности, должна была быть выдвинута на первый план. В годы предшествующие катастрофе, в годы, когда темп событий нарастал слишком быстро, чтобы сознание масс могло поспеть за ним, — родился еврейский национализм, как попытка радикального решения проблемы: как уцелеть? Тогда явились в среде еврейской молодежи люди нового типа, каких не знали столетия трагической еврейской истории: фанатики, солдаты национальной революции, люди готовые жертвовать жизнью, как Шломо бен-Иосеф, первый пошедший на казнь как на праздник, а после него — Разиель, Штерн, Бегин с их последователями. Первым человеком этого нового типа был Иосиф Трумпельдор, создатель халуциаского движения, погибший на посту в 1920 году и вписавший в дневник пред смертью слова: *хорошо умирать за нашу землю*. Эта солдатская добродетель была чем-то новым для молодежи, — и без сомнения она была нова по сравнению с героизмом мирного труда, лишенного политических амбиций и только прикрашенного марксистской или другой фразеологией. Но, в конце-концов, Трумпельдор только перевел на иврит старое латинское: dulce et decorum est pro patria mori.

Еврейский национализм бросил вызов в борьбе за моральное первенство, за честь быть ведущей группой на данном историческом этапе еврейской истории. Вызов был брошен силе, которая до того не имела соперников. Вызов был бро-

шен еврейской социалистической молодежи, из рядов которой в царской России вышла Геся Гельфман, или позже Гирш Лекерт, а еще позже — кибуцники в синих блузах, эти «народники» Израиля. Чтобы понять значение этого нового поворота еврейской жизни, надо вспомнить, *что* было раньше, какие люди до того имели моральное первенство, были чтимы и любимы еврейской массой. В 19 веке это были филантропы, удачники, богачи с золотым сердцем, как барон Ротшильд или человек в цилиндре, сэр Мозес Монтефиоре, чей портрет находился в каждом патриархальном еврейском доме черты оседлости. А до того: — чудотворцы-раввины, цадики, герои Торы, исполины духа в тщедушном и хилом теле виленского Гаона или берлинского Мозеса Мендельсона. От людей мистически и пассивно уверенных, что «вечность Израиля не прейдет», до энтузиастов мировой социальной революции, призванной осуществить идеалы пророков всемирного братства, — дорога велика. Но не меньшее расстояние отделяет обе эти группы от поколения, воспитавшегося после первой мировой войны, воспринявшего урок двух революций, советской и немецкой, — и перешагнувших через черту: перешедших от национализма формы и рамки, от национализма языка и традиции, к национализму содержания и ясно поставленной политической цели: завоевание государства в кратчайший срок.

Национализм этот многих шокировал своим внешним сходством с националистическими движениями того времени в Европе. И он в значительной мере заслуживал упреки, которыми осыпали его враги и полудрузья. Угнездились в нем шовинизм, позерство, узость культурных запросов, поверхностность. Жаботинского, самого «цивильного» человека в мире, изображали собственные последователи с тяжелым квадратным подбородком Муссолини, которого у него не было, — или в виде «еврейского Пилсудского». Этот национализм был брутален, но что гораздо хуже, он часто лишь принимал позу брутальности, за которой скрывалась та же старая еврейская мягкость и аффектация... И конечно, — с самого начала он был раздвоен. Уязвленная гордость, униженность и оскорбленность еврейского существования компенсировали себя гиперболическим вызовом всему миру: «мы не такие, как все, — на нас печать избрания, мы первый народ мира!» —

Когда Теодор Лессинг между первой и второй мировой войной написал свою книгу о «Еврейской самоненависти»,

раввин Яков Тон отозвался резким порицанием: — «не самоненависть, а самовознесение, несокрушимая вера в свое назначение — вот что характерно для еврейского духа!» Но нет противоречия между обеими крайностями. В сионизме они встречались и выравнивались взаимно, там жестокая критика еврейской действительности беспрестанно сочеталась с фантастическим преувеличением еврейских сил и возможностей. Была в этом внутренняя необходимость, ибо человек, упавший ниже человеческого уровня, должен сделать особенное усилие, чтобы подняться. Его отрицание легко становится страстной ненавистью, а утверждение страстной и нетерпимой верой. В своем крайнем выражении еврейский национализм доходит до абсурда. Для Ури-Цви Гринберга, поэта национального максимализма, мир делится на две части: евреи и «все остальные». Окружающий мир — весь и навеки чужой и враждебный. Различия между «ними», между их демократией, фашизмом, коммунизмом, — не имеют значения, это различия не-еврейских идей. Мысль о том, что евреи могут составлять часть нееврейского мира — несбыточная ересь. Нет речи, чтоб Израиль стоял в ряду других народов. Его место либо ниже всех, либо выше всех, во всяком случае — отдельно. Ему вторит Израиль Шайб, экстатический националист: «Мы не знаем себя. Поистине мы больше и лучше всех. Еще сегодня мы народ 10-ти миллионов. А десять миллионов евреев стоят ста миллионов других. И еще сегодня нет нам равных по качеству и одаренности, по гениальности в науке, организации и ведении войны».

Это абсурд. Но за этим абсурдом, который приводит к проповеди невмешательства в «гойские» дела, потому что еврейская кровь слишком драгоценна, чтобы проливаться за западную демократию, как и за сталинский коммунизм, — за этой заносчивостью, — стоит страшный и горький опыт двух тысячелетий еврейской истории, в которой избиение 6 миллионов было только последней по счету катастрофой. История нас научила никому не верить, никому не доверять. В абсурдной форме здесь проявилась старая и мучительная еврейская вера в свою богоизбранность, которая из сферы религиозной перешла туда, где ей не место — в сферу политики. И с этим она теряет почву под ногами окончательно. Ибо религиозное отчуждение евреев среди окружающих было, по крайней мере, фактором сплачивавшим их в старые времена из конца в ко-

нец узами национальной солидарности, — тогда как политическое отчуждение крайних националистов в Израиле означает не только отчуждение от Запада и отчуждение от Востока, но и отчуждение от огромного большинства собственного народа и презрение к еврейскому государству в его существующей форме. Ури-Цви Гринберг призывал евреев любить друг друга: «будем сами себя любить великой любовью». И однако — именно его поэзия содержит концентрированное выражение ненависти, «гнева и обвинения» по отношению к большинству его современников, — а с другой стороны напрасно искать в ней какого бы то ни было отклика на судьбу евреев в странах коммунизма.

Ури-Цви Гринберг и Шайб только выразили с предельной силой ту раздвоенность, которая была свойственна еврейскому национализму со дня его зарождения. В «Автобиографии» Жаботинского мы находим характерный эпизод из времени его студенчества в Риме, в 1899 году: он знакомится с девушкой-итальянкой и стыдится признаться ей, что он — еврей.

Будущий вождь сионизма, проповедник национальной гордости, не хотел сказать девушке-христианке, что он еврей, потому что это значило «раб, сын порабощенного народа». Стыдно быть рабом, это унижает в собственных глазах. Еврейский национализм родился из жгучего чувства стыда, которого не знали прошлые столетия. Для прошлых поколений характерно было то, что Ницше назвал «spero se sperni» — презрение презираемых. Сам этот стыд уже был началом возмущения и бунта, но была в нем и мера признания, уважения к окружающему миру. Еврейский национализм исходил из острого чувства неполноценности еврейской жизни. Это не был только протест против антисемитизма, преследований и несправедливости. Это не было и оберегание прошлого, культ традиции. Он поставил себе целью восстановить утраченное достоинство еврея через восстановление достоинства еврейского народа. Восстановить же его можно было только созданием такого борющегося и гордого национального движения, которое смыло бы позор еврейского галутного существования.

Очевидно, по мере роста еврейской страны и успеха сионистской стройки эта противоположность презренной действительности и высокого идеала должна была смягчиться. Поколение, вырастающее в условиях еврейской государственности, без клейма гетто и бесправия, в массе лишено того мощного

психологического стимула, который вызвал к жизни галутный национализм. Его идеалы не так высоки, и его самоощущение не так болезненно. Здесь обнажается пред нами один из корней кризиса еврейского национализма наших дней. Точно так же и в Соед. Штатах миллионы евреев чужды той раздвоенности, которая когда-то родила понятия Галута (изгнания) и Геула — спасения через возвращение к Сиону. Для жителя Мединат-Исраэль «спасение» потеряло романтический ореол. Он уже «спасен»,—и нашел, что жизнь в собственном государстве особенного счастья или удовлетворения не приносит. Подобно этому для жителя Нью-Йорка не существует понятие Галута, и он не ощущает потребности в сионистском спасении. Так с двух сторон высыхает источник еврейского национализма, и становится необходимым его новое обоснование — ревизия ревизионизма.

4

Несчастием еврейского народа было то, что его освободительное движение пришло слишком поздно, в то время когда «национальный подъем» в духе 19 века был уже превзойден историческим развитием. Жаботинский имел пред своими глазами национальный порыв Италии, образ Гарибальди, и жаловался, что если бы этот человек действовал в его время, его бы сочли реакционером. Жаботинский имел о человечестве представление, как об архипелаге, где каждый народ — отдельный остров, и первое условие свободы — быть независимым от соседей. Эта «островная» концепция в наши дни больше не соответствует исторической действительности. В наши дни происходит смыкание народов вокруг универсальных идеалов и полюсов силы. Центральная задача нашего времени — создать формы мирового политического и экономического единства. Эту задачу по-разному решают системы западной демократии и советского коммунизма. Ни один народ больше не может изолироваться, не может отказаться от помощи и избегнуть влияния других, не может притязать на суверенность иначе как в границах некоторой международной системы. Империи 19 века с их колониальными владениями распались в 20 веке, чтобы уступить место таким международным образованиям, как Советский Союз, Восточный Блок, Атлантическая Уния, Британское Содружество. Лига Наций, а после нее Объединенные Нации представляют попытку приблизиться к универсальному идеалу, несовместимому с идеей чистого

национализма. Третья мировая война, которая подготовляется и уже ведется на разных участках мирового фронта, имеет характер идеологический и сверхнациональный. Невозможно представить себе ее в виде столкновения наций, так как она происходит внутри каждой нации и раскалывает народы.

Еврейский национализм наших дней имеет пред собой грозный пример и урок польского национализма 20 века. Жаботинский и Пилсудский приблизительно в одно время вышли на историческую арену. Против Пилсудского резко выступили польские революционные социалисты, доказывая, что восстановление польской независимости и невозможно и ненужно. На их доказательства Пилсудский ответил фактом создания польского государства в 1919 г. Он был прав 20 лет, — но в 1939 г. его национализм потерпел страшное крушение. Какой вывод можно сделать из этого? Что дело Пилсудского было напрасно? Что незаконно само стремление польского народа к независимости? Что польский национализм проиграл окончательно? — Нет, ибо наследство Пилсудского обязывает даже тех, кто посадил на его место Берута и Рокоссовского. Правильный вывод тот, что отныне никакой национализм не может надеяться на прочный успех, если не приведет себя в соответствие с новым и универсальным духом времени.

В деятельности Жаботинского бунтарский характер его идеологии, мысль о том, что можно решить еврейскую проблему (проблему самосохранения нации) с помощью ухода, обособления, изоляции — нейтрализовалась его органической демократичностью, европеизмом, широким культурным горизонтом. Жаботинский был человеком лучших традиций 19 века, поставленным в условия 20 века. Но созданное им движение не только заключало в себе ту раздвоенность, о которой мы упомянули выше, — т. е. несоразмерность душевных сил с огромными целями, — но и опасность культурного и политического извращения, как тень следующую за каждым узким и исключительным «только-национализмом». Со временем трагический контраст создался не только между кучкой восторженных энтузиастов и сопротивлением, которое они встретили в миллионных массах ослепленных или оглупленных евреев Восточной Европы. Еще больший контраст оказался между гуманитарной настроенностью Жаботинского и простецкой теорией о том, что успех сионизма решает *только сила* — военный удар, физическое превосходство. Это фашистское

преклонение пред силой было Жаботинскому чуждо. Жаботинский требовал создания армии, призывал молодежь «учиться стрелять», не боясь обвинений в «милитаризме». Но он никогда не предавался иллюзии, что военная победа есть то единственное, чего нам не хватает для победы сионистского дела, — как будто всё остальное: духовная зрелость, идейная ясность, национальная спаянность, — у нас уже есть.

В тридцатые годы еврейский национализм развивался под влиянием двух факторов. Один из них был — непосредственное воздействие личности Жаботинского, и через него — воздействие либеральной и европейской традиции 19 века, с ее благородством и рыцарством. Второй фактор был — давление кризиса на востоке и в центре Европы, воздействие гитлеризма, приближение катастрофы. 1940 год был годом смерти Жаботинского, а следующие три года — временем величайшего катаклизма, который уничтожил опору еврейского национализма, — те миллионы, к которым он обращался, в спасении которых видел миссию сионизма. В результате этой двойной потери центр тяжести национального движения перенесся в Израиль. Здесь с ним произошла особая метаморфоза. Родилось то, что Менахем Бегин назвал «военным сионизмом» в противоположность политическому сионизму Герцля и Жаботинского и «конструктивному сионизму» Вайцмана и Бен-Гуриона. Согласно новой формуле не мирным трудом и не дипломатическим соглашением, а силой вооруженного восстания решится победа сионизма. Выбросить англичан и усмирить арабов — «*рак ках*», только так будет спасен еврейский народ.

Примитивизм этой формулы был доказан событиями. Национализм был сужен до границ военной операции. Операция увенчалась успехом. Англичане отступили. Арабы были разбиты. Возникло еврейское государство. И в результате лагерь сторонников Жаботинского не только не восторжествовал, но и распался в кратчайший срок. В известном смысле М. Бегин оказался не продолжателем, а ликвидатором дела Жаботинского. Ревизионистская партия, основанная Жаботинским, была им фактически уничтожена. Партия Бегина не только получила новое имя, но и переродилась внутренне до такой степени, что в ней можно видеть сегодня почти противоположность тому, что хотел и любил Жаботинский.

Конечно, только очень немногие из современных «про-

должателей» Жаботинского согласятся с такой оценкой. Они вполне убеждены, что имеют право называть Жаботинского своим учителем, несмотря на то, что его либерализм и анархический индивидуализм им чужды или в лучшем случае — безразличны. Зато они сохранили ему верность в другом отношении. Сохранили лозунг о «двух берегах Иордана», его непримиримость ко всем другим сионистским партиям и агрессивность — на словах, если не в методах действия. Культ Жаботинского сохраняется среди еврейских националистов, но с каждым годом увеличивается расстояние между ним и новым поколением, которое его не знало и вырастает в совершенно новых условиях.

Тель-Авив, 1955 *Юлий Марголин*

ПРАВО УБЕЖИЩА

I

В текущем году 11-го февраля исполнилось десять лет «Соглашению относительно военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками, находящимися под советским командованием, и войсками, находящимися под командованием Соединенных Штатов Америки». Того же числа аналогичное соглашение было заключено с Соединенным Королевством Великобритании. А 29 июня 45 г. — между Францией и СССР, куда ездил ген. де Голь, которому никак не давали покоя лавры Рузвельта и Черчилля.

Соглашение об «освобожденных военнопленных и гражданских лицах» опубликовано в «Нью-Йорк Таймс» от 17 марта среди прочих документов о ялтинской конференции (стр. 64 и 77). Однако, в огромной литературе, уже порожденной материалами о Ялте, «Соглашение» и всё то, чем оно сопровождалось, особого отклика в иностранной печати не вызвало. Тем необходимее привлечь к нему внимание российского общественного мнения.

Соглашение состоит из 9 статей и с первого взгляда не содержит в себе ничего криминального, если забыть, что одним из контрагентов его было советское правительство. В самом деле, что казалось бы было рискованного в статье 2-ой, где говорилось: «Советские и американские уполномоченные по репатриации будут немедленно допускаться в сборные лагери и пункты размещения граждан своей страны и они будут иметь право назначать там внутреннюю администрацию и устанавливать внутренний распорядок и управление в соответствии с воинскими порядками и законодательством их страны»? Или в том, что «враждебная пропаганда, направленная против договаривающихся сторон или против любой из Объединенных наций, не будет разрешаться»? Могли ли американцы себе представить, *чем* и *как* обернется эта статья или, например, ст. 7-ая, в которой говорилось: «Договаривающиеся стороны каждый раз, когда это будет необходимо, используют все возможные средства для того, чтобы обеспечить эвакуацию в

тыл этих освобожденных граждан... Передача никоим образом не может быть задержана или отложена вследствие требований их временного использования».

В самом «Соглашении» нет ни слова о *насильственном* возвращении «освобождаемых». Но практически оно стало именно таким с первого же момента вторжения и продвижения победоносных советских армий в пределы Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Наступление происходило иногда столь стремительным темпом, что заставало врасплох и местные власти, и находившихся на приграничной территории кандидатов на «освобождение». В № 32 «Нов. Журнала» дано описание одной из «прочесок», которую производили «работники» МВД, МГБ и СМЕРШ уже в марте 45-го года близ г. Шверина. Многие из «освобождаемых» предпочитали смерть физическим и моральным мукам: «можно было видеть мертвых, истекших кровью после вскрытия вен, висящих на деревьях... Десятки людей бросались в озеро, а еще большее число репатриантов, одолев гору и охрану, бежало назад, в западные зоны Германии».

Это происходило на территории врага, где советское командование и чекисты распоряжались, по праву победителей, никого ни о чем не спрашивая и ни с чем не считаясь. Соглашения, заключенные в Ялте 11-го февраля, дали советской власти возможность и на оккупированной демократическими государствами территории действовать так, как она действовала «у себя».

Понятны мотивы, которые руководили Кремлем в безжалостной погоне за «своими» людьми, что можно сравнить лишь с погоней Гитлера за не-арийцами. По слову Сталина, советских пленных вообще не могло быть: советские бойцы кончают самоубийством, но в плен не сдаются, — только изменники родины и «бандиты» могут оказаться военнопленными. Но эти «изменники» подлежали возвращению в страну социализма, ибо они могли оказаться источником осведомления капиталистического мира о том, что происходит в СССР. К тому же расправа с набравшимися вольного духа за пределами СССР должна была послужить уроком для возможных в будущем «изменников». Наконец, необходимое увеличение рабочих кадров в концлагерях и на разных «стройках» также оправдывало любые меры по репатриации «освобожденных» военнопленных.

Мотивы западных держав были менее сложны и более элементарны. Они прежде всего просто-напросто не понимали, в чем вообще заключается проблема: возвращение на родину

военнопленного, тяга домой им представлялась более чем естественной, присущей каждому человеческому существу. К тому же репатриация избавляла оккупационные власти от лишнего человеческого баласта и забот о нем. А скорейшее и полное удовлетворение требований советской власти, товарища по оружию, открывало возможность заняться настоящим делом, связанным с оккупацией: денацификацией, воспитанием новой Германии, налаживанием ее экономики и т. д.

Точности и справедливости ради надо сказать, что некоторые американцы из наблюдавших советскую практику на месте своевременно предостерегали свое правительство относительно подлинных целей Сталина. Они указывали также, как следовало бы им противодействовать. Такими прозорливцами, видевшими дальше и глубже других, были посол Харриман и военный атташэ ген.-майор Дин. При своем чрезвычайно благожелательном отношении к России и ее народу, оба наблюдателя правильно расценили двулично-враждебное отношение Советов к союзникам. «Нам следует перестать лезть к ним, мы должны заставить советские власти придти к нам», — рекомендовал ген. Дин[1]. А посол Харриман посвятил вопросу о репатриации последний, 13-ый, пункт своего меморандума от 10 января 45 г., представленного государственному секретарю Стетиниусу. На основании данных советской печати Харриман писал: «Большой интерес проявлен (советским правительством) к возвращению всех категорий советских граждан..., особенно тех, кто обнаружены среди захваченных союзниками немецких сил. Была создана специальная комиссия для быстрого осуществления репатриации. Проявляется крайняя чувствительность к отталкиванию многих лиц из этой категории от перспективы возвращения, равно как и к поощрению, которое, как передают, иностранные власти оказывают таким настроениям. Сообщения в печати об оказанной репатриантам теплой встрече не совпадают с тем, что сообщают

[1] Что ген. Дин отлично разбирался в советской психологии и политике, следует не только из меморандума, представленного им 2 декабря 44 г. начальнику штаба американской армии ген. Маршаллу (Нью Йорк Таймс от 18 марта 53 г., стр. 8). О том же свидетельствует его книга «The Strange Alliance: the Story of Our Efforts of Wartime Cooperation with Russia». 1947. См. также его статью в сборнике «Negotiating with the Russians» 1951. По иронии судьбы под Соглашением 11 февраля 45 г. о репатриации подпись ген. Дина стоит рядом с подписью ген.-лейт. Грызлова.

наблюдатели посольства, эти сообщения, повидимому, имеют целью только устранить подозрения еще находящихся заграницей советских граждан» (Нью Иорк Таймс от 18 марта, стр. 8).

Но предостережениям прозорливых наблюдателей Вашингтон не внял, и, по умыслу одних и недомыслию других, катастрофа, повлекшая за собой тысячи смертей и обрекшая на пытки и муки миллионы, разразилась. История этой массовой трагедии еще не написана.

Война еще не кончилась, а Объединение начальников штабов в Вашингтоне и Верховная Ставка союзных войск (SHAEF) уже в апреле 45 г. были озабочены тем, чтобы репатриация была произведена безотлагательно, «невзирая на личное желание», хотя бы и путем насилия над «освобожденными». И насилие вошло в практику. Линц, Дахау, Пассау, Кемптен, Платлинг, Бад-Эйблинг, Сант-Вейт, Марбург, Римини, Пиза и т. д. стали местом военных операций. Безоружных людей, женщин, детей, стариков хватали и передавали советским «освободителям». Нередко пускалась в ход американская и английская пехота с резиновыми дубинками, автоматами и пулеметами, а то и мотоциклисты и танки. Случаи самоубийств среди репатриируемых были так часты, что в союзной переписке возникло условное для того обозначение — «Operation Keelhaul» (протаскивание под килем корабля служило в былые времена наказанием в британском и голландском флотах, и пыткой, которой подвергались пираты). Выдача производилась не только на вражеской территории, оккупированной американцами и англичанами, но и на территории победителей — в столице Франции и даже в Соединенных Штатах, из лагерей в Айдахо и Нью Джерси[2].

---

[2] См. во многих отношениях интересную и даже сенсационную статью Юлиуса Эпштейна «Как мы влекли многих несчастных к смерти» в «The American Legion Magazine». Декабрь 1954. С некоторыми сокращениями и в то же время дополнениями то же напечатано под заглавием «Мы выдали два миллиона Ди-Пи красным вешателям» в «Sonntagsblat Staats-Zeitung und Herold». Нью Иорк 2 января 1955. В сокращенном виде эта статья появилась в «Нов. Р. Слове» 13 января. Автор цитирует письмо к нему сенатора Лимана в котором бывший директор УНРРА сообщает, что еще в 1944 году «Россия пыталась настоять на насильственной репатриации советских граждан». Юлиус Эпштейн получил широкую известность опу-

Командовавший 7-ой американской армией в Германии ген. Пэтч отнесся отрицательно к насильственной выдаче и 25 августа 45 г. затребовал определенных инструкций от своего начальства. 20 декабря того же года от Объединения начальников штабов в Вашингтоне последовало предписание производить репатриацию неукоснительно, не останавливаясь перед применением силы в отношении к 1) захваченным в германской военной форме, 2) к воинским чинам и 3) к обвиняемым в военных преступлениях по представлении советскими властями доказательств, когда, где и какого характера было преступление. Эта директива Вашингтона на месте была истолкована американским командованием — за подписями генерала Джозефа Т. Мак-Нарней и бригадного генерала Л. С. Острандера — и осуществлена в гораздо «более возмутительном по жестокости» виде.

Точное число репатриированных по сей день не установлено. Не установлено, сколько приходится на «освобожденных» военнопленных и сколько на гражданских лиц. По данным УНРРА, за время «между концом войны и осенью 1945 г.» это учреждение содействовало репатриации до шести миллионов человек[3]. Глава советской репатриационной миссии в начале сентября 45 г., подтвердил, что с конца войны в советскую Россию репатриировано пять миллионов — военнопленных и гражданских лиц[4].

Наиболее жестокой была репатриация в первые месяцы

бликованием расследования о массовых убийствах в Катыни, что вызвало официальное обследование американским Конгрессом этого преступления. Эпштейн подчеркивает, что американские власти до сего дня сохраняют по всей линии упорное молчание о бесчеловечных деяниях, имевших место по их попустительству и приказу в 45-47 годах. «Вероятно только Конгресс (и его расследование) может сломить это молчание», говорит Эпштейн. — Член Конгресса Бош внес 3 мая соответствующую резолюцию в Палату Представителей.

[3] «The History of UNRRA». Columbia University Press. New York, 1950. — II, стр. 515.

[4] «The Refugee in the Post-War World» by Jacques Vernant. London. P. 84.

Автор деликатно отмечает в сноске: «Хотя Соглашения не содержали постановлений о принудительной репатриации, повидимому (?), не все репатриированные вернулись в Советский Союз по своей свободной воле».

после войны, в период еще непотревоженной дружбы Запада с СССР. Когда последний стал всё беззастенчивее обнажать свои клыки, дружба без взаимности стала постепенно охлаждаться, и насильственная репатриация начала встречать противодействие. К концу 47 года она окончательно исчезла. А в начале марта 49 года, после длительной переписки между американским генералом Клеем и маршалом Соколовским, репатриационная комиссия вынуждена была и вовсе убраться из оккупированной американцами зоны. Советской власти пришлось отныне довольствоваться эпизодическими набегами на оккупированные американцами и англичанами зоны, чтобы похитить особо ей желательных лиц.

Вспоминая сейчас события, которые имели место десять лет тому назад и которые навсегда останутся позором в истории человечества, поучительно взглянуть, каким было на протяжении веков право убежища и как проблема экспатриации (эмиграции и беженства) и репатриации ставилась в законодательстве.

2

История права убежища принадлежит к той категории явлений, которые заставляют усомниться в человеческом прогрессе, — не в прогрессе техники, а *человечности* нравов и политической морали, находящих свое выражение в государственном и международном праве и в соответствующих учреждениях. В общей истории права и в истории права убежища в отдельных странах можно проследить две борющиеся между собой тенденции. За последние десятилетия регрессивная и анти-гуманная тенденция всё решительнее одерживала верх повсюду.

История права убежища есть история эволюции понятия о том, *кому* принадлежит это право и *при каких обстоятельствах* оно предоставляется. Соответственно менялось и содержание этого права. Моисеево законодательство, греки, римляне, христианство средних веков одинаково знали места убежища, в которые мог укрыться преступник, если акт совершен им не предумышленно, а случайно. Такими местами служили специально для того указанные города* или храмы, статуи язы-

---

* «Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать ту-

ческих богов, алтари и церкви. При Константине все христианские церкви служили убежищами для преследуемых судом или бегущих от насилия. В 431 году император Феодосий распространил эту привилегию на судебные здания, публичные сады, бани и дома принадлежащие церкви.

В античное время и в средние века убежище предоставлялось для спасения от частного отмщения и государственного возмездия. Убежище предоставлялось иноземцам, рабам и свободным людям. Право убежища покоилось тогда на религиозном основании, хотя верования людей были разные. Религия носила местный характер, и своих богов имели не только различные народы, но иногда и отдельные города — в Греции. Религиозное основание придавало праву убежища местный или территориальный характер. Отказ выдать укрывшихся на чужой территории служил с незапамятных времен поводом для столкновений и войн. В Книге Судей, глава XX, говорится, что колено Вениаминово подверглось нападению и истреблению за то, что отказалось выдать или подвергнуть наказанию укрывшихся на его территории преступников. И в Греции на том же основании происходили стычки и войны между спартанцами, ахеянами, мессенцами и др.

Как правило, право убежища предоставлялось нарушителям общего права, то-есть уголовным преступникам, и не распространялось первоначально в столь же безусловной форме на политических беглецов. В первобытных обществах политическое преступление считалось особо тяжким и непростительным. Такого рода преступник считался провинившимся перед Богом и государством и обрекался на смерть, труп его выбрасывали, потомки несли клеймо бесчестья, а имущество подвергалось конфискации.

Водворение за пределами отечества считалось спартанцами величайшим преступлением против государства. Не дозволяя чужеземцам становиться спартанцами, они не дозволяли и спартанцам становиться гражданами других городов-республик или государств. Это воззрение воскресло через две тысячи лет в практике тоталитарных государств. Впрочем, и в англий-

---

да всякому убившему человека неумышленно». Книга Чисел, Гл. XXXV, ст. 15.

Еврипид говорит в 421 г. до Р. Х.: «...и дикий зверь находит убежище в скале, раб у алтарей Богов, и городское население, потрясенное ураганом, бежит за пристанищем в какой-нибудь соседний город». «Просительницы», ст. 267-269.

ском законодательстве начала 17-го столетия отказ от английского подданства и принесение присяги другому государству считались государственной изменой. И французские эдикты Людовика XIV (1669-1715 гг.) строжайшим образом воспрещали водворение заграницей без специального разрешения короля. По русскому Уложению 1649 г. (глава VI, ст. 4), тот, кто покидал страну, даже для коммерческой надобности, без письменного на то разрешения, должен был быть «бит кнутом, чтобы другим неповадно было». И в наши дни советский декрет 8 июня 1932 г., действующий и поныне, карает смертью и конфискацией имущества неудавшееся покушение на оставление СССР без разрешения власти; при осуществлении же такого побега — каре подлежат ближайшие родственники покинувшего «социалистическое отечество».

Одновременно в тех же греческих республиках, а в средние века в итальянских княжествах существовал институт остракизма, или формального изгнания из отечества, как средство расправы с политическими противниками. И в те же античные времена таким изгнанникам предоставляли приют и убежище другие города-республики. Так остров Делос прославился тем, что давал приют коринфянам, преследуемым всемогущим Римом, и расцвёл обогащенный коммерческим опытом и навыками иммигрантов.

Древний Рим был беспощаден к политическим врагам — даже побежденным. Он безжалостно преследовал их. Никакое убежище не было достаточно надежным для прегрешивших против Рима и его законов. Уделом политического противника была смерть. Нарушителя же общего права ждала более мягкая судьба: если ему удавалось избежать расправы на месте, изгнание, отлучение от воды и огня и конфискация имущества считались достаточной карой. Выдачи его не требовали. С падением Рима и распадом его государственного единства на множество конкурирующих властей — светских и духовных — право убежища стало более широким и доступным. Религиозный момент продолжал доминировать. Еретик и неверный стали синонимами врага, подлежащего преследованию со стороны епископа и государя, князя и сеньора. Но еретики для одних оказывались правоверными для других. И гонимые получали приют в соседних городах или княжествах, при чем иногда возвращались к себе на родину триумфаторами. Кто только не изведал изгнания из-за верности своим убеждениям? «Божественная Комедия» Данте осталась вечным памятником таким скитальцам, вынужденным покинуть родину.

«Nunquam revertar», — ответил Данте на вторичное предложение флорентинских властей вернуться на родину под условием публичного раскаяния и уплаты штрафа. Изведал изгнание и основоположник доктрины международного права Гуго Гроций.

В разные эпохи одни и те же страны служили то странами изгнания, то местом приюта. В 14-м веке из Голландии бежали в Англию лолларды, а в 16-ом — жертвы герцога Альбы. И та же Голландия служила убежищем для евреев, изгнанных из Испании и Португалии в 15-ом веке, для Кальвина и Цвингли — в 16-ом, для французских гугенотов — после отмены Нантского эдикта (1685 г.). «Моравские братья» второй половины 15-го века эмигрировали в Венгрию и Польшу. А из Венгрии и Польши в течение веков шли эмигранты в разные страны старого и нового света по мотивам уже не столько религиозного, сколько политического и социального порядка. Та же Англия, которая в течение веков давала приют беглецам со всех концов мира, в 13-ом веке изгнала из своих пределов евреев, в 17-ом вынудила покинуть родину многих пуритан, в 19-ом — еще большее число ирландцев.

С эпохи религиозных войн почти каждое поколение знало уходивших в изгнание по различным мотивам и часто перекочевывавших из страны в страну в поисках лучшей жизни. Изгнанники эти иногда вызывали дипломатические и даже международные осложнения, но они не создавали особой социально-юридической проблемы. За очень редкими исключениями политические и религиозные беглецы не утрачивали своего подданства и личного статуса и часто даже в местах убежища продолжали подвергаться попыткам преследования со стороны власти, от которой они ушли. Лишение подданства в качестве карательной меры было почти неизвестно, — может быть, потому, что сделало бы подданного недосягаемым для преследования в месте его нового водворения. Когда молодой император Австрии Франц-Иосиф в послании парламенту 29 декабря 1850 г. угрожал лишением подданства всем, участвовавшим в революционном движении в Ломбардии и Венеции, если они не вернутся в пределы империи, — это было воспринято, как совершенно необычная и невозможная мера Она вызвала возмущение общественного мнения и дипломатические протесты.

Пребывание изгнанников за пределами отечества не подвергалось специальной регламентации, и его срок часто определялся сроком падения режима, от которого эти люди бежа-

ли или который подвергал их изгнанию. Очень часто изгнанники встречали сочувствие со стороны населения страны убежища. Найти занятие, службу, работу было тем легче, чем моложе была страна. Свободные земли ждали освоения и обработки: пришлый труд способствовал экономическому развитию и процветанию страны. Власти такой страны оказывали всяческое содействие новоселам-эмигрантам, покровительствовали им и содействовали привлечению новых.

Радикальный сдвиг в идее права убежища обозначился в конце 16-го века — в связи с признанием и укреплением принципа абсолютного и непроницаемого суверенитета. За правом убежища стали отрицать его религиозное основание. Его признали несовместимым с правом суверена-феодала, князя, короля, императора, а потом и безличного суверенного государства — на безусловный и неограниченный контроль над всеми сторонами жизни ему подвластных. Пережитки этих взглядов, имеющих более чем трехсотлетнюю давность, сохранились в советской доктрине, поскольку она отрицает за предоставлением убежища какой-либо формально обязательный характер.

Отказ в предоставлении убежища мотивировался и началом международной солидарности, диктовавшей всем государствам обязательство содействовать друг другу в борьбе против нарушителей общего права, в преследовании и наказании их. Наряду с этим постепенно стало утверждаться в правосознании, а отчасти и в положительном праве — уголовном и международном, — признание права убежища за пострадавшими за свои убеждения, главным образом, религиозные. Из долга человеколюбия или сочувствия единоверцам и единомышленникам предоставление убежища превращается в средство избежать раздора и сохранить порядок. Положительное право вынуждено считаться с назревшей потребностью, и в международных договорах, уже в 16-ом веке, появляется упоминание о jus emigrandi по мотивам религиозным. В 17-ом веке право покинуть отечество — коррелят права убежища — получает формальное признание уже не только как средство охранить религиозную свободу, но и как средство сохранить былую национальность и гражданство при аннексии или уступке территории в итоге войны. В 18-ом веке Жан-Жак Руссо и Томас Джефферсон признали свободу экспатриации или эмиграции прирожденным и неотчуждаемым правом человека.

В Соединенных Штатах благосклонное отношение к беженцам и иммигрантам стало прочной традицией. Это соот-

ветствовало существу и природе нового государства, в значительной мере создававшегося благодаря религиозно-политическому изгнанничеству из других стран. Начиная с появления в Америке отцов пилигримов и пуритан Соединенные Штаты создавались как результат сочетания бесконечного ряда исповеданий, сект, этнических групп, политических группировок. Все граждане США, за исключением индейцев, либо беженцы, либо потомки беженцев. «Помните всегда, что все мы потомки эмигрантов», — говорил президент Рузвельт во время войны. А президент Айзенхауэр, в связи с проектом создания музея иммиграции у статуи Свободы, напомнил: «Мы — нация наций. Наши отцы пришли сюда из всех стран, и наша сила выросла из разнохарактерности иммиграции».

То, что США явились местом убежища для гонимых и преследуемых, стало одним из элементов так называемого «американизма». Это ведет свое происхождение еще от Декларации Независимости 1776 г. Разные президенты покровительствовали различным группам эмигрантов: Джефферсон — французам; Джэксон — полякам, немцам и ирландцам; Полк, Тэйлор и Пирс — немцам, ирландцам и мадьярам; Грант — кубинцам; и т. д. С другой стороны, были и президенты — оба Адамса, Монро, Бьюкенэн, — не слишком долюбливавшие даже свои религиозно-этнические меньшинства.

19-ый век пришел к единодушному отрицанию права убежища для уголовных и признанию его только за преследуемыми по политическим или идеологическим мотивам. Но это признание исходило главным образом со стороны независимого общественного мнения, а не законодательств, которые только в порядке исключения признавали право убежища за политическими. Правда, и в 16-18 веках политические изгнанники появлялись на чужой территории, но убежищем они пользовались только в порядке фактическом, а не правовом. Редким исключением, сохранившимся в анналах истории, был упорный — в течение 20 лет — отказ крошечной, но свободолюбивой Швейцарии выдать английскому королю Карлу II убийц его отца, которые укрылись в Берне.

Международные договоры о выдаче преступников появились в тридцатых годах 18-го столетия. Они не делали различия между уголовными и политическими правонарушителями. Это продолжалось в течение столетия, пока договор между Францией и Швейцарией 1831 г. впервые не исключил из числа подлежащих взаимной выдаче лиц совершивших политические правонарушения. Это исключение стало впослед-

ствии как бы общим правилом-оговоркой, включавшейся в международные договоры и законы. В 1833 г. Бельгия издала закон об убежище для политических беженцев. И Соединенные Штаты в доктрине и законодательстве признали, что согласия правительства вовсе не требуется для того, чтобы гражданин по своей охоте мог экспатриироваться и стать гражданином другой страны. Конгресс США признал 27 июля 1868 г. право экспатриации «правом присущим каждому» и «противоречащими основным принципам государства всякую декларацию, инструкцию, мнение, приказ или решение правительственного чиновника, которые отрицают, ограничивают, ослабляют или ставят под вопрос право экспатриации»[5]. Британский акт о натурализации 12 мая 1870 г. отнесся также положительно к праву экспатриации.

В 20-м веке выдача политических преступников практиковалась далеко не всегда. Самодержавной России отказывали в такой выдаче и Франция (дело Гартмана), и Италия (дело Михаила Гоца), и Англия (дело Максима Литвинова). А после версальского мира стали всё чаще отвергать право экспатриации. По мнению бывшего заместителя государственного секретаря Сомнер Уэлса, это объяснялось обострением национализма, «непросвещенным самоутверждением», — и в частности, стремлением правительств сохранить у себя возможно больше людского материала для военной службы. Юридическая доктрина пошла в этом же направлении за правительственной политикой. Стало принято — даже среди крупных научных авторитетов — говорить о праве убежища, как «так называемом» праве[6].

Предоставлению права убежища стали приписывать юридический характер лишь в той мере, в какой подчеркивался абсолютный суверенитет государства, — его неограниченное право не допускать вмешательства в свои дела со стороны других государств. Даже такой радикальный юрист, как фран-

---

[5] «A Digest of International Law» by John Basset Moore. — 1906. Pp. 562 & 580. Существует, впрочем и другое понимание «американизма». Ellery C. Stowell в «Intervention in International Law», 1921, p. 243 утверждает, что «в общем Соединенные Штаты склонялись к поддержке мнения, отвергающего предоставление убежища политическим».

[6] L. Oppenheim «International Law: A Treatise». — 1905. V I, 371-372. — George Crafton Wilson «Handbook of International Law». — 1927. P. 113.

цузский интернационалист Жорж Селль, и тот считал, что право убежища «теоретически незащитимо в международном праве; оно оправдываемо в международном праве с гуманитарной точки зрения, lato sensu, потому что предоставление убежища, в конце концов, является формой интервенции»[7], — а интервенция для французского «радикала», воспитанного на традиции «принципов 89 года», и через полтораста лет продолжала оставаться табу.

Внимание доктрины и законодательства сосредоточилось на редких случаях предоставления права убежища в помещениях легаций, консульств, на судах или в портах. Такого рода убежище толковалось, как гуманитарное по мотивам и временное по своему характеру исключение не только из договоров о выдаче преступников, но и из общих предписаний международного права. Государственный департамент США неоднократно заявлял, что, не признавая права убежища в тесном смысле слова, иногда возможно предоставить «временное убежище». Консульская конвенция между США и Кубой, подписанная в Гаване 22 апреля 1926 г., устанавливала категорически: «консульские бюро не будут служить местом убежища» (ст. 8). Конвенция не делала исключения или оговорки относительно политических правонарушителей. На 6-ой международной американской конференции в Гаване 20 февраля 1928 г. была принята специальная конвенция о праве убежища, которая предоставляла его «в неотложных случаях и на время необходимое для того, чтобы лицо, ищущее убежища, могло найти другой путь к спасению»[8].

Отрицательное отношение к праву убежища со стороны доктрины и законодательств дожило до нашего времени. Даже либеральные кодификаторы международного права чаще придерживались такого взгляда[9]. И не одна только старая цивилизация Запада склонна была отрицать право убежища в силу консервативности всякого устоявшегося правопорядка

---

[7] George Scelle. «Revue Générale de droit international public». — 1912. p. 625.

[8] Manley O. Hudson «International Legislation». Washington. 1931. Pp. 2414-15.

[9] См. доклад экспертов, представленный 3-ьей сессии Лиги Наций в 1927 году. В том же году в аналогичном духе был составлен законопроект о праве убежища международной комиссией американских юристов в Рио де Жанейро. (Supplement to the American

quieta non movere. И «новейшая цивилизация», создавшаяся на принципиальном отрицании всего ей предшествовавшего, тоже не возвысилась до признания права на убежище: она лишь подменила гуманитарные основания демократических стран политическими.

Первая советская конституция 10 июля 1918 г., так называемого героического периода большевистской власти, когда ей приходилось бороться за свое признание, ища поддержки со стороны «всех угнетенных и страждущих», провозгласила, что РСФСР предоставляет «право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступления» (ст. 21). Фактически же это сводилось к тому, что убежище — и не только оно одно — предоставлялось в советской России только тем, кто готов был стать в подчинение Третьему Интернационалу. Так называемая Сталинская конституция 5 декабря 1936 г. умалчивает о предоставлении убежища совершившим религиозные преступления и говорит лишь об «иностранных гражданах, преследуемых за защиту трудящихся или научную деятельность или национально-освободительную борьбу» (ст. 129). Эта конституция по своим результатам оказалась еще менее действенной, чем ей предшествовавшая.

Предвоенные годы и война в очень острой форме поставили вопрос о предоставлении убежища. Однако, практика Советского Союза отнюдь не была либеральнее практики других государств (а часто даже отставала от них). Так, по отношению к лицам защищавшим трудящихся или занимавшимся научной деятельностью в Германии, арийского и не-арийского происхождения, советская власть была несравненно менее либеральна не только чем Бельгия, Франция, Англия, Со-

---

Journal of International Law, Special Number. — Vol. 22. January 1928. Pp. 108 & 265).

Зато положительным к праву убежища и интересам беженцев и эмигрантов было отношение авторитетного в юридическом мире Института Международного Права. (Annuaire de l'Institut de Droit International. Session de Bruxelles. April 1936. — Vol. II, p. 292). В том же духе была составлена Хартия, принятая Международным Бюро Труда 10 мая 1944 г. в Филадельфии.

Таково же было отношение в проекте международного договора о праве убежища, предложенном правительством Аргентины другим государствам 27 июля 1937 г. (F. Reale «Droit d'asile». Recueil des Cours à l'Académie de Droit International. 1938. — Vol. 63, p. 581).

единенные Штаты, но даже чем крошечное Сан-Доминго или полурабовладельческая Либерия[10].

Советская власть далеко отстала от других не только во внутри-государственной своей практике, но и в международной. Когда СССР стал членом Лиги Наций, он сделался зачинщиком и защитником самых суровых мероприятий против политических правонарушителей. Конвенции от 16 ноября 1937 о предупреждении террора и наказании за него предусматривали выдачу виновных. Но советская власть, ослепленная жаждой мести и преследования своих врагов, действительных и мнимых, правых и левых, считала, что конвенции слишком мягки.

Отвергнутое теорией и практикой отдельных стран, право экспатриации и право убежища всё же проложили себе путь сначала фактически, «силою вещей», а потом и формально — в актах внутреннего и международного законодательства. Это произошло непосредственно после окончания первой мировой войны. Первыми по времени оказались беженцы и эмигранты из советской России. Несмотря на массовый характер беженства, к нему сначала отнеслись, как предписывала доктрина, исключительно с точки зрения человеколюбия. И не случайно инициатором первого совещания о помощи русским беженцам в начале 1921 г. явился Международный Красный Крест, к которому примкнули секретариат Лиги Наций, Международное Бюро Труда, Международное Объединение помощи детям, Лига Обществ Красного Креста. В порядке исключения заинтересовалось беженской проблемой и тогдашнее правительство Франции.

Но на чисто филантропической точке зрения дело помощи беженцам из России не остановилось. Постепенно была осознана и социально-правовая сторона этого массового бедствия, и помощи был придан международно-правовой характер. После ряда предварительных соглашений (Arrangements) 1922, 1924, 1926 и 1928 гг., принята была 28 октября 1933 г. международная конвенция, предусматривавшая юридическое положение русских и армянских беженцев[11]. Вслед за ними

---

[10] В выходившем в США «The Soviet Russia Today» (январь 1939 г.) приведено 17 оснований к советскому отказу в убежище не-арийцам.

[11] Marc Vichniac «Le Statut International des apatrides». — Recueil des Cours à l'Academie de Droit International. 1934. — Vol. 43, p. 54 et

международной охране вверено было положение и беженцев из других стран, искавших убежища по мотивам политическим, религиозным, этническим и другим. В силу этого возникли учреждения: Верховный Комиссариат для всех беженцев под охраной Лиги Наций (30 сентября 1938 г.), Межправительственный Комитет о беженцах (июль 1938-1947 гг.), Администрация помощи и восстановления при организации ОН (УНРРА, 9 ноября 1943 г.), Международная организация беженцев (ИРО, 15 декабря 1946 г.), Верховный Комиссариат для беженцев при организации ОН (14 декабря 1950 г.), Межгосударственный Комитет для европейских миграций (26 ноября 1951 г.). Заключена была и новая Конвенция о беженцах 25 июля 1951 г.

3

За истекшее десятилетие многое изменилось. Как будто изменилось радикальным образом и отношение демократических государств к принудительной репатриации. Не изменилось, однако, отношение коммунистов к «освобождаемым» ими военнопленным и гражданским лицам. С очевидностью это сказалось в заключительной стадии обсуждения условий перемирия в Корее, когда спор о репатриации на протяжении долгих месяцев отсрочил заключение перемирия.

Советская власть попрежнему рассматривает подчиненное ей население, как «свою собственность», — как живой инвентарь, которым она вправе распоряжаться по своему усмотрению. И подписанную в Женеве 21 апреля 1949 г. — но всё еще не ратифицированную — международную конвенцию о военнопленных советская власть склонна рассматривать как защиту прав и интересов одного государства против другого, а отнюдь не как ограждение прав и интересов подлежащих репатриации граждан.

Различие двух точек зрения — тоталитарной и демократической — ярко сказалось в 1-ой Комиссии ОН в октябре 1952 г. при обсуждении вопроса о репатриации военнопленных из Северной Кореи. Главными ораторами были глава американской делегации, государственный секретарь Ачесон и

---

seq. — League of Nations. — C. 650 (I). M. 311 (I). April 16, 1934. John Hope Simpson «The Refugee Problem» and «Refugees». 1939. — Jacques Vernant, op. cit., pp. 24-53.

глава советской делегации, в то время министр иностранных дел Вышинский.

От имени США и 15 других членов ОН, участников борьбы против коммунистической агрессии в Корее, Ачесон защищал право командования ОН не выдавать коммунистам военнопленных против воли последних. «Поскольку я осведомлен», — говорил он, — «не существует ни одного члена ОН, за исключением членов коммунистического блока, которые бы утверждали, что принудительная репатриация военнопленных справедлива, дозволена международным правом или необходима». Анализируя конвенцию 49-го года, Ачесон доказывал, что в ней нет ничего, что «заставило бы кого-либо поверить тому, что под угрозой штыка надо заставлять военнопленного возвращаться туда, куда он идти не хочет». Международная практика последних десятилетий не оставляет сомнений относительно основного принципа: «если пленный считает, что его жизни угрожает опасность, если его пошлют домой, и просит об убежище, а государство, в котором он находится, полагает, что эта просьба честная (bona fide), — то оно может предоставить ему убежище». «Несправедливо, непристойно, беззаконно и отнюдь не необходимо возвращать пленных насильственно».

Так говорил государственный секретарь США, забывший — или умышленно не упомянувший — международную практику 1945-47 гг., формально опиравшуюся на соглашение в Ялте 11 февраля 45 г. Говоря о женевской конвенции, Ачесон привел два прецедента из советского прошлого, противоречивших тому, что Советский Союз защищал применительно к военнопленным в Корее. 8 января 1943 г. советское командование предложило окруженным под Сталинградом германским войскам, офицерам и солдатам, если они прекратят сопротивление, — «жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание военнопленные» («Известия» 17 января 43 г.). То же повторилось и позднее под Будапештом, когда советское командование обещало «сдавшимся немецким военнослужащим возврат в Германию или любую другую страну после окончания войны»[12].

Ачесону страстно и пространно отвечал Вышинский, — его речь заняла в пяти номерах «Правды» и «Известий»

---

[12] Международное Право. — Академия Наук. 1951. — Стр. 527-28.

22 столбца, при чем кое-что из сказанного им газеты опустили. Всю проблему насильственного возвращения военнопленных Вышинский перевернул вверх ногами, обвинив противную сторону в том, в чем повинно было советское правительство: насилие над пленными производят те, кто настаивает на обязательном опросе военнопленных. Опрос «на деле означает не что иное, *как принудительное задержание военнопленных*». Эти слова из речи Вышинского от 29 октября 1952 г. были напечатаны в «Правде» (2-XI) жирным шрифтом.

Вышинский оправдывал насильственную репатриацию с трех точек зрения: моральной, политической и юридической. «С точки зрения принципов морали должно быть исключено домогательство от военнопленных признания о своем (об их?!. *М. В.*) желании или нежелании возвратиться на родину. Г-н Ачесон заявил, что существует обычное предположение что военнопленный хочет отправиться домой. Позволительно в таком случае спросить, чем же вызывалась необходимость каких бы то ни было вопросов с целью якобы проверки наличия у военнопленных желания вернуться домой?» Советский прокурор, став дипломатом, не перестал быть «крючкотвором» и, конечно, сам знал ответ на заданный вопрос: обычное предположение в данном случае было неприложимо только потому, что само советское государство настолько необычно, что даже при общей естественной тяге на родину, не всякий военнопленный пожелает туда вернуться.

С политической точки зрения отказ от репатриации без предварительного опроса пленных потому не выдерживает, по мнению Вышинского, критики, что открывает возможность повторения того, что случилось после первой мировой войны, когда сделаны были «попытки использовать во враждебных советскому государству целях русских военнопленных, оставшихся во Франции, Англии, Германии, Австро-Венгрии и в некоторых других государствах». У «любителей теоретизировать о свободе воли военнопленных и их нежелании репатрироваться подоплека» в том, чтобы перебросить военнопленных на Формозу и в Южную Корею «для использования в целях борьбы против их родины».

Наконец, и юридически советская позиция — по Вышинскому — безупречна. Ачесон указал, что в договорах 1918-20 гг. советское правительство само «не настаивало на репатриации тех военнопленных, которые пожелали бы остаться на территории плениших держав». Но он оторвал текст договоров от «всего контекста исторических событий, лишив

документ его материального, жизненного содержания». На этих документах «не могла не лежать печать известного компромисса... Молодое советское государство не обладало достаточной силой противиться домогательствам» («Правда» конфузливо опустила это признание Вышинским былой слабости Советов). «Договоры были лишь итогом борьбы противоположных политических концепций и направлений, борьбы социальных и классовых интересов». Наряду с этим марксистским аргументом, Вышинский выдвинул и «готтентотский»: «*мы*, русские, требовали тогда (в 1919-20 гг.), чтобы нам были возвращены *все* военнопленные, но мы готовы были согласиться с требованием, чтобы Великобритании были возвращены только те военнопленные, которые хотят туда вернуться».

Истолковав на свой лад конвенцию 49 года, Вышинский счел «не лишним» обратиться к авторитету и буржуазных ученых — в других случаях квалифицируемых «лакеями капитализма» — Фенвика, Джорджа Вильсона, Опенгеймера, Фошиля и даже царского легиста, знаменитого Мартенса. Все они, действительно, придерживались мнения, что «по заключении мира военнопленные подлежат немедленной репатриации, как это предусматривается Гаагской конвенцией, как это имело место при заключении мирного договора между Испанией и США в 1898 г.» и т. д. Но на какую аудиторию расчитывал советский делегат, когда, защищая *насильственную* репатриацию, ссылался на ученых, доказывавших необходимость вовсе не насильственной, а «*немедленной*» репатриации? Вышинский при этом поучал, что «нельзя международный закон поворачивать, как дышло, в любую сторону, в зависимости от тех или других временных интересов и своекорыстных целей».

Отошедшая, казалось, в историю проблема репатриации неожиданно обернулась злободневной политикой, когда на очередь встало подписание мирного договора с Австрией. Переговоры застопорились на пяти статьях договора, в том числе на ст. 16-ой относительно репатриации перемещенных лиц и беглецов. Под действие этой статьи к началу мая с. г. подпадали 38.166 человек, а если исключить югославов, формально числящихся не за «железным занавесом», то — 26.208. По данным официального австрийского бюро, среди них русских 1.829 — в том числе 359 в лагерях; украинцев — 2.349, в лагерях 2.086; балтийцев — 586, в лагерях 143; бесподданных — 4.493, в лагерях 513; поляков — 2.910, в лагерях 402; болгар — 787, в лагерях 63; и т. д.

Статья 16-ая проекта австрийского договора во многом повторяла Соглашения, заключенные в Ялте 11 февраля 45 г. Правда, в ней не только не говорилось о насильственной репатриации, как не говорилось и в Соглашениях, но дважды говорилось о «добровольной» репатриации, чего не было в ялтинских Соглашениях. Зато здесь, как и там, говорилось о допущении в лагеря и сборные пункты представителей государства, к которому принадлежали беглецы и Ди-Пи, и о воспрещении в этих лагерях всякой пропаганды враждебной интересам договаривающихся сторон. Советская власть учла трудности, которые иногда возникали для нее в прошлом при насильственной репатриации, и внесла в проект договора с Австрией соответствующие «поправки»: о воспрещении «всяких действий, направленных к тому, чтобы убедить перемещенных лиц не возвращаться в страны, гражданами коих они являются»; «немедленно распустить всякие «комитеты» или «центры» и другие подобные организации, если окажется, что они занимаются тем, что противно интересам союзных и присоединившихся к ним держав» (§ 3, пп. 2 и 3).

Когда Франция капитулировала перед Гитлером, самым постыдным в договоре, подписанном правительством Виши, был п. 2 статьи 19-ой. В нем Петэн с Лавалем давали согласие на «выдачу, по указанию и требованию правительства Райха, германских граждан, находящихся во Франции, в ее владениях, колониях, протекторате и под ее мандатом». Первыми жертвами явились известные социалисты Гильфердинг и Брейтшейд. Побежденная Австрия, выжидавшая 10 лет заключения мира, была, конечно, бессильна противостоять домогательствам коммунистической власти. Дипломатия демократических стран семь лет отвергала статью 16-ую. Но 14-го февраля прошлого года, на конференции в Берлине, Доллес, при поддержке Идена и Бидо, согласился на то, чтобы все спорные пункты договора «были приняты в советской версии». Однако, Молотова это не удовлетворило, и 18-го февраля он заявил, что первоначальная редакция договора «больше не соответствует фактам»: Советский Союз отказывается эвакуировать свои войска из Австрии и, тем самым, заключить с ней мирный договор, пока не будет заключен мир с Германией*.

Союзники тогда взяли обратно свое согласие на «советскую версию». Но в последующих нотах — от 10 сентября и

---

* Keesing's Contemporary Archives. Vol. IX. 1952-1954. P.13439.

29 ноября 1954 г. — вновь согласились на прежние уступки. Ноты оставались без ответа до 8 февраля сего года, когда Молотов сменил гнев на милость и выразил готовность подписать договор безотлагательно. 2 мая представители всех четырех держав собрались в Вене, чтобы окончательно договориться о тексте. Когда 3 мая очередь дошла до ст. 16-ой, советский представитель Иван Ильичев проявил обычную большевистскую твердокаменность и непримиримость. Но на следующий день, в среду 4-го мая, положение радикально изменилось. Явно по предписанию из Москвы, Ильичев заявил: «раз вы не соглашаетесь на нашу формулировку статьи, предлагаю ее вовсе исключить»... Союзные дипломаты не поверили своим ушам и попросили вторично перевести слова Ильичева. Подтвердилось то, чему трудно было поверить: Советы отказались от требования репатриации «своих» граждан.

Неожиданную уступчивость пробуют объяснить по разному. Но каковы бы ни были объяснения, — страх эмигрантской общественности перед надвигавшейся катастрофой, к счастью, не оправдался. Это отнюдь, конечно, не означает, что он был не обоснован.

Как ни произвольны были толкования духа и буквы Конвенции Вышинским и его выучениками, они показали, что последнюю необходимо уточнить и дополнить, чтобы закрыть все лазейки к ее использованию тоталитарной стороной. Право убежища, конечно, шире конвенции о военнопленных, — оно распространяется и на гражданских лиц, изгнанников, эмигрантов и беженцев и на правовое их положение в странах, предоставивших им убежище.

Как всякое публичное право, право убежища не может устранить полностью элемент политический и моральный Но это не означает, что оно покоится только на чувстве морали или человеколюбии и не является правом в собственном смысле слова.

Если говорить о том, как право убежища должно войти в правосознание демократии, в ее договоры и конвенции, надо сказать, что оно должно быть признано прирожденным и неотчуждаемым правом человека и гражданина, связанным с его правом передвижения и выбора местожительства, занятий, религии, национальности, гражданства: оно должно быть прибавлено к «Четырем Свободам» Атлантической Хартии как *пятая свобода.*

Право убежища выражается в формальном признании определенного статуса за всяким человеком, ищущим защиты, — в силу того простого, но достаточного основания, что ищущий убежища и тот, к кому он обращается, одинаково являются членами международного общежития и имеют нечто общее помимо или сверх всех различий и разногласий, их разделяющих.

Чтобы не быть «голым правом» или фикцией, вместе с допущением в пределы государства право убежища предполагает и некоторый минимум необходимых для человеческого существования условий — хлеб, кров, труд, возможность передвижения, образования, обращения к суду. Этот минимум подлежит расширению в соответствии с возрастанием срока беспорочного пребывания в стране убежища, с тем, чтобы нашедший приют мог приобрести и право гражданства в новой стране, а при желании был бы вправе ее и покинуть.

Право убежища является не только первичным или «священным» правом человека, известным человечеству свыше трех тысяч лет, но и средством борьбы против беспо́дданства, признаваемого единодушно юридической аномалией и социальным бедствием.

Господствующий в доктрине взгляд на право убежища, как на «так называемое» право, на которое человек не может претендовать, связан с изжитым представлением об абсолютном и непроницаемом характере государственного суверенитета, который склонен видеть в праве убежища покушение на его прерогативы, вмешательство во «внутренние дела».

«Желать сохранения понятия государственного суверенитета значит отрицать существование международного права» — писал Жорж Селль за пять лет до второй мировой войны. Последующие события трагически подтвердили правильность этих слов. Они сохраняют силу и сейчас и практика ОН, как и яростная защита абсолютного суверенитета «школой» Сталина-Вышинского, напоминают об этом чуть ли не ежедневно.

Когда отпадет архаическое представление об абсолютном характере государственного суверенитета, — отпадет и главное возражение против права убежища, необходимость которого станет неопровержимой.

М. Вишняк

ПРОБЛЕМЫ И ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОСЛЕСТАЛИНСКОГО БОЛЬШЕВИЗМА

Глубокая и блестящая статья Артура Кёстлера «Политические неврозы» («Der Monat» № 63) вызвала не менее интересную полемику. Не входя в существо затронутых в статье и в полемике вопросов, я хочу выделить из них один, имеющий исключительное значение для понимания тех внутренних процессов, которые отличают природу большевизма на всех стадиях его развития и на современной, послесталинской, в особенности. Это — то, что Кёстлер называет «*политическое libido*» и сущность чего он усматривает в «потребности индивидуума ощущать себя частью какого-то целого, растворять себя в какой-то общности, к чему-то принадлежать». Кёстлер об этом не говорит, но это — то самое, что в социологической школе Эмиля Дюркгейма и Леви Брюля носит название «*партисипации*».

Интересно проследить, какую роль *стимул партисипации* или, по Кёстлеру, «политическое libido» играет в современном тоталитарном строе. Если вспомнить нацизм, то не только мундиры и эмблемы свастики, условно-ритуальная форма приветствия и торжественно-исступленные шествия служили там цели искусственного культивирования пафоса *партисипации*, не только монументальные постройки и завоевательные походы, но также и превосходящие всякое человеческое воображение акты жестокости. Путем участия в общем массовом преступлении Гитлер пытался превратить весь немецкий народ в какое-то почти мистическое единство, целиком подчинить его политически-расовому *libido* и таким образом довести до максимума его стимул *партисипации*.

Совершенно то же характерно и для большевизма. Мы много занимаемся тем, что составляет слабые стороны советско-большевистской системы. Эти слабые стороны бросаются в глаза. Но в чем сила большевизма? Только ли в безграничной жестокости верхов, правящей элиты, — и безграничном терпении низов, масс? Или в чем-то еще другом?

Если есть это другое, то оно заключается именно в том, что большевизм, как ни одна другая общественно-политическая система тоталитарного типа, умеет доводить до самой крайней степени пафос *партисипации*, libido политического единства. В этом — большевистское искусство управления массами. Средствами к этому служат, во-первых, партия, во-вторых — доктрина. Кроме всё проникающего террора, это — главные основания системы. Сюда нужно присоединить еще и то, на что указывает в своей статье Рихард Лёвенталь («Завещание Сталина», «Der Monat» № 55): динамику большевизма, выражающуюся в «*перманентной революции*», но в ее сталинской интерпретации. Эта динамика (к ней относится монументальное строительство, без которого не обходится ни один тоталитарный режим, так же как и завоевательная экспансия, какими бы лозунгами она ни прикрывалась) служит и оправданием партийности и обоснованием доктрины. Без этой судорожной динамики партия потеряла бы свой raison d'être, а доктрина — свою притягательную силу. Нужды нет, что «перманентная революция», по Сталину, совсем не то, что она по Троцкому и Марксу. Это — революция «сверху», осуществляемая не стихийно, а по плану, и не массами, а организованной группой «профессиональных революционеров» или, иначе, — партийных «аппаратчиков».

Сталинский режим логически должен был привести если не к полному упразднению, то к значительному ослаблению обеих основ системы: и партийности и доктрины. Единоличная диктатура, доведенная до крайности, не нуждалась, казалось, ни в каких других основаниях, кроме собственной власти и внушаемого ею всеобщего страха. Прогрессирующая бюрократизация государственного аппарата вела к омертвлению партии. А безраздельное подчинение тому же аппарату и доктрины («*творческий марксизм*») вело к идеологическому индифферентизму («*ярошенковщина*»* и «*волюнтаризм*»). В результате не могла не наступить всеобщая идейно-политическая апатия, охватившая не только массы, но и самоё элиту.

Власть чувствовала эту опасность. Она пыталась бороться с нею разными средствами: путем искусственного разжи-

---

* Ярошенко — автор (скорее всего фиктивный) письма, на которое возражал Сталин на 19 съезде партии. Ярошенко отрицал значение доктрины, исходя из чисто практических установок.

гания шовинистических страстей — борьба с «безродными космополитами», обострение международных политических конфликтов и проч. — и путем «перманентной революции», в виде новых «великих строек», укрупнения колхозов, в виде декларирования построения «основ коммунистического общества». Но всего этого оказалось мало. Внутренний кризис продолжал нарастать. И уже в ноябре 1952 года на XIX съезде партии были намечены те меры к его преодолению, которые составляют главное содержание партийной политики вплоть до наших дней.

Смерть Сталина, вопреки тому, что многие думали, никаких радикальных перемен не принесла. Генеральная линия партии после Сталина может быть сведена к следующему: гальванизация начавшего омертвевать партийного тела (борьба с пассивностью и поиски угасшей «романтики»); восстановление в правах и значении официальной доктрины — в частности, в виде возвращения к Ленину, при одновременном затухании культа Сталина; форсирование «*перманентной революции*», в смысле дальнейших шагов к огосударствлению колхозов (МТС) и распространения на колхозников производственных условий (но не оплаты труда!), которым подчинены городские рабочие (нормы выработки и соревнование). В области внешней политики — всё более решительное наступление на капиталистический мир по всему фронту с использованием действительных или воображаемых противоречий в лагере противника.

***

Наряду с основными противоречиями самой системы, которые власть по большей части игнорирует, есть целый ряд, так сказать, *производных* противоречий, с которыми она вынуждена считаться, поскольку они отражаются в настроениях той части общества, которая служит собственной ее опорой. Такого рода настроения нельзя отнести ни на счет «происков империалистов» ни на счет «пережитков буржуазной идеологии». К этого рода противоречиям нужно отнести, прежде всего, совершенно неудовлетворительный жизненный уровень широких масс советского населения. Жизненный уровень в советском государстве всегда был достаточно низок, что хорошо известно. Но, как *противоречие*, он стал ощущаться особенно остро в связи с двумя одинаково важными фактами:

ростом промышленного производства — и подчинением Советскому Союзу целого ряда стран в результате войны. В обоих этих случаях нужно учитывать факты психологического характера: индустриализация и урбанизация страны значительно увеличили количество людей, которые не могут и не хотят уже мириться с прежним уровнем жизни; в то же время, при встрече с «сателитами» люди собственными глазами видят, что кое-что совсем не является там «предметом буржуазного обихода», а служит необходимому и общедоступному комфорту. Это особенно подчеркивается еще и тем, что «советские люди» чувствуют себя там «господами» и «завоевателями», носителями и представителями «высшей» системы; жизненные же отношения такому представлению не соответствуют.

В тот момент, когда партия была вынуждена заняться проблемой жизненного уровня, оказалось, что сельское хозяйство не может удовлетворить самых насущных потребностей населения. Странно было бы думать, что критическое состояние сельского хозяйства для власти обнаружилось вдруг, явилось для нее каким-то неприятным сюрпризом, всё значение которого было осознано, скажем, к осени 1953 года. Конечно, об этом знали. Но заговорить об этом вслух нашли нужным только под давлением настроений, с которыми нельзя уже было не считаться.

В связи с проблемой поднятия сельско-хозяйственного производства, — этого первого и самого необходимого условия поднятия жизненного уровня, ибо чулками и часами нельзя заменить ни масла, ни овощей, — в руководящих кругах задолго еще до XIX съезда наметились два течения, имеющие под собою, как только теперь стало ясно, глубокие идеологические корни. Одни видели выход из положения в создании в колхозах так называемых «*звеньев*», мелких комбинированных производственных единиц, подбираемых по соседству и даже по родственным связям — ими по нужде широко пользовались во время войны. Другие же, наоборот, предлагали дальнейшее укрупнение колхозов, что в конечном итоге вело бы к упразднению колхозов, но совсем уже в другом духе: в виде превращения их в сельско-хозяйственные фабрики.

Идеологически первое течение означало несомненную ревизию установленных доктринальных положений. Такого рода ревизия обнаруживалась не только в колхозной политике, но и во многом другом. По ряду соображений, партийное руко-

водство усмотрело здесь опасность, квалифицировало это направление, как «идеалистический волюнтаризм», и на XIX съезде устами Сталина объявило ему самую решительную борьбу (борьба против «*ярошенковщины*»).

«Идеалистическому волюнтаризму», который, в конечных своих выводах, сводится к прямому *нигилизму* в вопросах политической идеологии и теоретически доведенному до крайности *этатизму*, — партийная власть в лице Сталина противопоставила поворот к доктринальной ортодоксии, со ссылками на «объективные экономические законы». Мотивы этого понятны: власть почувствовала потребность найти укрытие за «экономической объективностью», за «обязательными и неотменяемыми» законами общественного развития, так как ими можно было оправдать решительно всё, начиная с октябрьского переворота и до насильственной коллективизации.

Два течения обнаружились не только по вопросу о колхозной политике, но и в связи с другими противоречиями советской жизни. Мы имеем в виду противоположность между городом и деревней, между физическим и умственным трудом. Она приняла, пожалуй, еще более острые формы чем до революции. Здесь одно из самых слабых мест большевизма, тем более, что старая противоположность между «интеллигенцией» и «народом» сейчас осложнилась противоположностью между «партийными» и «беспартийными». Игнорировать существование этого противоречия партийное руководство уже не может. Разница между горожанами и жителями деревни, между интеллигентами и рабочими или колхозниками не стала большей, но она стала сильней чувствоваться. И поэтому партийная власть сочла нужным об этом заговорить вслух.

Отношение к этому факту было разное. Одни искали выход из наличного противоречия в форсировании коммунизма. Есть еще люди, — может быть, их и очень теперь немного, но они есть, среди комсомола, в особенности, — которые видят в «победе коммунизма» и в «переходе к коммунизму» универсальное целительное средство. Сталин одернул таких неумеренных «коммунистических идеалистов», наряду с «волюнтаристами», ссылкой, на «неотменяемые» и «объективные» экономические законы. И он же изобрел поистине замечательную формулу, свидетельствующую, насколько он «верил в легковерие» масс, к которым обращался. Эта формула и сейчас остается еще обязательной. Состоит она в том, что «*существенная*» разница между городом и селом, между ум-

ственным трудом и физическим уже преодолена, а «несущественная» — останется навсегда (и при коммунизме!).

Есть и еще одно противоречие, вытекающее из национальной политики партии, основанной на откровенном великодержавном централизме. Здесь никаких перемен, даже в деталях, даже в фразеологии и номенклатуре не произошло. Всё осталось, как было. Но старое противоречие, вытекающее из неизменного, прямолинейного и часто бестактного противопоставления «старшего брата» в лице русского народа его младшим братьям — нерусским народам осложняется сейчас другим противопоставлением: народа «освободителя», «великого советского народа» — народам «освобожденным», советского населения — населению «народных демократий». А на заднем плане вырисовывается еще одно, пока только потенциальное, но для большевизма, может быть, и роковое противоречие: *двух* «великих» народов, из которых один должен быть более «великим»: русских и китайцев. Но это вопрос будущего...

***

Со времени XIX съезда (но после смерти Сталина больше и отчетливее) стали говорить вслух о том, о чем раньше молчали. И между прочим стали говорить вслух и о «противоречиях» системы. Говорят о них с большими оговорками и ограничениями, тщательно избегая ставить точки над «и», но всё-таки говорят. А говорят потому, что дальше молчать нельзя. Вот, например, статья «Научное предзидение» в журнале «Вопросы философии» (№ 2, 1953 г.). Статья посвящена такой жгучей теме, как применение «объективных законов» к колхозной политике, и из нее видно, какая борьба действительно происходила в партии по этому вопросу. «Действуя на основе марксистской науки об объективных законах социалистического общества, наша партия во́-время разрешает объективно возникшие в жизни *противоречия*... ЦК во́-время заметил серьезные *извращения* в организации труда в колхозах в ряде областей... Суть этих извращений состояла в неправильной линии на насаждение в колхозах обособленных звеньев и ликвидации производственных бригад... что означало бы раздробление единого колхозного хозяйства на мелкие производственные участки» (с. 13).

Вынужденная допустить наличие в советском обществе противоречий, партийная власть пытается, однако, смягчить

этот факт ссылкой на то, что эти противоречия, в отличие от тех, которые характеризуют собою капиталистическое общество, не носят антагонистического характера и могут быть преодолены таким простым приемом, как критика и самокритика. Этой теме посвящена специальная статья — «О внутренних антагонистических и неантагонистических противоречиях» («Вопросы Философии», 1953, № 2). В ней много откровений. Автор (С. П. Дудель) совсем недвусмысленно объясняет, почему партийная власть приоткрыла было клапан критики. Оказывается, для того, чтобы «не давать противоречиям превратиться в противоположность» и для того, чтобы заменить (выходит, что возможную!) «критику оружием» — «оружием критики» (с. 70). Отсюда автор переходит к жестокой критике теории *«бесконфликтности»*, господствовавшей в советской художественной литературе. — «Вред так называемой теории бесконфликтности... заключается... в отрицании жизненных противоречий... в развитии нашего общества... У нас не всё идеально, у нас есть отрицательные типы, *зла в нашей жизни немало... Нам Гоголи и Щедрины нужны*... Грубой ошибкой... являлось отрицание многими философами и экономистами противоречий между производительными силами и производственными отношениями в развитии советского общества» (ст. 72).

Статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» в журнале «Новый Мир» явилась, может быть, самым значительным событием во внутренней советской жизни за все эти годы. Оказывается, выросло новое поколение советских людей. Их многое не удовлетворяет уже в советской жизни. Их не удовлетворяет, например, «показ жизни через пельмени». Они больше не хотят есть «неизменный борщ и котлеты в безлюбовно руководимой столовой». Они видят уже, что и «общежития и столовые завода скверны». Они многое уже видят. Гораздо больше, чем многие из нас подозревают. И с каждым новым поколением люди будут видеть всё больше. До поры до времени они «ругались только в домашнем кругу». Но они не хотят уже ограничивать себя только «домашним кругом». Они начинают говорить вслух. Одно замечание Померанцева касается уже чего-то большего, чем сама система — ее глубоких идеологических и моральных оснований. «Материальные условия жизни мы улучшим... но от них не ведет прямая черта к душе человека». Так большевики никогда еще не говорили!

**
*

Главная тенденция политической жизни в Советском Союзе после смерти Сталина — если говорить, конечно, о верхах, а не о массах, так как о настроениях последних, в виду их вынужденного безмолвия, мы можем только догадываться — состояла, как было уже сказано, в том, чтобы всеми средствами поднять влияние, престиж партии, то-есть, точнее, возглавляющего ее аппарата. Первым свидетельством этой тенденции — еще до падения Берии — был отказ Маленкова (или лишение его, то-есть отказ вынужденный) от звания первого секретаря президиума ЦК партии.

Конечно, параллельно с этим здесь сказалась и другая тенденция: устранить возможность повторения единоначалия, во всяком случае в его сталинской форме, от которой устала не только страна, но и сама партийная верхушка. Поэтому постоянные напоминания о значении партии неизменно сопровождались предостережениями против «антипартийного» культа личности и призывами к коллективному руководству — призывами, нужно сказать, постепенно затухающими.

Наряду с борьбой за прелести партийного аппарата и за безоговорочное подчинение последнему всех без исключения отраслей управления (борьбу с «единоначалием» и «культом личности» нужно рассматривать только в аспекте престижа и влияния партийного аппарата, а отнюдь не в аспекте какого-либо демократизма, хотя бы только «внутрипартийного») в политической жизни страны после Сталина (есть основания думать, что еще и в последние дни Сталина) — чувствовалась борьба и других тенденций, которые вкратце сводятся к следующему: ослабление общего режима и некоторые уступки массам в виде обещанного подъема уровня материального благосостояния населения и увеличения производства товаров массового потребления, частичная амнистия и обещания нового уголовного кодекса, относительный либерализм в области литературы и критики, некоторые послабления для колхозников (принцип «материальной заинтересованности») и так далее.

Но тенденциям к некоторому смягчению курса после смерти Сталина противостояли другие, им противоположные. Это видно уже из того, что этот, условно говоря, «новый курс» продержался очень недолго. Вскоре он стал уступать место «старому», представлявшему собой точное воспроизве-

дение всех начал сталинской политики. Амнистия оказалась очень куцой, об обеспечении прав населения перестали вообще говорить. В области «литературной политики» начался решительный отбой, окончательно определившийся на съезде писателей. Одно время довольно откровенная и острая критика всякого рода непорядков стала заметно снижать свой уровень и сбавлять тон. Вместо «материальной заинтересованности» колхозников, главная ставка в решении всех сельско-хозяйственных проблем была сделана на освоение целинных земель. И наконец «крутому и быстрому подъему производства товаров массового потребления» теперь опять противопоставляется дальнейший подъем тяжелой промышленности, этой «основы основ» социалистической экономики и гарантии обороноспособности страны.

Победа «старого курса» наиболее наглядно обнаружилась в области внешней политики. Разговоры о «мирном сосуществовании» и о «смягчении напряженности в международных отношениях» как-то сразу оборвались. Поводом (но, нам думается, только поводом) к этому послужила ратификация парижских соглашений. Вместо того, всё в более резкой и решительной форме декларируется сочувствие борьбе коммунистического Китая за «освобождение» Формозы, наряду с постоянным напоминанием о собственной военной силе и нескрываемыми угрозами по адресу «империалистов».

События, имевшие место в первой половине февраля 1955 г. и выразившиеся в смещении Маленкова и назначении на его место Булганина, а на место последнего Жукова, речь Молотова на сессии Верховного Совета, так же как и речь Булганина, — являются таким образом не чем-то неожиданным, как их восприняли многие в свободном мире, но только завершением очень длинной цепи явлений.

Не все детали здесь одинаково ясны. Чисто личные пружины, скрывающиеся за этими переменами, ясны и того меньше. Но о чем можно говорить с большей или меньшей определенностью, так это о следующем: в победе Хрущева и падении — пусть даже относительном, но всё же падении — Маленкова мы видим, *во-первых,* полную и окончательную победу партийного аппарата над всеми видами советско-партийного актива (в том числе и командиров армии); *во-вторых,* торжество принципа единоначалия — в лице Хрущева, хотя, наверное, не в том виде, как это было при Сталине; *в-третьих,* торжество партийного централизма, в противовес всяким де-

кларациям о внутрипартийной демократии; *в-четвертых,* — и это самое главное — решительный поворот всей политики в сторону интенсивного и ускоренного вооружения страны, хотя бы ценой наиболее тяжелых жертв для всего населения. Может быть, это еще не война. Но это во всяком случае *всеобщая военно-техническая мобилизация!*

В чем же можно видеть причину победы этих тенденций? Причины были, скорее всего, разные. Ограниченные возможности системы и неумелость руководства не позволили осуществить обещания насчет материального благосостояния без заметного ущерба для оборонной промышленности. Кризис сельско-хозяйственного производства, вызванный всеми предшествующими экспериментами — включая, конечно, и хрущевское укрупнение колхозов, оказался более серьезным, чем предполагали. Ратификация договоров о перевооружении Германии перечеркнула долго и тщательно лелеемые планы о «мирном» захвате Западной Европы и, в первую очередь, западно-германской промышленности.

Но решающим мне кажется следующее: экономические и технические возможности Советского Союза (учитывая и все свойства системы) делают чрезвычайно трудным переход от лабораторных опытов с атомным и водородным оружием к массовому изготовлению как этого оружия, так и технических средств его транспортирования. После смерти Сталина, державшего все секреты в своих руках, размеры этих трудностей обнаружились со всей ясностью, и перед высшим партийным руководством стала дилемма: или, не останавливаясь ни перед какими жертвами, идти напролом, или, учитывая настроение масс и шаткость собственного положения, ослабить темпы как во внутренней, так и во внешней политике. Не отсюда ли и «капитулянтство» Берии, в котором его официально обвиняли? Не отсюда ли и «некоторое смягчение международной напряженности», о котором так часто говорил Маленков?

Под влиянием какого-то комплекса обстоятельств, не вполне еще ясных, *партийное руководство в конце-концов отказалось от замедленных темпов вооружения и перешло к ускоренным.* В этом именно вся суть дела.

Заметный перелом почувствовался после осенних военных маневров и поездки Хрущева-Булганина в Пекин. Что произошло, точно мы не знаем. Здесь большая опасность строить заключения по принципу: post hoc, ergo propter hoc. Но всё-таки произошло *что-то*, что с одной стороны заставило советы

пойти на ряд видимых уступок коммунистическому Китаю, а с другой, побудило их толкать Китай на войну с Соединенными Штатами, а, вместе с тем, усилить и свои собственные военные приготовления.

Предположения можно делать всякие. Не почувствовал ли, например, Хрущев страх перед перспективой дальнейшего усиления Китая и последствиями от этого для самого советского государства, для его *ведущей роли* в коммунистическом лагере? Нельзя ли связать с этим дальнейший нажим Хрущева на скорейшее заселение азиатских просторов Советского Союза, так же как и его призыв довести число советского населения «до 300 млн.»? Но как бы там ни было, одно бесспорно: все ab ovo внутренние противоречия, после смерти Сталина и, особенно, сейчас, в связи с победой — условно будем говорить — хрущевско-булганинского курса — достигли небывалой еще остроты.

Народ чувствует себя обманутым второй уже раз: первый раз не оправдались ожидания, связанные с победой над внешним врагом; второй раз не оправдались ожидания, связанные со смертью диктатора, ожидания подогретые к тому же обещаниями лучшей жизни со стороны сталинских наследников.

Правящая партия устала от предшествующих экспериментов, парализована режимом неограниченного единоначалия и страдает неизлечимой болезнью апатии, доходящей до маразма. В самой партии нарастает конфликт между «аппаратчиками», претендующими на верховное руководство во всех областях управления, не имея для этого ни знаний, ни технического опыта, ни умения и партийными специалистами, во всех отношениях отличными уже от старых беспартийных «спецов», которые готовы были покорно склоняться перед авторитетом партийности. Среди молодежи также наблюдается отсутствие былого энтузиазма и романтики, сказывающееся хотя бы в ее отношении к «добровольной» мобилизации на освоение целинных земель и на далекие стройки, — отношении, на которое довольно прозрачно намекал Хрущев в своей речи перед молодыми людьми Москвы, которых он призывал к переселению в азиатские степи. Не больше энтузиазма обнаруживают и те представители правящей теперь касты, — техники, чиновники, интеллигенты, — которых массами снимают с насиженных мест и отправляют в «добровольном порядке» на «усиление колхозных кадров» или на работы в промышлен-

ных предприятиях с целью разгрузить непомерно громоздкий и дорого стоющий управленческий аппарат. Ко всему этому присоединяется подавленное, но никогда не прекращающееся брожение в колониях коммунистического империализма — странах так называемой народной демократии, которые под водительством советского государства составляют «единый лагерь мира, социализма и демократии».

Это главное, но это не всё. Стоит заглянуть в любую советскую газету, чтобы найти там совершенно недвусмысленные указания на органические пороки системы, ставящие перед нею неразрешимые проблемы.

Как же власть пытается бороться с такого рода противоречиями и какими лекарствами она пользуется в борьбе с этими недугами? В конечном итоге борьба эта сводится к тому, что выше было названо «партисипацией» и «революционной динамикой».

Механизмом «партисипации» больше всего пользуются сейчас в деле ассимиляции подчиненных стран. Здесь действие этого механизма проявляется вполне наглядно. Достаточно прочитать хотя бы реляции в советской печати о праздновании Первого Мая в Китае, Польше, Венгрии и т. д. Всюду одно и то же: те же самые ритуальные действия, в виде торжественных шествий, приветствия «вождям правительства и партии», те же эмблемы в виде красных полотнищ, плакатов, портретов вождей и ударников; те же призывы и лозунги, содержащие данные о «достижениях» и планах на будущие успехи «строительства»; наконец, то же разжигание ненависти к «империалистам» и прежде всего, конечно, к американским «поджигателям войны».

Партия, партийная доктрина и революционная динамика — вот главные принадлежности механизма «партисипации», то-есть главные средства ассимиляции покоренных коммунизмом стран. Прививаются одни и те же воззрения и формы общественного быта. Усваиваются одни и те же словесные формулы, вроде «построения основ социализма», «хозяйственного и культурного строительства», «социалистического соревнования», «классовой бдительности» и т. д. Насаждаются одни и те же учреждения, от «низовой партийной организации» до Центрального Комитета Партии, со всеми «агитпропами», «оргбюро», «секретариатами», «спецсекторами», «отделами кадров» и проч. В результате действительно создается известное единство, пусть и эфемерное, но при некоторых усло-

виях и до известного предела не лишенное и реального значения: единство, охватывающее уже целую треть населения земного шара. Об экономических основах этого единства (т. н. «социалистическое разделение труда») и военно-политических его средствах мы здесь не говорим, — это другая тема.

Но не только ассимиляция отдельных частей коммунистической империи проходит по законам партисипации. Теми же самыми методами пользуются и в управлении собственными массами, подвергая их непрерывному психологически-политическому воздействию. Меньше заботясь о самих массах, которые всегда или до поры до времени «безмолвствуют», власть все свои усилия направляет на то, чтобы сохранять сознание единства, чувство сопричастности режиму и вместе с тем чувство опричничества — по отношению не только к внешнему миру, но и к массам собственного народа — в среде правящего, привиллегированного слоя, в котором она ищет и находит свою единственную опору. Отсюда уже отмеченная выше забота о повышении партийного престижа, об оживлении интереса к партийному просвещению и партийной жизни, усилия побороть всеобщую апатию, найти путь к возрождению «революционного энтузиазма» и «комсомольской романтики». Принадлежностью к партии и комсомолу и через это сопричастием к власти до какой-то степени преодолевается противоречие между городом и деревней, между «интеллигенцией» и «народом», — преодолевается, но, конечно, не устраняется.

Власть не много думает о массах. Но она не может совершенно игнорировать их настроения. Держать массы в повиновении с помощью одного страха никому еще не удавалось, ибо и страх имеет свои пределы, как показал опыт Воркуты или восстания рабочих в Восточной Германии летом 1953 года.

Глубокое разочарование, переживаемое сейчас всеми советскими людьми, власть пытается лечить «революционной динамикой». Но она кажется скучной и прозаической: таков уж стиль эпохи! Да и нельзя без конца изобретать пропагандные эффекты вроде челюскинской льдины или папанинского дрейфа. Изобрели сейчас нечто совсем не импозантное, но всё же как-то действующее: освоение целинных земель Азии и посевы кукурузы. Подвели и теоретическую базу: преобладание тяжелой индустрии, вызываемое задачей построения коммунизма и «повышением обороноспособности страны». Последний мотив выручал не раз. Выручает он и на этот раз.

Природа большевистского агрессионизма понятна. Его основания заложены не только в самой доктрине с ее учением о «мировом коммунизме» и «мировой революции». Он объясняется также и соображениями пропагандного характера: с одной стороны престиж всякой тоталитарной системы неизменно поддерживается расширением ее пределов, ее достижениями и победами, а с другой — всеобщая и усиленная военно-техническая мобилизация позволяет власти, подчиняя население военному психозу, отвлекать его внимание от других проблем и покорно нести дальше все трудности жизни, до «освоения целинных земель» включительно.

Однако понятно также и то, что психологическая мобилизация сохраняет свой пропагандный эффект при одном условии: внушении уверенности в «справедливости» будущей войны. Отсюда и кампания «защиты мира». Отсюда и постоянный, то усиливающийся, то затихающий призыв к «мирному сосуществованию».

В. Годин

КОММЕНТАРИИ

1. НА НОВОМ ЭТАПЕ

Девять месяцев тому назад, в связи с усилившимися толками о «сосуществовании», я высказывал свои сомнения насчет начала «новой эры» в международных отношениях*. Сейчас о наступлении этой «новой эры» говорят гораздо более решительно — и, надо признать, со значительно большим основанием. Если тогда оптимисты могли опираться только на смягчение *тона* советской дипломатии (по моей формулировке на «жесты и улыбки»), то сейчас мы имеем дело с чем-то несомненно более серьезным. Как ни как, согласие советского правительства на подписание мирного договора с Австрией, со всеми вытекающими отсюда последствиями, есть *акт* немаловажного политического значения. В продолжение почти целого десятилетия советская власть от этого акта упорно отказывалась, несмотря на повторные настояния западных держав. Теперь она не только на него согласилась, но и отказалась при этом от некоторых ранее ею ставившихся условий. Если в сентябре прошлого года я мог указывать на отсутствие каких бы то ни было серьезных политических уступок со стороны Советского Союза за всё время с момента окончания войны, то сейчас такая уступка — налицо.

Очень легко, конечно, отмахнуться от вопроса о ее значении простой ссылкой на неизменность конечных международных целей коммунистической диктатуры: от этих целей она отказаться не может и так или иначе будет добиваться их осуществления и в дальнейшем. Но такого рода рассуждением ограничиться нельзя. Во всякой политике, как внутренней, так и внешней, средства к достижению целей так же важны, как и самые цели. И далеко не безразлично, добивается ли советская власть осуществления своих целей *так* или *иначе*. Та достаточно существенная перемена, которую мы наблюдаем в настоящее время в советской политике, заслуживает самого

---

* См. «Комментарии» в кн. 38-й «Нового Журнала».

внимательного к себе отношения. Она ставит на очередь ряд чрезвычайно важных вопросов. Что́ побудило советскую власть пойти на эту перемену — и пойти на нее именно в данный момент? Каких более или менее непосредственных результатов может она от этой перемены ожидать и как она будет стремиться ее использовать? И, наконец, какие новые задачи ставит эта перемена перед западным миром — какие новые возможности она перед ним открывает и какие новые опасности она ему несет?

В той волне официальных и официозных заявлений, комментариев, статей и дискуссий, которая нахлынула на нас за последние недели, можно попытаться выделить некоторые постоянно повторяющиеся мотивы. В разных контекстах и с разными ударениями самый факт перемены приписывался обычно двум основным причинам: трудностям, испытываемым Советским Союзом в области его внутренней политики — главным образом на экономическом фронте, и той неудаче, которую он потерпел в своих попытках сорвать включение Западной Германии в Северо-Атлантическую организацию и санкцию на ее вооружение. И для того, и для другого предположения имеются достаточные объективные основания. О внутри-советском положении я здесь писать не буду — это особая, большая и сложная тема. К тому же о факторе международно-политическом можно говорить с большей уверенностью и определенностью. Если вспомнить, какие огромные усилия были употреблены советской дипломатией и пропагандой для предотвращения присоединения Германии к Северо-Атлантическому пакту и какое ликование было в коммунистическом лагере, когда провалился проект создания Европейской Армии, то размеры советского поражения станут совершенно ясны. Не помогли и угрозы отказа от дальнейших международных переговоров (по крайней мере, «на высоком уровне») в случае заключения договора с Германией. Наоборот, именно теперь, после заключения договора, советское правительство с необычной для него быстротой приняло западное предложение о конференции «великой четверки». Оказалось таким образом, что не только американские, но и советские дипломатические блефы иногда не удаются. Не произвели на западный мир особого впечатления и такие, принятые уже post factum, репрессивные меры, как аннулирование «договоров о дружбе» с Англией и Францией и создание, в спешном порядке, восточно-европейской версии NATO: первые давно уже утратили

всякое реальное значение, а последняя только оформила ранее фактически существовавший военный союз.

Неудивительно поэтому, что в своих недавних заявлениях Доллес указывал на окрепшее единство и возросшую силу западных союзников, как главную причину перемены в советской внешне-политической линии. В этом же смысле высказывался и президент Айзенхауэр, и на эту же тему появились статьи во многих руководящих органах американской печати. Были сделаны попытки подвести баланс «холодной войны» по настоящий день, и в этом балансе наряду с такими потерями как захват коммунистами Чехословакии, Китая и северной части Индокитая, перечислялись и западные успехи: отражение коммунистической агрессии в Греции и Иране, экономическое восстановление Европы с помощью плана Маршалла, прорыв берлинской блокады, установление «добрососедских» отношений с Югославией, ослабление коммунизма в Италии и, наконец, создание Северо-Атлантической организации и включение в нее Западной Германии.

Если даже сделать скидку на неизбежную в таких случаях долю официального оптимизма, особенно в заявлениях исходящих из правительственных источников, в общем эту картину постепенного укрепления позиций западного мира можно признать правильной. Она остается несколько односторонней поскольку в ней внимание сосредоточено главным образом на Европе. Но ведь и в Азии, при всех понесенных там Западом серьезных поражениях, удалось всё-таки отстоять Южную Корею, потерю южной части Индокитая нельзя считать предрешенной, а недавняя конференция в Бандунге показала, что и в Азии есть у коммунизма серьезные противники — в том числе и такие, для которых позиция Неру является неприемлемой. Мы так загипнотизированы оглушительными послевоенными успехами Москвы, носившими такой драматический и внешнеэффектный характер, что в оценке их нам трудно соблюсти надлежащую перспективу. По контрасту даже самые несомненные и существенные достижения свободного мира кажутся нам малозначительными, и мы склонны их недооценивать. Мы часто забываем о том, что в момент окончания войны вся мировая ситуация благоприятствовала советской экспансии и что было время, когда коммунизация Европы изнутри была быть может вполне реальной опасностью. Только по сравнению с тем периодом можно правильно оценить степень достигнутой к настоящему времени стабилизации — и в международных отношениях, и во внутренней жизни отдельных стран.

Так как я пишу для русского читателя, то я имею в виду главным образом распространенные в наших эмигрантских кругах настроения. Для них напоминания Доллеса об успехах западного мира могут быть, я думаю, только полезны. Но Доллес обращался к американскому народу и возможно, что для своей аудитории он взял излишне оптимистический тон. Именно с этой точки зрения последнее его выступление вызвало довольно суровую критику со стороны известного американского публициста Липмана. Липман не отрицал фактической точности сделанных Доллесом утверждений. Но, по его мнению, в своем отчете американскому народу Доллес сказал только «половину правды». Верно, что единство и сила западных стран за последнее время возросли. Но было бы чрезвычайно опасно видеть в новой советской политике «только отступление, вызванное экономическими затруднениями внутри страны и неудачей прежней внешней политики». Самое важное в этой новой политике это то, что она учитывает усиливающийся во всем мире страх перед атомной войной и идет навстречу стремлению менее сильных и более уязвимых стран «выйти из военной орбиты обеих великих держав, обладающих атомной бомбой». Подобно тому как в Азии Советскому Союзу в значительной мере удалось «отождествить свои собственные интересы со стремлением народных масс к национальной независимости», так ему может удаться и попытка использовать в своих целях это почти всеобщее тяготение к миру, при помощи той программы нейтрализации, которую он сейчас выдвигает. Об этой стороне дела Доллес не сказал ни слова, а между тем, если американский народ не даст себе ясного отчета в этой новой опасности, он не сможет оказать американскому правительству необходимую поддержку в разрешении стоящих перед Америкой внешне-политических проблем.

Липман, конечно, прав в своей критике одностороннего характера выступления Доллеса. Прав он и в данном им определении основной цели советской «перемены фронта» (в сущности не такой уж новой и неожиданной, какой она получается в его изложении). В этом вопросе мнение его совпадает с мнением большинства американских и европейских комментаторов. Само собою разумеется, что и руководители американской политики вполне отдают себе отчет в той опасности, на которую он указывает. Для того, чтобы разгадать основной смысл советского тактического маневра, особенной проницательности не требуется. Не надо преуменьшать степень ловкости и изобретательности советских дипломатов, но и не надо преувеличи-

вать их макиавеллевское глубокомыслие: работа их часто бывает шита белыми нитками. И не надо думать, что все козыри всегда и непременно находятся в их руках, как это можно было бы заключить из статьи Липмана. Убедить Данию и Норвегию выйти из Северо-Атлантической организации и примкнуть к нейтральным Швеции и Финляндии может оказаться не так уж легко. При всей тяге немцев к объединению и Западная Германия может воздержаться от соблазна принять советскую схему нейтрализации. В момент, когда пишутся эти строки, исход советско-югославских переговоров еще неизвестен. Но вся наличная информация говорит о том, что Тито в советские объятия бросаться как будто не собирается и что Югославия может предпочесть независимость своей внешней политики — обязательной нейтральности.

Слабость позиции советской власти заключается в том, что выдвигаемая ею программа нейтрализации слишком явно связана с желанием сохранить Европу в состоянии раздробленности и вместе с тем изолированности от Америки. Не слишком обнадеживающим был и дебют Хрущева в Белграде: приехав убеждать Тито принять программу нейтрализации Европы, он начал с того, что пригласил его вернуться в лоно Коминформа! Все двусмысленности советского предложения могут быть выведены на чистую воду соответственными контрпредложениями западных союзников. Если пойдет речь о нейтрализации Центральной Европы, от Скандинавии до Югославии включительно, то почему не поднять вопрос о нейтрализации и Восточной Европы, от Польши до Болгарии? Ведь если главной целью нейтрализации является предотвращение столкновения между Америкой и Советским Союзом, то, логически рассуждая, оба антагониста должны быть поставлены в более или менее одинаковое положение по отношению к нейтрализуемой зоне. Полностью это, конечно, достигнуто быть не может: за Советским Союзом всё равно останется преимущество географической близости. Но тем более оснований для того, чтобы настаивать на возможно большем смягчении этого неравенства — путем расширения нейтральной зоны до самых границ Советского Союза. Что такое предложение попало бы в цель, видно уже из той яростной реакции, которую вызвало в Москве одно упоминание о возможности включения в программу конференции вопроса о странах-сателлитах. С полной откровенностью высказались по этому поводу в Будапеште и Бухаресте: там усмотрели в американском предложении недопустимое «вмешательство во внутренние дела суверенных го-

сударств» (остается непонятным, почему советское предложение нейтрализации центрально-европейских стран не является таким же вмешательством) и даже угрозу восстановления «старого порядка». Последнее особенно знаменательно: это в сущности равносильно признанию в том, что прекращение военной связи с Советским Союзом создаст серьезную угрозу для самого существования коммунистических режимов в странах-сателлитах. Можно думать поэтому, что на такую уступку советская дипломатия не пошла бы. Но с неменьшей уверенностью можно предсказать и то, что на принятие советской программы нейтрализации западные державы тоже пойти не смогут: в согласии с Аденауэром, Вашингтон уже заявил о неприемлемости для него проекта нейтрализации Западной Германии. С другой стороны, при обсуждении вопроса о способах объединения Германии западные державы несомненно будут настаивать на свободных выборах под международным контролем, и трудно представить себе, чтобы и по этому пункту между обеими сторонами могло бы быть достигнуто соглашение.

Рассчитывать на то, что основные проблемы международной жизни могут быть разрешены на предстоящей этим летом конференции, конечно, не приходится. Но что они там будут подняты — является более чем вероятным. На первой со времени Потсдама конференции «великой четверки» будет сосредоточено внимание всего мира, и упустить такую возможность широко развернуть свой пропагандный маневр советская власть ни в коем случае не может. Это ставит перед западными участниками конференции нелегкую тактическую задачу. Для Запада было бы крайне невыгодно предоставить инициативу Советскому Союзу, позволить ему выступить в качестве глашатая идеи международного мира и оставить за собой чисто отрицательную роль — критика и разоблачителя советских лозунгов и тактических маневров. Конечно, и от этой роли западные представители отнюдь не должны отказываться — выше я уже говорил о том, как в этом порядке ими могут быть выдвинуты соответствующие контрпредложения. Но для надлежащего воздействия на мировое общественное мнение критика и контрпредложения далеко не достаточны. Им — и не только им, но и советским декларациям — должна предшествовать западная инициатива в формулировке широкой программы замирения мира, — программы *подлинного* разоружения, *подлинной* коллективной безопасности, *подлинного* обеспечения национальной независимости и *подлинного* междуна-

родного сотрудничества. Это не будет состязание двух соперничающих демагогий. Не будет прежде всего потому, что государства свободного мира действительно нуждаются и кровно заинтересованы в стабилизации мирового положения — в отличие от коммунистической диктатуры, которая родилась в эпоху одного послевоенного распада и достигла наивысших своих успехов в эпоху другого такого же распада, неизмеримо более глубокого. Для свободных народов мир, международный и социальный, есть нормальное состояние и необходимое условие их существования и развития, а не временная передышка между двумя «революционными ситуациями». Более того, выдвигая свою программу международного мира, западные представители не будут, конечно, делать вид, что они верят в возможность немедленного ее выполнения. Это будет программа, расчитанная на длительный и пока еще неопределимый промежуток времени, и ее необходимым дополнением должен быть перечень тех конкретных мер, которые можно было бы провести теперь же. Если бы западные правительства были заинтересованы в одной пропаганде, они не настаивали бы на предварительном характере предложенной ими конференции. Для них это только первая проба, попытка в обмене мнений наметить возможные основы и пределы соглашения. В том случае, если эта попытка даст положительные результаты, им рисуется в дальнейшем целый ряд конференций (в большинстве своем уже не на «высшем уровне»), работа которых, посвященная разработке конкретных мероприятий, может растянуться на несколько лет. Как известно, в Москве эта схема была истолкована, как желание умалить значение конференции «великой четверки» и вообще свести переговоры на нет. На самом деле такой подход доказывает прямо противоположное: сознание своей ответственности за судьбы мира и стремление использовать каждую действительную (а не мнимую) возможность к разряжению нависшей над ним грозовой атмосферы.

Трудности, возникающие перед руководителями западной политики, связаны не только со своеобразной природой того партнера, с которым им предстоит договариваться. Им приходится считаться еще и с психологией их собственных народов — в степени гораздо большей, чем это вынуждена делать любая диктатура. А в этой психологии страх перед войной может оказаться (и часто оказывается) сильнее страха перед коммунизмом. В Европе многие привыкли смотреть на Америку как на страну, склонную преувеличивать коммунистическую опас-

ность. Но при всей силе здешних анти-коммунистических настроений идея конференции «на высшем уровне» была встречена американским общественным мнением с несомненным сочувствием. Лучшим доказательством этого является та довольно слабая реакция, которую «новый курс» американской дипломатии вызвал со стороны так называемых правых республиканцев. Повидимому они чувствуют, что в этом вопросе страна не с ними. В Европе, где по понятным причинам тяга к миру всегда была сильнее, идея конференции вероятно пользуется еще большей популярностью.

Опасность заключается в том, что народы западного мира могут возложить на конференцию преувеличенные надежды. В такой психологической атмосфере явный провал конференции мог бы привести к преувеличенному разочарованию, результаты которого, какую бы конкретную форму они ни приняли, во всяком случае не пошли бы на пользу западному единству и международному миру. С другой стороны, если бы конференция завершилась каким-нибудь, хотя бы самым скромным, сговором, то, в силу той же самой психологии, результат этот мог бы быть истолкован в излишне оптимистическом смысле и послужить основанием для вредных иллюзий. Последний вариант представляется наиболее вероятным. Трудно представить себе, чтобы любая из двух сторон была заинтересована в окончательном отказе от дальнейших переговоров — даже и в том случае, если бы первая конференция никаких ощутительных результатов не дала. Вернее всего, что нам предстоит быть свидетелями повторных и длительных попыток добиться соглашения — причем и это соглашение, если бы удалось его достигнуть, «вечного мира» принести с собой, конечно, не сможет. Непосредственная задача западных союзников заключается в том, чтобы довести до возможного минимума опасность вооруженного столкновения с восточным блоком. Если бы такой *modus vivendi* мог быть найден и сколько-нибудь обеспечен, то напряженность мирового положения была бы уменьшена, и период «холодной войны» сменился бы периодом «сосуществования в соревновании», согласно выражению, пущенному в оборот в англо-саксонской прессе (*«competitive coexistence»*). Чем именно это «соревнование» будет отличаться от «холодной войны», сейчас сказать еще трудно. Возможно, что единственным отличием — по крайней мере на первых порах — будет более или менее обеспеченное отсутствие непосредственной военной угрозы. И это уже, конечно, будет очень много. Но идеологическая борьба не прекратится — борьба между

свободой и деспотизмом за преобладание в мире снята с очереди быть не может. Останется в силе и необходимость «строжайшей бдительности», рекомендованной в свое время Черчиллем. Народам западных стран предстоит своего рода экзамен на выдержку. Сумеют ли они сочетать свою вполне законную тягу к миру с сознанием того, что нужны дальнейшие усилия и дальнейшие жертвы прежде чем подлинный мир, мир построенный на свободе, может быть действительно обеспечен?

2. ОБ ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Экзамен на выдержку предстоит и русской эмиграции.

Я не принадлежу к числу тех, которые считают, что никакой политической роли эмиграция играть не может. Это такая же крайность как и признание за эмиграцией первостепенного политического значения. В доказательство последней точки зрения часто ссылаются на пример Ленина, но этот пример в значительной мере обманчив. Ведь если бы не первая мировая война, Ленин легко мог бы закончить свои дни в изгнании, не оказав на судьбу России сколько-нибудь заметного влияния. Нельзя забывать и того, что ни он, ни другие эмигранты революции в России не устроили. Она произошла в их отсутствие и не под их руководством, и когда они вернулись на родину, старый режим лежал уже в развалинах и им оставалось только воспользоваться открывшимися перед ними возможностями. Я прекрасно помню, конечно, об их предыдущей революционной деятельности и готов признать, что в какой-то доле они революцию подготовили. Но в том, что революция в конце концов произошла, их значение решающим всё-таки не было. При всём том у этой старой русской политической эмиграции были преимущества, которым теперешние эмигранты могут позавидовать: у них была несравненно более тесная связь с родиной, неизмеримо более полная информация о том, что там происходит, и гораздо бóльшая возможность общения с оставшимися внутри страны единомышленниками. Лишенная всех этих преимуществ, да и в некоторых других отношениях поставленная в менее благоприятные условия, эмиграция наших дней должна была бы дать себе ясный отчет в ограниченности своих политических возможностей. Если бы политические действия эмиграции были соразмерены с ее возможностями, а последние были бы использованы с максимумом целесообразности, то эмигрантская политика могла бы дать осязательные и положительные результаты. К сожалению, в действительности наблюдается

скорее обратное: наша эмиграция часто ставит себе недостижимые политические цели и не делает того, что она должна была бы делать для использования имеющихся у нее вполне реальных возможностей. В результате получается всеобщая неудовлетворенность, отражающаяся в толках о переживаемом эмиграцией кризисе, о тупике, в который зашла эмигрантская политика, иногда даже — о разложении эмиграции. Такая самокритика могла бы быть только полезной, если бы она шла по правильному пути и если бы она была действительно *само*критикой. В большинстве случаев она сводится, однако, ко взаимным обвинениям, к эмоционально окрашенной полемике, в которой каждая политическая группа или индивидуальные представители той или иной точки зрения обвиняют в ошибках (если не в преступлениях) всех, кроме самих себя. Вместо плодотворной объективной дискуссии, направленной к выяснению подлинных причин кризиса, и вместо совместных усилий к его преодолению, получается своеобразное соревнование в поисках «козла отпущения», на которого можно было бы свалить вину за общую неудачу.

Нагляднее всего это проявляется в постоянных сетованиях на отсутствие общеэмигрантского объединения, понимаемого при этом в максимальном, так сказать, смысле — как своего рода общеэмигрантский парламент, выделяющий из себя единое для всей эмиграции политическое руководство. Характерно, что вместо попыток разобраться в коренных причинах этого, для многих прискорбного явления, и в этом случае ищут прежде всего виновных в неудаче «злодеев». Помимо преувеличенных, на мой взгляд, представлений о роли в этом деле советских агентов (шпиономания в эмигрантской среде принимает иногда угрожающие размеры), особой популярностью пользуется теория о зловредном влиянии политических партий и партийных «вождей». При этом в известных кругах проявляется тенденция усматривать это зло преимущественно в рядах старой эмиграции и в ее «левом секторе» в особенности. Никаких фактических оснований для этого одностороннего обвинения не имеется. Неспособность к объединению проявляется у правых не менее чем у левых — и у новых эмигрантов в такой же мере как у старых. А возникающие время от времени организации «беспартийных», во-первых, ничем ощутительным от организаций «партийных» не отличаются, а во-вторых, центрами объединения пока что тоже не становятся. Мало кому приходит в голову задаться вопросом о том, достижимо ли вообще то организационное объединение по широкому фронту, о кото-

ром у нас обычно мечтают. Вся история русской эмиграции за последние тридцать лет, казалось бы, доказывает обратное. До сих пор ни одна попытка этого рода — всё равно из каких бы кругов, правых, центральных или левых, она не исходила — успеха не имела. Более того, уже самая попытка к объединению обычно вела к вящему разъединению, и нетрудно понять, как это происходило: для того, чтобы объединиться, надо было предварительно договориться о платформе, а в процессе этого обсуждения выходили наружу — и притом в обостренном виде — все противоположные точки зрения, представленные различными участниками объединительной акции. В результате вместо задуманного широкого объединения получалась еще одна организация, объединяющая более или менее единомыслящих людей, т. е. по существу — еще одна «партия».

Предвижу возражение, которое мне может быть сделано. «Вся беда заключается в том, что обсуждают платформы — именно в этом и сказываются партийный дух и партийные навыки. Для тех, кто хочет объединиться только для борьбы с большевизмом, никакой платформы не нужно». В этом рассуждении, которое приходится читать и слышать очень часто, отражается, конечно, чрезвычайно упрощенное представление о борьбе с большевизмом. Если бы для объединения было достаточно одного признания необходимости этой борьбы, то общеэмигрантская организация давно была бы уже совершившимся фактом. Но в том-то и дело, что одного такого признания недостаточно. Оставим в стороне вопрос о том, можно ли вести пропаганду против советского режима, совершенно не касаясь того, что за его свержением последует — в этой области я лично готов был бы принять значительную дозу непредрешенчества. Всё равно останется еще целый ряд вопросов, связанных с применением того или иного приема борьбы, с содержанием пропаганды, с привлечением к работе тех или иных групп — словом, весь комплекс проблем, тактического и стратегического характера, неотделимый ни от какого политического действия. А по этим вопросам неизбежны разногласия, вытекающие из различной оценки *целесообразности* предлагаемых методов борьбы, и разногласия эти могут быть настолько серьезны, что их одних уже совершенно достаточно, чтобы сделать совместное политическое действие, *в пределах одной общей политической организации,* — невозможным.

Не знаю, почему русская эмиграция должна проявлять такой максимализм, стремясь непременно к единому политическому центру. Такого единодушия нет ни в одной другой поли-

тической эмиграции нашего времени, да нет ее, как известно, и ни в одном государстве западного мира. Вместо того, чтобы тратить усилия на достижение этой химеры (или сокрушаться по поводу того, что она недостижима), эмиграции следовало бы обратить внимание на поднятие в ее среде общего уровня политической культурности, настоящим состоянием которой мы, увы, похвастаться никак не можем. Я имею в виду главным образом ту широко распространенную нетерпимость, которая так часто отравляет атмосферу нашей эмигрантской жизни. Можно как угодно расходиться друг с другом по политическим вопросам, но недопустимо, без совершенно точно установленных оснований, заподазривать мотивы человека, высказывающего неприемлемые для вас взгляды. А между тем такие подозрения высказываются достаточно часто — и не только в личном порядке, но и публично и даже в печати. Вспоминаю случаи, когда подозрения вызывали авторы, говорившие о сложности происходящих в Советской России социально-политических процессов, или допускавшие возможность эволюции советского режима в том или ином отношении, или сомневавшиеся в близости народной революции в России, и т. п. Эмоциональность этих и им подобных реакций иногда достигает такой степени, что она делает спокойное и объективное обсуждение серьезных политических проблем мало возможным. И надо признать, что за последнее время наша политическая полемика часто ведется на таком уровне, на каком она никогда не велась в былое время. Думаю, что эта нетерпимость и эта неспособность к объективному суждению играют гораздо бóльшую роль в политической дезорганизованности эмиграции, чем какие-либо «партийные козни» или те или иные внешние обстоятельства. Именно они препятствуют — не созданию обще-эмигрантской организации, на мой взгляд вообще неосуществимой, а установлению вполне возможного практического сотрудничества между отдельными эмигрантскими группами, которые «идя врозь», могли бы «бить вместе».

Для такого практического сотрудничества, применяемого в определенных границах к определенным, стоящим в каждый данный момент на очереди, политическим задачам, нужна, конечно, атмосфера взаимного доверия и уважения и готовность итти на компромиссы — не принципиального, а тактического характера. А для этого в свою очередь нужно, чтобы не столько «вожди», роли которых в эмигрантских условиях вообще суждено оставаться ограниченной, сколько прежде всего «средние эмигранты» изменили свою психологию. Та́к, как дело обсто-

ит сейчас, в этой психологии слишком много элементов, ослабляющих эмигрантскую политическую дееспособность. Кроме максимализма и значительной доли фанатической нетерпимости пагубную роль играет еще и то, что я назвал бы упрощенчеством. Я уже коснулся этой очень типичной эмигрантской черты применительно к распространенному в эмиграции представлению о том, что́ нужно для того, чтобы общеэмигрантское организационное объединение могло осуществиться. Но то же упрощенчество, неразрывно связанное с максимализмом, сказывается и в представлениях о самом содержании антибольшевистской борьбы. Здесь оно проявляется между прочим как «активизм», в большинстве случаев принимающий чисто эмоциональный или даже просто словесный характер. Если еще можно допустить, что в смежных с зоною советской оккупации областях у эмигрантских организаций могут быть некоторые возможности для революционной работы в прямом смысле этого слова (хотя и здесь излишний оптимизм был бы неосторожным), то для подавляющего большинства эмиграции эти возможности просто не существуют. И вообще надо признать, что ни устроить революцию в России, ни вызвать ее призывами со стороны — эмиграция никак не может. Выше я говорил о практическом сотрудничестве между отдельными эмигрантскими группами, которые «идя врозь» могли бы «бить вместе». Единственное реальное оружие в руках эмиграции, которым она может бить врага, это — свободное слово. Единственная подсобная роль, которую эмиграция могла бы сыграть в освобождении России, это посильное участие в антикоммунистической пропаганде. Никакого другого способа борьбы с большевиками эмиграции в целом не дано. Но и этим оружием надо уметь пользоваться. Слишком часто к вопросам пропаганды у нас подходят тоже в духе крайнего упрощенчества. Ясно, что настойчивым повторением одних и тех же обличительных лозунгов никакого политического эффекта добиться нельзя — о всех отрицательных сторонах советского режима люди, живущие в России отлично знают и без нас. Политическая пропаганда — дело далеко не простое, а наоборот весьма сложное. В наших условиях оно еще усложняется отсутствием достаточно полной и достаточно точной информации о том, что делается на нашей родине. Не будем успокаивать себя тем, что даже из этой неполной информации мы, на основании нашего прошлого русского опыта, можем понять то, что там происходит, много лучше чем иностранцы. В какой-то мере это несомненно верно, но я не знаю, настолько ли уж мы более осведомлены и проница-

тельны. И, конечно, это наше прирожденное преимущество с годами неизбежно уменьшается. Не только старые, но и новые эмигранты имеют за собой уже почтенный стаж заграничного пребывания, а приток «новейших», согласно всем данным, постепенно иссякает. Есть в нашей среде люди, которые нетерпеливо отмахиваются от этой проблемы категорическим утверждением, что, независимо от того, как давно они покинули Советскую Россию, они и сейчас отлично могут представить себе всё, что там происходит, «так как там вообще ничего не меняется и измениться не может». Но это и есть то самое упрощенчество, которое ничего кроме вреда политической работе эмиграции принести не может. Всё вышеуказанное ни в какой мере не значит, что я считаю всякую антикоммунистическую пропаганду обреченной на неудачу. Я хочу только подчеркнуть, что для своей действенности пропаганда эта должна быть основана на большой и серьезной предварительной работе, на тщательной проверке и критическом анализе информационного материала и на учете всей сложности стоящих перед ней задач.

Другая возможная для эмиграции политическая функция это — воздействие на иностранное общественное мнение. Но и эта задача не так проста, как она многим из нас представляется, и успешное ее выполнение тоже возможно лишь в определенных пределах и при определенных условиях. В эмиграции любят говорить о необходимости «раскрыть глаза западному миру», но от этой достаточно претенциозной формулы давно уже пора было бы отказаться. Она подразумевает преобладание крайней близорукости, если не полной слепоты, среди людей западного мира и преобладание дальнозоркости среди эмигрантов. Между тем ни для того, ни для другого предположения фактических оснований не имеется. Было бы гораздо скромнее и вместе с тем реалистичнее говорить о посильном вкладе эмиграции в дело установления правильного взгляда на то, что происходит в Советской России. Я нисколько не отрицаю того, что эмигранты могут помочь западным людям в этом разобраться — и в смысле информации, и в смысле истолкования тех или иных русских событий. Но для того, чтобы выполнять эту полезную функцию, эмигрантам надо прежде всего отказаться от лестной для нашего самолюбия, но не отвечающей действительности мысли, что на западе никто ничего о России не знает и ничего в ней не понимает, а мы всё отлично знаем и всё до конца понимаем. Во-первых, и в западных странах есть люди, которые внимательно и вдумчиво следят за происходящими на нашей родине политическими и социальными процессами, есть

солидные органы периодической печати, дающие интересную и ценную информацию о России (которой, кстати сказать, и мы сами в значительной мере питаемся), и есть ученые, ведущие серьезную исследовательскую работу, посвященную русской истории и русской современности. Про себя лично я могу, не обинуясь, сказать, что в американских работах о России я часто нахожу более ценную информацию и более убедительную интерпретацию, чем в нашей эмигрантской литературе. Во-вторых, опыт показывает, что и наши эмигрантские эксперты, и очевидцы, сравнительно недавно бывшие в России, сплошь да рядом так же вынуждены основываться на догадках и предположениях, как и западные комментаторы, и нисколько не меньше последних расходятся между собою в своих выводах. Думаю поэтому, что снисходительно-поучительный тон нам решительно не к лицу.

Самая задача «просвещения» западного мира очень часто понимается эмигрантами опять-таки в чрезвычайно упрощенном смысле. В этом понимании она сводится к изобличению деспотического характера советского режима и к указанию на несовместимость коммунизма со свободой. Было время, когда это действительно надо было делать. Не берусь судить о европейских странах, но решаюсь утверждать, что в Америке настоятельной необходимости в этом сейчас нет. Начиная с государственных верхов и кончая большинством средних американцев почти все достаточно ясно представляют себе, какова природа советской власти и в чем заключается опасность коммунизма. Насущная проблема, стоящая перед американским правительством и общественным мнением, заключается в том, чтобы найти наиболее действенные способы для отражения этой опасности. И вот в этой, единственно важной сейчас, области эмигрантская пропаганда, поскольку она обращена к западному миру, обычно велась до сих пор так, что особого доверия к себе она вызвать никак не могла. Для этого был ряд причин, о которых надо сказать с полной откровенностью.

Прежде всего эта пропаганда носила и продолжает носить преимущественно отрицательный характер. Эмигранты протестуют, изобличают, предупреждают, угрожают роковыми последствиями — и только. А если, в сравнительно редких случаях, и даются какие-нибудь положительные советы, то они либо настолько общи, что никакого практического значения иметь не могут, либо настолько несогласованы с реальными возможностями, что их фантастичность самоочевидна. Это скорее агитационные лозунги, чем продуманные планы политического

действия. В значительной мере это объясняется недостаточным знакомством эмиграции с теми западными странами, в которых она живет, и недостаточным пониманием их психологии. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что в этом отношении у эмиграции нет никакого преимущества перед теми самыми иностранцами, которых она так часто обвиняет в незнании и непонимании России. А ведь Россия отделена от большинства западных стран не только значительным пространством, но еще и «железным занавесом», в то время как западный мир у нас каждый день перед глазами и никаких препятствий к знакомству с ним не имеется. Не нужно ли нам, прежде чем раскрывать чужие глаза, пошире открыть свои собственные?

Без этого, конечно, никакая действенная пропаганда невозможна. Для успеха всякой пропаганды самое важное понимать психологию того, к кому эта пропаганда обращается. С ней должно сообразоваться не только содержание пропаганды, но и ее форма, тот тон, в котором она ведется. И это не только в применении к данной национальной среде — скажем, американской, — но и к каждому из ее групповых подразделений. Большинство американцев может сходиться в общем отрицательном отношении к советской власти и к коммунизму, но по вопросу о том, как с этой опасностью бороться, между отдельными группами и политическими течениями могут быть — и, как мы знаем, действительно имеются — очень значительные расхождения. В этой области могут быть и фактически существуют колебания, иллюзии, неправильные уклоны, в устранении которых эмиграция могла бы сыграть, может быть и скромную, но всё же полезную роль, если бы она знала, как к кому подойти и с кем на каком языке разговаривать. И еще одно в сущности очевидное соображение: главные пропагандистские усилия должны быть направлены не на тех, кто уже заведомо убежден в том, что ему доказывают — таких и пропагандировать нечего, а на колеблющихся и несогласных. Всё это было бы азбукой для опытных пропагандистов доброго старого времени, но боюсь, что в эмиграции наших дней искусство пропаганды стоит не на очень большой высоте. Многие ли у нас дают себе труд над этими вопросами задуматься? Обычно наши политические миссионеры в американской среде (к слову сказать, крайне немногочисленные) выбирают свою аудиторию по принципу темпераментного сродства, а если иногда попадают на колеблющихся или несогласных, то не стараются их убедить, а обрушиваются на них с протестами и обличениями. Вместо диалога получается монолог, дающий пропагандисту возможность

излить свои накопившиеся чувства. Это, конечно, приносит известное моральное удовлетворение и для поддержания духа в самой эмиграции может быть и полезно, но только с целесообразной политической работой это имеет очень мало общего.

Все эти соображения, продиктованные не критиканством, а глубокой неудовлетворенностью теперешним состоянием нашей эмигрантской общественности, в моих глазах приобретут особое значение в предстоящую нам трудную эпоху. Если мой прогноз правилен и нам суждено пережить более или менее длительный период затяжной борьбы свободного мира с коммунизмом, то для эмиграции особенно важно психологически перестроиться в соответствии с изменяющейся мировой обстановкой. Это ни в какой мере не означает ни отказа от непримиримости ко злу, ни психологической демобилизации. Это означает, напротив, повышение нашей политической дееспособности, требующей сочетания идейной стойкости с тактической гибкостью — и с духовной выдержкой. Помимо максимализма, упрощенчества и прямолинейного «активизма» эмиграции надо преодолеть и свойственную ей своего рода эсхатологическую психологию. Не будем уподобляться русским раскольникам семнадцатого века, жившим в постоянном ожидании конца греховного мира, уверенно назначавшим его срок и вынужденным снова и снова этот срок откладывать. Веру в то, что желательный для нас «конец» рано или поздно придет, угашать в себе, конечно, не следует. Делать то, *что возможно,* для его ускорения, конечно, необходимо. Но тем временем, не истощая своих сил в эмоциональных вспышках и не тратя их зря на мнимое делание, к нему надо готовиться путем работы политической мысли, которая в нашей среде почти заглохла, и путем культурного творчества, о котором мы тоже не особенно печемся.

Но это уже особая тема и о ней следовало бы поговорить отдельно.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

ТРИ КНИГИ О ГОГОЛЕ

Своеобразна судьба Гоголя: и через сто лет после его смерти о нем пишут, снова и снова открывая в нем новое, освещая его по новому, как будто бы он — литературное явление сегодняшнего дня. В работах о Гоголе не встречаем той «археологической» тональности, в которой звучат очень часто работы об авторах, скончавшихся одно-два десятилетия тому назад. И возможны были бы еще более живые и интенсивные споры о ценности и смысле творчества Гоголя, если бы не было «железного занавеса» и если бы пишущие о Гоголе по разные стороны этой непроницаемой преграды, хотели бы и, главное, могли бы, понять друг друга и друг с другом беседовать.

Юбилейный 1952 год вызвал появление ряда работ, из которых некоторые заслуживают внимания. В Советской России вышла книга *В. Ермилова* (Н. В. Гоголь. Москва. 1952, стр. 296, в следующем году перепечатана с дополнениями). Книга Ермилова принадлежит к несколько необычному в Советской России типу эссеистских очерков; как автор предупреждает читателя, он «не ставит своей задачей» ни полного изложения биографии, ни исчерпывающего анализа произведений Гоголя. Гораздо неожиданней: автор хочет дать «исследование идейно-художественных особенностей творчества писателя». Книга Ермилова как будто должна заменить для советского читателя импрессионистические книги и этюды В. Розанова, Мережковского или Айхенвальда. Стиль — с претензией на блеск и остроту; язык — необычный для советских работ по истории литературы: «обжигающие слова», «боковые переулки» речи, «отвлеченная торопливость», «хрупкость радости», вот — типичные, не всегда удачные, обороты языка Ермилова. Оставим в стороне вводные страницы, с их исчислением великих людей, высоко ценивших Гоголя, среди них, конечно и Белинский, и Чернышевский, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин, (о котором узнаём впрочем только, что он «назвал Гоголя великим русским писателем»), инвективы против Соединенных Штатов (по совершенно случайным поводам), и наконец заключение: «Не удастся заморскому Вию запугать народы мира. Бессмертна живая душа человечества, воплощенная в гении нашего Сталина — гении дружбы и мира всех народов»... Осталь-

ным частям книги нельзя отказать в цельности и последовательности. Необычайна для работ советских ученых последних лет значительная дань формальному анализу, иногда удачному: таково, например, то, что сказано о приемах, применяемых Гоголем при переходах от радостного к печальному (стр. 41 и след.), о применении серьезных приемов эпического повествования к изображению комического (стр. 70 и след.), о приеме «овеществления» ничтожных героев (замена человека предметом, стр. 129), замечания о композиционном значении слова «даже» (о чем я писал в 67 томе «Современных Записок» в 1938 г., стр. 52 и след.) и т. д. Ермилов рискует даже цитировать типично «формалистические» работы В. Виноградова и статьи Аполлона Григорьева. Но в целом книга — попытка чисто политического и социального истолкования *всего* Гоголя. Многое поражает остроумием. Автор обладает способностью строить незаметные переходы от одной темы к другой: от темы Гоголя — к своей собственной. Вероятно, многие читатели не заметят искусственности многих таких переходов. От случайной метафоры Гоголя в «Вие» (где печаль сравнивается с чувством, вызываемым «песней об угнетенном народе») — строится мост к утверждению, что всё творчество Гоголя «было песней об угнетенном народе», хотя сам автор несколькими строками ниже должен признать, что угнетенный народ — только «*вторая* действительность», которую «мы всегда *чувствуем*» «*в глубине* гоголевской поэзии» (стр. 48). От «кривизны» головы в «Майской ночи» (напомню, что голова «крив» на один глаз!) смелый переход к кривде и криводушию (стр. 49) правящих. Смерть Хомы Брута в «Вие», бесовские силы, панночка-ведьма ведут автора к образу угнетателей, а Вий оказывается... Соединенными Штатами! (стр. 79 и след.). От борьбы Тараса Бульбы против Польши, пожалуй, более естественный переход к идее союза с Москвой, — но ведь у Гоголя об этом не сказано ни слова (85). А от надежды одного из героев «Тараса Бульбы», кошевого Кукубенка: «пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы...» строится переход к этим «лучшим», — Ленину и Сталину (стр. 95). Этот своевольный импрессионистический метод далеко оставляет за собою смелость импрессионистического стиля Мережковского. Во всяком случае применение этого метода — совершенно необычное в советской литературе оправдание символизма и признание насквозь символического характера творчества Гоголя! Иногда этот метод приводит автора и к замечаниям совершенно или хотя бы отчасти правильным: таково смелое равенство нос-вес-чин (стр. 160), в котором намечено правильное понимание сюжета «Носа»: потеря носа для Ковалева — потеря всякого «положения» в обществе, всякого «веса» («чин» здесь, пожалуй,

и не при чем). Таково истолкование наброска Гоголя о петербургском дожде, «смывающем с людей всякое благообразие», чисто внешнее (стр. 111 и след.). Ермилов решается даже полемизировать с Белинским, видевшим в героях «Старосветских помещиков» «пасквили на человечество». Ермилов склонен видеть в них только пародии, при том «не злые, добрые пародии», что уже очень близко к художественному намерению самого Гоголя (стр. 120 и след.). Очень удачно отмечено, что герои «Ревизора» преклоняются перед Хлестаковым вовсе не только из страха и подобострастия, но и потому, что видят в нем «свой идеал человека» (стр. 217). и т. д.

Эти неожиданные замечания вовсе не в стиле советского литературоведения, к сожалению, сопровождаются достаточным количеством безвкусиц. Но главный недостаток книги в уже упоминавшемся стремлении автора каждую интерпретацию завершить политикой или социологией. И после отдельных удачных замечаний приходится читать то о народолюбии «Вечеров» (в современном смысле), при чем в доказательство приводится навеянное Вальтер Скоттом предисловие к «Вечерам» (автор, конечно, совершенно не упоминает о европейской литературе), то о «вольнолюбии» парубков в «Майской Ночи» (голова становится символом царизма), то по поводу «чертовщины» о «народном здоровьи», будто бы свободном от боязни перед чертями и ведьмами — «силами угнетения, барства» (47), то по поводу Чичикова о мнимой полемике Гоголя против биржевой игры (стр. 243) и против Наполеона (245) и т. д. Конечно, главное — «образы» Гоголя «служат оружием в борьбе за коммунизм» (273). В мечтаниях Чичикова о судьбе купленных им беглых крестьян автор открывает темы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и «босяков» Горького (288)... «Социология» забывающая о всем различии между человеком крепостным и свободным, между крепостным хозяйством и капиталистическим хозяйством, просто очень плохая социология. Но автор даже и не социолог и не политик, а попросту политический агитатор. Как таковой он теперь, конечно, не может обойтись без «патриотизма» и здесь его красноречие расцветает всеми красками типичного советского патриотизма с презрением ко всем народам и странам, находящимся по эту сторону железного занавеса: замечательно, что даже пребывание Гоголя в Риме рисуется так, как будто бы Гоголь не добровольно оставался там, мучимый безысходной тоской по России (стр. 233-4).

Я не мог, конечно, отметить ни всех положительных, ни всех отрицательных сторон этой, во всяком случае примечательной книги, главным недостатком который является ее стиль. Ермилову не удалось стать так сказать «советским Мережковским»: постоянное

употребление советских журнальных и газетных политических штампов часто производит вместо эстетического юмористическое впечатление.

Вторая книга о Гоголе, которую хочется отметить, написана представителем младшего поколения немецкой славистики, русским по рождению, гамбургским профессором *Всеволодом Сечкаревым*, которому славистика обязана прекрасным исследованием о влиянии Шеллинга в России в первой половине XIX в. и рядом других работ. В своей работе автор соединяет задачи исследователя и популяризатора. Книга написана прекрасно: просто, но изящно; часто автору удаются яркие характеристики произведений и их героев, есть отдельные места и формулы, которые хочется удержать в памяти. Эта — первая на немецком языке — книга о Гоголе несомненно будет иметь немалое значение в знакомстве немецкого читателя с великим писателем, произведения которого распространены в Германии не менее, чем произведения Достоевского. Но облик Гоголя был для немецкого читателя затемнен с одной стороны неудачными переводами, с другой — многочисленными, но по большей части неосновательными статьями о нем. Низкое качество переводов легко понять: своеобразный стиль Гоголя, его намеренно-неправильный язык, неповторимая ритмика и музыкальность которого до сих пор в своем существе не выяснена исследователями, требуют переводчика такого уровня, который бы приближался к уровню самого Гоголя. Как образец мне мыслится немецкий перевод «Тристрама Шенди» Л. Стерна проредактированный таким мастером словесного искусства, как Лессинг. А неудачные статьи выросли на почве, подготовленной также не весьма высокой русской литературой о Гоголе; наиболее ценные работы о нем почему-то почти никогда не попадали в руки иностранных почитателей Гоголя, и на статьях и книгах отражались взгляды тех русских критиков и писателей, кто пытался подогнать Гоголя под собственный ранжир. В этом смысле книга Сечкарева весьма отрадное явление: автор строит свою работу на самостоятельном размышлении над произведениями Гоголя и на знакомстве с такими работами, как книги Мандельштама, Зеньковского, Гиппиуса, Мочульского, которым он не следует рабски, но над которыми он, как видно, думал и принял их выводы и указания во внимание.

Книга проф. Сечкарева (N. V. Gogol. Leben und Schaffen. Западный Берлин. 1953, стр. 192, большого формата и убористой печати) распадается, в соответствии со своим заглавием на две части: первая, меньшая, посвящена биографическому очерку (стр. 9-74), вторая — анализу творчества Гоголя (стр. 75-190). О том, что читателю приходится начать чтение с первой части, приходится

пожалеть: она и гораздо менее ярка, чем вторая, и дает сравнительно мало для понимания творчества Гоголя. Автору нередко приходится указывать на то, что у нас нет достаточных сведений об отдельных и часто весьма существенных моментах и периодах жизни Гоголя. Во многих случаях приходится от произведений Гоголя делать заключения о его внутреннем развитии и даже о внешних обстоятельствах его жизни. В. Гиппиус попытался найти следы впечатлений Гоголя от его первой заграничной поездки в «Арабесках»; только случайные сведения есть у нас о связях Гоголя с итальянской культурной жизнью того времени, — о его занятиях итальянской литературой, о его наблюдениях над народной жизнью (многое можно вычитать из «Рима»), недавно появились в печати сведения о написанной Гоголем итальянской статье («Литературное Наследство» том 58 1952 г., стр. 592) и т. д. Биография Гоголя дает очень мало для понимания его творчества. Вообще значение биографии писателя в историко-литературном исследовании нельзя расценивать слишком высоко: это недавно остроумно сформулировал А. М. Ремизов: «Сколько ни проигрывай в рулетку — «Преступления и Наказания» не сочинишь!». Все русские современники Гоголя видели ту же Россию, что и он, но никто не написал ни «Ревизора», ни «Мертвых душ».

Биография Гоголя в книге Сечкарева в целом — история *внешних* обстоятельств жизни Гоголя. Для истории его внутреннего развития читателю приходится обращаться ко второй части, по крайней мере, как к дополнению к первой. Биография не выходит за пределы общеизвестного материала. Только одно существенное замечание приходится сделать: автору казалось необходимым дать какую-то схему духовного развития Гоголя: он принимает традиционную и уже очень часто подвергавшуюся сомнению схему в которой существенным моментом является «духовный кризис», слишком «просвещенными» историками литературы обозначавшийся, как «религиозное помешательство», иными же возводившийся к влиянию отца Матвея... Сечкарев присоединяется к мнению тех, кто в развитии Гоголя такой кризис видит, он даже устанавливает момент «перелома» — пребывание Гоголя в 1840 г. в Вене и пережитая им там тяжелая болезнь, которую автор без оснований называет «нервной болезнью» (стр. 53). Хотя никаких убедительных доказательств в пользу этого мнения привести нельзя, автор, высказав эту гипотезу, затем уже говорит о ней, как о факте, и даже говорит о «мистическом» характере религиозного переживания Гоголя, о его «мистическом видении» (стр. 55) и т. п. Гипотеза автора представляется мне весьма слабо обоснованной уже потому, что ей противостоит совершенно определенное решительное свидетельство самого Гоголя

о том, что *никакого* религиозного кризиса он не переживал. Сечкарев пытается обосновать свою гипотезу на том факте, что в ранних произведениях Гоголя нет речи о Боге. Но нет ее и в вышедших после мнимого «перелома» «Шинели», «Мертвых Душах», а до «кризиса» Гоголем написана первая редакция «Портрета», в которой есть несомненные отзвуки эсхатологического пиетизма. И не каждый религиозный писатель всё время употребляет всуе имя Божие (напр. А. К. Толстой). Отрицательно относится Сечкарев и к свидетельствам об интересе Гоголя к католицизму, еще до «перелома»: свидетельство польских католических священников, встречавшихся с Гоголем в салоне Зинаиды Волконской в Риме, Сечкарев истолковывает в духе Вересаева: «хитрый Гоголь» симулировал католические симпатии, чтобы понравиться Зинаиде Волконской. Эту замечательную русскую женщину Сечкарев крайне безвкусно называет «богатой дамой». Не говоря уже о том, что эта страница (46-7) рисует Гоголя в очень неприглядном свете (читатель может подумать, что Гоголь пользовался какими-то материальными благами «богатой дамы»), есть и свидетельство о более поздних связях Гоголя с католиками (напр. письмо иезуита кн. Ивана Гагарина от 28 марта 1949 г. в цит. выше томе «Литературного Наследства», стр. 716-7); заслуживает внимания и увлечение Гоголя «Подражанием Христу» Фомы Кемпийского, увлечение, которое, как справедливо отмечает сам Сечкарев, отразилось на «Переписке с друзьями» (стр. 182), и, прибавим, на частных письмах Гоголя; небезынтересно и свидетельство отца Матвея о том, что Гоголь в уничтоженных главах II-го тома «Мертвых Душ» вывел его, о. Матвея, с чертами *католического* священника. Религиозность Гоголя была до известной степени надконфессиональной, была ближе к надконфессиональному христианству эпохи Александра I, чем к строгому православию славянофилов (это правильно отмечено уже *о. Г. Флоровским,* «Пути русского богословия», 1937, стр. 260-270). Есть и еще несколько сомнительных мест в биографической части книги. Напр. утверждение, что несколько священников в семье Гоголей-Яновских «говорят *против* дворянства» их рода: на Украине духовенство не было замкнутым сословием, как в Великороссии; можно было бы привести десятки примеров, упомяну только, что св. Димитрий Ростовский и три его сестры — игумены монастырей на Украине — были детьми «шляхтича», офицера Саввы Туптало. Но второстепенные неточности не портят впечатления от первой части книги.

Превосходной надо признать вторую часть — очерк творчества Гоголя. С признанием надо отметить и удачные по содержанию анализы отдельных произведений, при чем автор всегда выдвигает на первый план *художественную* сторону произведения, показывая

на удачно выбранных цитатах их стилистические особенности. На непередаваемое в переводе своеобразие языка Гоголя, смешение языковых стилей, ритмику речи (о которой и по-русски нет удовлетворительных работ) Сечкарев указывает неоднократно. Достаточное внимание посвящено и композиции произведений и их содержанию. Специалисту приходится пожалеть, что автор только бегло говорит о ряде вопросов, в которых есть новые указания, напр. на знакомство Гоголя с западно-европейскими литературами, (стр. 92, 192 и другие). Несмотря на обычно очень неудобный хронологический порядок изложения, автору удается связать отдельные анализы в целостную картину. Автор не старается наклеить на творчество Гоголя определенный «ярлык». Гоголь во всяком случае для него не «реалист» в точном понимании этого слова, а романтик — создатель типических образов. И «критика русской действительности» Гоголем представлена Сечкаревым, как критика прежде всего психологическая и моральная, а не политическая и социальная (удачно подчеркнуто, что изображение Гоголем представителей низших слоев, в частности, крестьян, носит те же черты «отрицательного» рисунка, что и изображение высших слоев). Элементы утопически-идиллической идеализации этой действительности в «Переписке с друзьями» показаны в связи со всем творчеством Гоголя, в продуманной и тонко написанной главе. Сечкарев не склонен преувеличивать идейной целостности творчества Гоголя, но данный им образ великого писателя и не всегда последовательного мыслителя, без искажений перспективы и без полемических преувеличений, надо признать в целом несомненным приобретением литературы о Гоголе.

Несколько поражает в книге ряд суждений об отдельных произведениях Гоголя. В нескольких случаях автор ставит Гоголю «плохие отметки». Такие плохие отметки получают «Тарас Бульба», «Нос», «Разъезд после представления Ревизора», «Игроки» и «Рим». Особенно поражает низкая оценка такой блестящей стилизации, как «Тарас Бульба», — совершенной новинки в истории русского исторического романа. Не буду здесь защищать Гоголя. Но «незабываемость» образов этих, по мнению Сечкарева, «малоудачных» произведений свидетельствует о том, что они принадлежат к художественным *успехам* Гоголя. Ведь «Разъезд» дает ряд блестящих пародий на литературные суждения как «специалистов-критиков» так и литературных профанов. Чего стоит одна фраза: «и взятки не так берут» или отзыв одного из зрителей о французском театре («нескромно, но мило» и т. д.). А «Рим», отвергаемый Сечкаревым, как кажется, из-за патетического тона некоторых мест, по моему мнению, одно из «наиболее полных» (говоря словами Пушкина о

«Невском Проспекте») произведений Гоголя: ведь, кроме патетики (композиционное значение которой в этом отрывке из повести остается неясным), в «Риме» есть и яркие картины (римский карнавал), и замечательное противопоставление Рима и Парижа, и чисто-гоголевские народные сценки, и замечательные по тонкости лирические места (переживания князя по возвращении в Рим, заключительная страница).

Превосходны у Сечкарева характеристики гоголевских героев. Но вряд ли удачно повторяющееся не раз (стр. 91, 114, 129, сходно стр. 142 и след., 147 и т. д.) обозначение этих героев, как «совершенных нулей». Хороши «нули» имена которых стали нарицательными! «Нули» Гоголя, что показывает и сам Сечкарев, совершенно непохожи друг на друга, необычайно типичны и индивидуальны. Искусство Гоголя в их характеристике и состоит в умении дать пластические и яркие образы ничем не замечательных человеческих существ. Так же пластично-выпуклы у него и фигуры второго и третьего плана, даже предметы: двери в «Старосветских помещиках», хлам в комнате Плюшкина, животные, знаменитые коты в «Старосветских помещиках», собаки, бурая свинья, кушанья и т. д. У Гоголя нет «нулей»! Его рельефные зарисовки объектов, казалось бы не имеющих ярких черт, принадлежат к наиболее характерным чертам его словесного мастерства. Это, впрочем, не раз отмечает и Сечкарев. — Вряд ли правильно и утверждение Сечкарева, что Гоголь не обладал способностью изобретения и разработки интриги произведения (стр. 86, 106, 139, 190 и др.): если даже сюжет «Ревизора» дан Гоголю Пушкиным, то не мешает вспомнить, что произведения с этим сюжетом в литературе нередки, но ни одно из них не вошло в мировую литературу так прочно, как «Ревизор».

Эти замечания не должны вызывать впечатление, что книга Сечкарева дает отрицательный образ Гоголя-писателя. Наоборот, общий ее тон скорее тон восторженного панегирика творчеству Гоголя. Книга Сечкарева сейчас несомненно лучшая книга о Гоголе на иностранном (не только на немецком) языке.

Не только Гоголю посвящена третья книга, на которую «гоголеведы» (sit venia verbo), пожалуй, даже не обратят внимания. Это «Огонь вещей» *А. М. Ремизова* (Париж 1954, стр. 228, рисунки автора). Гоголю посвящена первая половина книги (стр. 7-119) между тем как во второй перепечатан замечательный этюд Ремизова «Тридцать снов Тургенева» и, как кажется, новые статьи о снах у Пушкина, Лермонтова и Достоевского, импрессионистически беглые. Импрессионистичны и этюды о Гоголе, объединенные названием, данным и всей книге — «Огонь вещей». Характеристики Ремизова имеют за собой традицию символизма: Розанов, Брюсов, Анненский,

Андрей Белый, отчасти Блок все уже понимали Гоголя не как «реалиста», а как визионера и фантаста, видящего не вещи, а скрытые за видимостью «сущности». При всем родстве понимания Гоголя Ремизовым с интерпретациями Розанова, книга Ремизова произведение вполне своеобразное и оригинальное. Пожалуй, только в оценке личности Гоголя между Розановым и Ремизовым есть некоторое сходство: и тот и другой подчеркивают «нечеловеческий» (если угодно «сверхчеловеческий») характер личности Гоголя. Для Ремизова Гоголь — чёрт, выгнанный «за что-то» из ада.

Русским писателям-художникам история русской литературы обязана многими блестящими историко-литературными характеристиками. Напомню только такие книги, как книгу Белого о «Мастерстве Гоголя», книги Ходасевича о «Поэтическом хозяйстве Пушкина» и о Державине, или ряд работ Валерия Брюсова. Книга Ремизова в части, посвященной Гоголю, отличается от этих работ и своеволием своего чисто ремизовского стиля и намеренной гиперболичностью утверждений. Главы о Гоголе содержат много кажущегося «озорства»: здесь и простая перепечатка целых страниц Гоголя, и изложение биографии Чичикова с дополнениями Ремизова, очень удачными. Ремизов мог бы сослаться на самого Гоголя: «А как было дело на самом деле, Бог его ведает, пусть читатель-охотник досочинит сам». Эту фразу — кстати, один из принципов романтической поэтики — Ремизов поставил эпиграфом к главе о Ноздреве, но мог бы сделать ее эпиграфом ко всей книге: «досочинению» недосочиненного Гоголем. Ремизов — писатель не для всех (не хочу сказать «для немногих»). Но кто умеет его читать, вычитает из его страниц много блестящих отдельных замечаний и несколько основополагающих для понимания Гоголя мыслей. Не буду останавливаться на отдельных замечаниях, иногда поразительно проникновенных, а обращусь к «основополагающим» идеям понимания Гоголя писателем, который в наши дни, конечно, ближе всего к «гоголевской» традиции русской литературы.

Основное в творчестве Гоголя для Ремизова — язык, в сравнении с которым нормальный человеческий язык кажется «мышиным писком», да, пожалуй, не только язык среднего человека, но и язык Тургенева (140, 146) и Достоевского (182). «Гоголь сам по себе кипь и хлыв слов, без сюжета и без материала» (32). Вторая часть этой фразы принадлежит к тем гиперболическим парадоксам, которых не боится Ремизов. И, собственно говоря, все дальнейшие страницы, написанные им о Гоголе, «снимают», говоря философским языком, это парадоксальное утверждение. Ремизов раскрывает даже два слоя «материала и сюжетов» Гоголя: один из них — сон, другой символика «грубой действительности». То, что Ремизов говорит

об этих источниках «материала и сюжетов» Гоголя, гораздо новее и глубже всех рассыпанных в книге замечаний о языке и стиле Гоголя, в которых впрочем также не мало интересного.

Ремизов — современный Мартын Задека — конечно более всех призван сказать свое слово о снах в произведениях Гоголя. О них писалось мало. Во французской научной литературе есть прекрасная книга Альберта Бегена (Albert Béguin), дающая характеристику немецкой романтики главным образом на анализе роли сна в произведениях романтиков (L'âme romantique). Всё, что говорит Ремизов о снах у Гоголя, ставит ту же важнейшую для характеристики раннего творчества Гоголя проблему: действительность у Гоголя (скажем для точности «часто») сливается со сном, изображение действительности вырастает из сна, границы сна и действительности Гоголь стирает, закрывает с необычайным искусством. Фантастика раннего Гоголя именно такое слияние сна с действительностью: этой теме посвящен ряд страниц. Ремизов, мне думается, вовсе не хочет *объяснить* фантастику Гоголя сновидениями его героев, как может показаться читателю. Сон — существенная часть человеческой жизни и сновидение раскрывает не только глубины души, но и глубины реальной «действительности». И здесь Ремизов видит многое, не уловляемое в наши дни рядовым читателем...

Второй слой «материала» Гоголя — прозаическая действительность. Сны у позднего Гоголя отходят на задний план, хотя и «Ревизор» начинается со сна городничего. Действительность Гоголя — в частности в «Мертвых душах» — Ремизов воспринимает, как действительность насквозь символическую. Символическое истолкование позднего Гоголя никогда не было проведено с такою последовательностью, как в книге Ремизова. В особенности главы о «Мертвых Душах» и их героях дают весьма оригинальное истолкование «поэмы», несомненно правильное и в некотором смысле являющееся ответом на неудачное обозначение героев Гоголя, как «нулей». Для Ремизова герои Гоголя не «нули», а если угодно — «бесконечно малые величины». Очень прочно стоящие в этом мире, они утратили связь с миром идеалов. Утратили не совсем: сохранились формальные черты того или другого типа «служителя идеалам», но «высокие идеалы» умалены, обеднены, выродились... Ноздрев, так сказать, «приближающийся к нулю романтик»: в замечательной главе о нем Ремизов показывает, что Ноздрев — весь в «стремлении к совершенству», к тому самому «субтильному суперфлю», которое обозначало у него «высочайшую точку совершенства». Но идеальное содержание «высочайшего совершенства» выветрилось. Осталась гиперболизация прозаической действительности в беззастенчивой лжи и в «исторических» подвигах. Ложь Ноздрева — повествование о

«высочайших точках совершенства»: и такое обилие зайцев, что их можно ловить руками, и какое-нибудь «Клико-Матрадура», и будто бы выпитые в один присест 17 бутылок шампанского... И всё, что ни делает Ноздрев — такое же стремление к совершенству: он воспитывает волчонка, желая, «чтобы он был совершенным зверем», если он играет в карты, то готов проиграть всё, что есть у него в руках, он ходит даже тремя шашками сразу... Ноздрев — карикатура на романтический перфекционизм, от которого в нем осталась только форма «стремления к совершенству» без всякого определенного содержания. Так же Ремизов понимает Манилова. Дополняя его гоголевскую биографию тем, что он «декабрист», «член Южного Общества (Союз Благоденствия»), Ремизов также вряд ли неправ: сентиментальных мечтателей в декабрьском поколении было немало. И Манилов, конечно, представитель этого типа, в котором утопическая мечта также уменьшена до «бесконечно малого», как уменьшен идеал совершенства в Ноздреве. Чичиков — «полнота жизни», до «воскрешающая мертвых». Ноздреву-Манилову-Чичикову Ремизов противопоставляет «хозяйственную тройку» Коробочку-Плюшкина-Собакевича — «грозную: она мчится в пропасть». Но не являются ли и представители этой «тройки» также каким-то «умалением» типа «хозяина», того человеческого типа, который очень высоко ставил Гоголь? Ведь земным хозяевам «поручено» «Хозяином небесным» «улучшение», усовершенствование земного мира! Им всем, как и Ноздреву, Манилову, Чичикову только «чего-то не хватает», «не хватает» именно того идеального содержания, которое одно только и могло бы — по мнению Гоголя — осмыслить их усердный и как-будто «успешный» труд: приумножение материальных благ... Не буду впрочем, развивать здесь этого намека на мое понимание «Мертвых Душ».

Книгу такого типа нельзя изложить, ее нужно читать. Но яркие страницы Ремизова напоминают еще об одном: как ни «грустна» нарисованная Гоголем Россия и как ни «страшны» его герои, в произведениях Гоголя собственно говоря нет «радикально-злого». У него нет людей, носящих в себе принцип зла в чистом виде, нет тиранов, мучителей, садистов. Среди его героев нет Салтычихи, его «страшная» Россия могла в последовательном развитии явить образ морального разложения, но в ней не могло быть террора и Чека. В его героях нет активного начала зла, но есть недостаток добра. Это — моральный платонизм (всё равно, откуда Гоголь почерпнул это жизнепонимание), которому противостоит моральный дуализм Достоевского, ощущающего зло не как недостаток, отсутствие добра, но как положительную злую силу.

Конечно, я не исчерпал всего богатства содержания, скрытого под зигзагообразной стилистической фантастикой книги Ремизова (оставляя тут в стороне его этюды о других писателях). Страницы о Гоголе заставляют многое по-новому пережить и передумать. Неисчерпаемость темы «Гоголь» — наиболее сильное из впечатлений от этой проникновенной книги. *Дм. Чижевский*

Н. Н. ЕВРЕИНОВ. История русского театра с древнейших времен до 1917 года. Издательство имени Чехова. Нью Йорк. 1955. Printed by Rausen Bros.

Скончавшийся в 1953 году Н. Н. Евреинов был человеком богато и разнообразно одаренным. Актер, драматург, живописец, музыкант и режиссер, он в особенности обильно был наделен зрелищным воображением и качествами театрального темперамента. Ими отличались и написанные им для театра пьесы, и его работа, как практика сцены, многочисленные его постановки в театре Коммиссаржевской, в «Кривом Зеркале» и, в особенности, в осуществленных циклах задуманного им «Старинного Театра».

Но сам Евреинов особенно выделял значение своей деятельности, как теоретика и новатора, открывшего новые пути театра, что проходит красной нитью и сквозь его, вышедшую в издательстве имени Чехова, «Историю русского театра». И в этом, думается, было его заблуждение, в котором распылялось его несомненное дарование. Этим он, к сожалению, платил дань той обстановке и тому времени, с которым связано начало его театральной карьеры. Начало нашего века было отмечено в художественных центрах Европы совершенно необычайным расцветом шумного новаторства. Широким потоком лились манифесты, декларации, программы. Эта практика распространилась и на музыку, и на поэзию, и на театр. Достаточно вспомнить манифесты футуристов, кубистов, «Диких», супрематистов, концертные программы Скрябина, декларации символистов, будущников, акмеистов, лучистов, Ослиного Хвоста и т. п. Отправной точкой для всех обычно служило отталкивание от уже признанного искусства их ближайших предшественников.

Ко времени выступления Евреинова всеобщим признанием «передовой интеллигенции» пользовался Московский Художественный Театр. Это делало его очередной мишенью для еще не признанных новаторов. В литературе поход против театра Станиславского открылся в 1902 году статьей Валерия Брюсова в журнале «Мир Искусства», под заглавием «Ненужная правда». Заканчивалась она в обычном духе манифестов той поры: «От ненужной правды современных сцен я зову к сознательной условности». Особенной новизной

этот манифест не отличался. В нем слышались отзвуки афоризмов Оскара Уайльда и теорий французских символистов. Манифест этот совпал во времени с начинавшимся среди молодежи Художественного Театра брожением и недовольством репертуаром. Мейерхольд, состоявший в труппе МХТ с самого его возникновения, откололся, вслед за Брюсовым провозгласил теорию условного театра, и с труппой единомышленников основал в провинции «Товарищество Новой Драмы». После его ухода, должно быть, в стремлении «быть с веком наравне», Художественный Театр поставил две коротких пьесы Метерлинка, «Слепые» и «Там внутри». Спектакль успеха не имел. Неискушенный в вопросах современной литературы, Станиславский не понимал, что пьесы эти были малоталантливы, переоценивал значение дешевого мистицизма Метерлинка и упал духом. Весной 1905 года он сам содействовал образованию театра-студии, который должен был служить лабораторией для новаторских экспериментов. Руководителем ее был приглашен Мейерхольд, о котором Евреинов довольно справедливо замечает в своей «Истории русского театра»: «...Мейерхольд не допускал, чтобы кто-либо другой, кроме него, был в центре внимания публики...» Евреинов, к сожалению, не сознавал, что и он сам придавал несоответственно большое значение вниманию публики и необходимости защищать свое теоретическое новаторство, свою «художественную марку, не смешиваемую ни с какой другой». Не довольствуясь тем, что историк Ключевский называет «безотчетностью художественного пониманья», он потратил немало усилий на теоретическое утверждение своего отличия как от психологического реализма МХТ, так и от условного символизма «театра театрального», запатентованной марки Мейерхольда. «...Исповедуя всей душой принцип идеальной театральности — читаем мы на стр. 382 — я, в противоположность двум названным направлениям, выдвигаю сценический реализм, как направление, проникнутое тенденцией творчества новых, чисто-театральных ценностей. Под сценическим реализмом я разумею театрально-условный реализм, т. е. такой, который, коренясь в нашей творческой фантазии, заменяет точность исторической и современной нам действительности обманной ее видимостью, властно требующей доверчивого к себе отношения».

Подобную же неясность определений и догматический произвол мы находим и в нижеследующей цитате из области методологии искусства:

«...Мы знаем, что метод искусства, говоря вообще, заключается в представлении действительности сокращенно, упрощенно, т. е. в стремлении объять многое в видимо малом, другими словами в

симплификации, и именно такой, которая отвечала бы нашему пониманию прекрасного, т. е. эстетически-тенденциозной симплификации. (К этому понятию близко примыкает понятие стилизации, однако последнее уступает первому в емкости). Если же вообще метод искусства таков, — а что он действительно таков, тому порукой вся история искусства, — то альфой и омегой сценического творчества является изысканная простота театральности...»

Думаю, что из приведенных цитат достаточно ясно, что Евреинов не обладал ни логической последовательностью, ни четкостью стиля, желательными в изложении теорий. Из десяти глав книги Евреинова, в первых восьми читатель, знакомый хотя бы с трудами Варнеке или Всеволодского-Гернгросса, ничего существенно нового не найдет. Главный интерес представляют две последних главы, девятая, посвященная Московскому Художественному Театру, и десятая — «Новые течения в театральной мысли и сценические искания в предреволюционный период». В них, по словам автора, он мог бы говорить... не столько, как «летописец», сколько, как «мемуарист», принимавший самое близкое участие в поисках и проложении путей театрального строительства в России из «первых рук» и даже, более того, — часто из «собственных рук».

Особенно интересна последняя глава, в которой автор дает очерк своей собственной театральной карьеры и набрасывает, порой пристрастные, но всё же очень живые портреты Мейерхольда, Таирова и других своих современников.

Scripta manent. Теоретические писания Евреинова останутся его материальным наследием. Но в памяти пишущего эти строки, с горечью думающего о многих невзгодах, выпавших на долю талантливого работника сцены, Н. Н. Евреинов живет в его подлинных художественных достижениях и, в особенности, в превосходно осуществленной его «Старинным театром» постановке «Овечьего источника» Лопе де Вега.

А. К.

SIMONE DE BEAUVOIR. Les Mandarins. Gallimard, Paris, 1954.

Присуждение премии Гонкуров «Мандаринам» Симон де Бовуар, писательницы известной своей принадлежностью к т. н. «прогрессистским» кругам французской интеллигенции, вызвало немало шумихи и страстных споров, не улегшихся и по сю пору. Настолько вопросы, затронутые автором, остаются злободневными. Многие увидели в романе сатиру, направленную против левого крыла французской интеллигенции и, в частности, против группы, вращающей-

ся в орбите Ж.-П. Сартра. Это не совсем верно. Вопрос и глубже и шире, хотя, конечно, и заглавие романа и наделение действующих лиц этим именем — мандарины — не лишены известной иронии, разбавленной всё же в конечном счете каким-то грустным отпущением грехов, выданным автором своим незадачливым, потерпевшим житейское кораблекрушение, героям. «Мандарины» Симон де Бовуар — это писатели и философы, носители высоких идей, имевшие неосторожность с головой окунуться в политику.

Время действия романа — Париж первых послевоенных лет, в период опьянения свободой, охватившего всех после четырех лет оккупации, после жизни в пол-голоса, гонений и ужасов лагерей Дахау. Всеми владеет неистовое желание высказаться, принести новую правду, новый строй жизни, в котором прошлому уже не будет места. Схема новых идей чрезвычайно проста: с одной стороны Зло — Виши и Америка; с другой Добро — Резистанс и Советский Союз. Представители этой мандаринской интеллигенции, громящие буржуазию (аплодисментами которой они, кстати, весьма польщены), кажутся зачарованными коммунизмом. Главная забота — всё что угодно, только бы не прослыть антикоммунистом, хотя все они прекрасно отдают себе отчет, что в будущем коммунистическом мире им места нет. Роман Симон де Бовуар — это драма многих писателей, многих интеллигентов, лишившихся здоровой моральной почвы, растерявших своих богов и цепляющихся за иллюзорный спасательный круг коммунизма.

Вот — Dubreuilh, писатель и философ, властитель дум целого поколения, возглавляющий какую-то политическую фракцию и издающий журнальчик «Бдительность». Вот — Perron, молодой писатель, духовный ученик Dubreuilh, искренний безвольный мечтатель и, как все мечтатели, не знающий чего он, собственно говоря, хочет. Perron тоже стоит во главе газеты «Надежда», бичующей всё и вся, кроме коммунистов, с которыми установились «добрососедские отношения». Кроме Dubreuilh и Perron, главных героев романа, целый ряд других мандаринов помельче, перебежчиков из одного лагеря в другой, попутно обделывающих свои делишки и тайком записывающихся в коммунистическую партию.

Все много говорят, спорят, шумят, но благие намерения выливаются в праздную суетню. Бар, коктэйли, переговоры о создании нового журнала и изыскание средств, причем не всегда благовидным путем, сон на заре, потом снова такси, редакции, бар... Поворотным пунктом романа, вызвавшим резкий кризис у некоторых мандаринов, явились сначала глухие, скудные, но вот совершенно неопровержимые, поддержанные тысячью свидетельств, разоблачения о концен-

трационных лагерях в СССР. Как быть? Опубликовать эту страшную правду — значит нанести непоправимый вред Советскому Союзу и, тем самым, сыграть на́-руку «буржуазии» и «правым»? Замолчать? Но это значит *замолчать правду*, с чем зябким душам мандаринов тоже нелегко примириться.

Dubreuilh решает всё же правду замолчать: «Эта правда, при всей ее неопровержимости, вредна...» «В другое время он бы не смолчал», — думает с горечью его жена Анна и на ее вопрос («вы всё-таки желаете победы коммунизма, хоть и прекрасно знаете, что не сможете жить в их мире?»), Dubreuilh отвечает: «Да, это так. Я еще подумаю над этим. В крайнем случае, я сумею замолкнуть навсегда...» Этот мандарин не подозревает того, что в этом «крайнем случае», т. е. при воцарении коммунизма, его заставят «говорить». Но Perron всё же публикует в своей газете страшную правду о лагерях. И, как и следовало ожидать, начинается неистовая травля его со стороны коммунистической печати. Опустошенный в неравной борьбе Perron теряет газету, перешедшую в другие руки, и только и мечтает, как бы покинуть Францию. Впрочем, судьбы всех мандаринов трагичны. Dubreuilh перестает писать; Perron увяз в сомнительной и грязной истории лжесвидетельства; Lambert возвращается в лоно буржуазии. Sezenac оказался фальшивым героем; Vincent — самый откровенный убийца, совершающий втихомолку карательные экспедиции, т. е. попросту убивая и грабя при этом т. наз. collaborateurs; Scriassine, русский, бывший коммунист, топит свое отчаяние в вине...

Еще трагичнее судьбы женских персонажей романа и, в особенности, Анны, жены Dubreuilh. В образе Анны воплощена вся духовная драма, столь остро пережитая этим слоем интеллигенции. «Каждое воспоминание вызывает во мне агонию, — говорит Анна, — сколько мертвых душ ношу я в себе...» И вся эта грустная и прекрасная книга — ничто иное, как медленная агония чувств, мыслей, иллюзий... Как цепляется несчастная стареющая Анна (лучшие страницы в романе) за свою последнюю любовь к американскому писателю Lewis Brogan! Стареет тело и вместе с ним сердце... Как дальше жить? Попыткой самоубийства Анны роман и заканчивается. Но попытка остается только попыткой. Анна продолжает жить, опустошенная среди опустошенных, приговоренная к жизни без страстей, без любви, без молодости...

Композиционно роман построен прекрасно. И так же хорошо он написан. Единственно что может покоробить читателя, это излишнее изобилие нецензурных словечек и некоторая фотографичность разговорной речи. То, что было позволительно, скажем, у L. F. Се-

line, не всегда уместно здесь. Излишняя щедрость деталей в описании «любовных встреч» тоже могла бы быть с успехом опущена. Пролетариат, во имя которого мандаринами пролито столько чернил, совершенно отсутствует в книге. Это один из главных упреков, брошенных автору левой печатью, встретившей роман не то что в штыки, но весьма несочувственно. *П. Фатьянов*

ELISABETH LERMOLO. Face of a Victim. Translated from the Russian by I. D. Talmadge. With a Foreword by Alexandra Tolstoy. 311 pp. New York. Harper & Brothers. 1955.

В ноябре 1936 года Елизавету Лермоло привезли на Соловки. Попав в одиночку, она тотчас же постучала в стену. Ее соседом справа оказался бывший артист московского Большого театра; соседом слева был архиерей из Казани. От соседей она получила большую поддержку: они научили ее технике «психологической самозащиты». В политизоляторе — таком как на Соловках, к примеру, — труднее, нежели в обыкновенной тюрьме или лагере, сохранить душевное равновесие, и через несколько месяцев у Елизаветы Лермоло развилась психостения в острой форме. Надушенный врач, одетый с иголочки, не глядя на женщину с искривленным лицом, сказал конвоиру: — «Я бы советовал заключенной взять себя в руки. Она еще молода, и если захочет, то выздоровеет». — И она выздоровела — с помощью соседей, которые, перестукиваясь с нею, учили ее молитвам, стихам, выработали для нее правила, что нужно делать и чего нельзя. Одно из правил системы «психологической самозащиты» заключалось в том, чтобы заключенный каждый день, после ужина, рассказывал самому себе какой-нибудь случай из своей собственной жизни. Таким образом, Елизавета Лермоло вспоминала давно забытые встречи, эпизоды, сохранившиеся в глубоких тайниках памяти, восстанавливала слово в слово всевозможные истории, которые когда-то слышала от других заключенных, прилагала усилия к тому, чтобы запоминать имена, даты, названия. Именно этой «психологической самозащите» Лермоло обязана своей жизнью, своей возродившейся верой в Бога. Система «психологической самозащиты» принесла пользу и нам, читателям ее интересной, порой захватывающей книги, которую Лермоло не смогла бы написать, не обладай она натренированной памятью.

На книжных полках стоят уже сотни книг, написанных людьми, побывавшими в советских тюрьмах и лагерях. Насколько мне известно, однако, никто еще не описывал тюрем особого рода, «политизоляторов», предназначенных для «особо-важных государственных

преступников», бывших работников Кремля, центрального правительственного аппарата и т. п. Арестованная в 1934 году в связи с убийством Кирова, Лермоло побывала в восьми политизоляторах: Челябинском, Красноярском, Соловецком, Суздальском, Верхне-Уральском, Ярославском, Владимирском, наконец, Тамбовском. В Соловках она видела издалека самый страшный политизолятор, так называемый «Безымянный», где имена заключенных держатся в глубокой тайне и неизвестны не только страже, но даже самому начальнику этого политизолятора.

На протяжении восьми лет, проведенных в политизоляторах, Елизавете Лермоло довелось встречаться и разговаривать со многими заключенными — меньшевиками, эсэрами, анархистами, сионистами, а также со «старыми большевиками», историками ВКП(б). Большая часть книги, поэтому, состоит из того, что Елизавета Лермоло слышала от заключенных. Так, от заключенного по имени Гавриил Волков, который до 1923 года был директором столовой в Кремле, а затем личным поваром Ленина в Горках, она слышала рассказ о том, как был отравлен Ленин. Бывшая подруга Надежды Аллилуевой рассказала ей историю женитьбы Сталина и смерти Аллилуевой. Пожалуй, самый примечательный рассказ Лермоло слышала от Лизы Семеновой, которая сперва служила посыльной при кабинете Сталина в ЦК партии, потом стала телефонисткой на линии Кремль-Лубянка, и, наконец, секретной сотрудницей Сталина по «подслушиванию телефонных разговоров».

Несчастье Елизаветы Лермоло было в том, что ее имя было найдено в записной книжке Леонида Николаева, убийцы Кирова. Тотчас же после убийства ее допрашивал в Ленинграде сам Сталин, и сцену этого допроса она весьма подробно описывает с большой психологической правдивостью. Но, пытаясь описать события, происшедшие 1-го декабря 1934 года, она чересчур полагается на то, что ей рассказывали заключенные. Так, ей рассказывали, что организаторами разгрома оппозиции в Ленинграде будто бы были «Киров, Чудов и Николаев», хотя имя Николаева, конечно, никак не может стоять в одном ряду с Кировым. То, что Елизавета Лермоло рассказывает об убийстве Кирова, расходится с тем, что рассказывает Александр Орлов в своей книге «История тайных преступлений Сталина».

«Когда Николаев вошел в коридор Смольного, — пишет Александр Орлов, — Борисов, телохранитель Кирова, был занят приготовлением подноса с чаем и бутербродами, который он вскоре отнес в зал заседаний, где заседало бюро Ленинградского обкома партии под председательством Кирова. Николаев терпеливо ждал. Некоторое время спустя Борисов опять вошел в зал заседаний и передал Кирову, что его вызывает Кремль по прямому проводу. Минуты две

спустя Киров поднялся с места и вышел из зала заседаний, закрыв за собою дверь. В этот момент раздался выстрел».

Елизавета Лермоло пишет:

«Мы восстановили цепь событий: в 4 часа 30 мин., 1-го декабря 1934 года, Николаев появился в Смольном с намерением убить Кирова. Кирова никто не охранял. Николаев выстрелил и застрелил его, затем выстрелил в самого себя. Вокруг никого не было. Где был Борисов, телохранитель Кирова? Его, как оказалось, не было даже в здании Смольного — он ездил на автомобиле по улицам Ленинграда. Если это было совпадение, то — странное совпадение».

Невозможно установить, какая версия правильна и какая неправильна. Александр Орлов повторяет то, что ему рассказывал высокопоставленный чиновник НКВД, Александр Шанин, близкий друг Ягоды. Елизавета Лермоло, в свою очередь, повторяет то, что ей рассказывала в политизоляторе Катя Рогачева, сестра Леонида Николаева. Вероятно, правду мы узнаем только тогда, когда архивы ЧК-ГПУ-НКВД-МВД будут открыты для историков. Как бы то ни было, книга Е. Лермоло представляет несомненный интерес, как для историков, так и для широкого читателя.

Мих. Коряков

THE WAIF. By NICHOLAS VOINOV. Translated from Russian. Pantheon Books. New York. 1955.

Только что вышедшие по-английски «Беспризорники» Николая Воинова печатались (не полностью) в «Новом Журнале» (кн. 26, 27, 28, 29, 30, 31) и у наших читателей имели большой, заслуженный успех. Успех «Беспризорники» имели не только у читателей, но и у писателей. Многие из них писали об этом в редакцию. Высоко оценил «Беспризорников» И. А. Бунин. В письме к Ф. А. Степуну он говорил не только об общем бытовом и психологическом интересе этих воспоминаний, но с похвалой отнесся и к тому *как* они написаны. Чисто по-бунински наш маститый прозаик писал: «а как пишет с. с.!» (следовало крепко-ласковое словцо).

На мой взгляд «Беспризорники» — одна из лучших книг-воспоминаний, написанных послевоенными советскими эмигрантами. Главное, что в ней подкупает — *искренность тона* и правдивость нарисованной автором общей бытовой картины. Документальная ценность книги и в том, что литература о беспризорных вообще очень бедна в сравнении с этим громадным бытовым явлением советской жизни, и в этом смысле книга Воинова пополняет этот пробел. Вышедшую внутри страны литературу по этому предмету мы знаем. Но даже лучшее в ней — «Педагогическая поэма» Макарен-

ко и «Республика Шкид» Л. Пантелеева — не свободны от «правительственной прически». Книга же Воинова — *свободная.*

На страницах нашего журнала нет нужды заниматься литературным разбором «Беспризорников». Гораздо интересней отметить прием, который оказали этой книге американцы сразу же по ее выходе. В № от 25 апреля с. г. в «Книжном Обозрении Нью Иорк Таймз» о ней появилась большая статья Фрэнка Раундса, высказывающего пожелание, чтобы «Беспризорники» — «стали настольной книгой каждого американца». Этот отзыв особенно ценен потому, что Раундс — автор книги «Окно на Красную площадь» — по личному опыту хорошо знает жизнь в Советском Союзе и отличает правду от фальши. Подчеркивая бытовую верность «Беспризорников» Раундс не без юмора говорит, что в этом его особенно убедил рассказ Воинова о том, как они, беспризорники, обкрадывали пассажиров в трамваях. «Меня самого так обокрали в автобусе недалеко от Кремля, но только теперь, — с улыбкой добавляет Раундс, — я узнал, как это делается». Одновременно с «Нью Иорк Таймз» положительные отзывы о «Беспризорниках» дали и другие крупные американские газеты: «Хералд Трибюн», «Чикаго Трибюн», «Денвер Пост» и др.

Кроме вышедших американского и английского изданий, подготовляются и другие иностранные переводы этой книги. Мы от души желаем успеха «Беспризорникам». И в то же время приходится пожалеть, что по-русски «Беспризорники» отдельной книгой так и не изданы.

Роман Гуль

MAX EASTMAN. Reflection on the Failure of Socialism. The Devin-Adair Company. 1955.

Эта небольшая книжка не оригинальна — ни для автора, ни для читателя. В ней собрано высказанное и напечатанное автором за последние годы. И читатель вряд ли найдет в этих, скорее газетного характера, статьях что-либо новое по сравнению с тем, что он мог прочесть у Хайека, Мизеса, Рёпке, Бернхама, а еще раньше — у Спенсера или Беллока. Наиболее интересной является первая пространная статья «Биографическое введение».

Здесь Макс Истман — поэт, писатель-стилист, оратор и полемист, рассказывает о том, как из убежденного и страстного поклонника дела Ленина и большевиков он мало-по-малу, почти «на тормозах», разочаровывался в этом деле и из противника сначала Сталина, а потом и Троцкого с Лениным постепенно превратился в их крайнего ненавистника и, вместе с тем, в принципиального и неистового противника социализма.

«Размышления» Истмана направлены, однако, не только против большевизма и социализма, *всякого* социализма — марксистского, фабианского, реформистского — и мыслимого. Попутно и, пожалуй, не менее решительно автор атакует и «преступных либералов», «благочестивых воздыхателей по реформам», «мягкоголовых идеалистов», «абстрактно мыслящих интеллигентов без воображения», «адвокатов государственного планирования», Рузвельта и Трумана, Дьюи и Герберта Хувера, и даже тех, кто «руководились скорее христианским учением о святости, чем изучением нужд среднего человека» (51). При таком широком охвате противника всего на 127 страничках, неудивительно, что и атака не слишком серьезна, и заглавие у́же того, о чем автор размышляет.

М. Истман искренне сожалеет о многом из своего прошлого. Он собирал деньги для поездки в Москву Джона Рида (будущего автора «Десяти дней, которые потрясли мир»). Он восторгался Лениным больше, чем кем-либо другим и «сражался за большевизм на фронте американского общественного мнения». «Я участвовал в гражданской войне, и мои социалистические убеждения твердели и крепли». Писания Маркса, Ленина и Троцкого были для Истмана не знанием, а «откровением». Он стал изучать русский язык и отправился в Москву, в России прожил год и 9 месяцев, ездил, куда хотел, присутствовал на 4-м конгрессе Коминтерна, на съезде компартии в 1924 г., завязал близкие отношения с Троцким.

На протяжении трех с половиной десятилетий Истман не переставал менять свои политические взгляды, отходя всё решительнее от большевистского эксперимента. Однако, при всех «переменных» в оценке Истмана, «постоянным» у него оставалось отрицательное отношение к центральным группировкам — социалистам и несоциалистам, либералам и демократам-реформистам. Только раньше он, вместе с ленинцами, изобличал их умеренность и постепенность, недостаточную революционность, а за последние годы он нападает на них за излишний радикализм, утопизм, скрытый социализм.

Автор рассказывает, как совершенно случайно открылось ему самому, что он перестал быть не только большевиком и марксистом, но и социалистом. На приеме в честь Бертрана Росселя хозяйка, Фреда Утли, неожиданно задала Истману вопрос:

«— А, независимо от хода русских событий, вы верите еще в социалистическую идею?

Я сказал: нет. Хотя я никогда этого не говорил себе, ответ пришел из глубины моего сердца и разума».

Резюмируя недоумения, сомнения и возражения, которые вызывают «Размышления» Истмана, я бы сказал:

1. Непонятно, как человеку с критическим умом понадобилось столько времени, чтобы «раскусить» существо «наиболее совершенной тирании во всей истории», по нынешнему выражению автора. Четырнадцать лет понадобилось Истману, чтобы притти к выводу, что «Сталин не только враг ленинских планов, но *следствие* задуманной и осуществленной Лениным революции». И в 1934 г. Истман продолжал считать себя «беспартийным старым большевиком». И только в 1940 г. пришел он к тому, что «надо отрицать методы Ленина — другими словами большевистский марксизм», что тоталитарное государство большевиков «это тирания с доведенной до предела техникой».

2. Поразительно, как произвольно смешивает автор одни понятия и категории с другими. Большевизм он отождествляет с марксизмом и социализмом, не различая существа того, другого и третьего и проходя мимо реальных исторических фактов, — в частности, мимо того, что до триумфа большевиков марксисты составляли меньшинство в международном социалистическом движении. И осуждает Истман большевизм в первую очередь не за его бесчеловечные истязания и морально-политическое поругание человека, а за неосуществимость его экономической программы.

3. Истман давно перестал считать себя большевиком и марксистом. Но и нынешние его взгляды отмечены печатью прошлого. «Высшая надежда цивилизации», по Истману, не социализм и даже не взаимная кооперация, а — «*больше товаров и меньше людей*» (55). Идеал нынешнего Истмана не социальный мир, а «уравновешивание конфликтов». Он и сейчас повторяет формулу Маркса: «вся история есть история борьбы классов». Он отвергает лишь марксов «прыжок» из царства необходимости в царство свободы. Он пророчит, что «на земле люди всегда будут делиться на группы со сталкивающимися интересами» (37). Он считает, что «перманентная классовая борьба — молчаливая предпосылка американского рабочего» (38).

Здесь Истман снова проходит мимо совершенно неоспоримых фактов. Столкновение и соперничество имеют место не только между группами и классами, но и *внутри* групп и классов. И рядом с антагонизмами между и внутри групп, не меньшую роль играет взаимное притяжение или солидарность в группах и между группами, которые приводят к кооперации национальной, а иногда и международной.

4. Истман стал энтузиастом капитализма, частной собственности, «свободного» рынка, закона спроса и предложения. Соответственно главным злом он считает государственное планирование. Издевается он и над формулой «обеспечение с колыбели до могилы, упразднение безработицы и работа для 60 миллионов». Он повторяет слова Маркса — и Адама Смита, — что частный капитализм со

«свободным» рынком был предпосылкой всех последующих демократических свобод. Но он не замечает, что всё это относится к отдаленному прошлому — к начальной стадии капитализма и демократии. Истман смотрит не вперед, а назад, — хочет вернуть историю на 100-150 лет назад, к «свободной» игре противоречивых интересов, к «безличному механизму» рыночных цен.

Истман возносит осанну капитализму за то, что он за 19-ый век повысил реальную заработную плату английского рабочего на 400%, а американского — с 1840 г. по 1951 г. — с 18 центов за час до 86 центов. Он не считается при этом не только с понижением ценности цента, но и с ролью рабочего движения в достижении этих результатов. Между тем социализм тут тоже был кое при чем.

5. Превознося прошлые заслуги капитализма и защищая его как положительную программу для настоящего и будущего, Истман одновременно защищает и мальтузианство — необходимость контроля деторождения. «Я заблуждался относительно России. Я заблуждался относительно Ленина. Я заблуждался относительно социалистического движения. Я никогда не умалял значения этой проблемы» (мальтузианства), — подчеркивает Истман.

Но в формуле его «больше товаров и меньше людей» — осуществление второй половины делает излишним или уменьшает значение первой. Если меньше будет населения, меньше понадобится и товаров, — ни к чему будет и расцвет капитализма.

6. Если контроль за деторождением остается для Истмана величиной постоянной и необходимой, — чтобы быть действительным, он должен стать государственным. А вмешательство государства, государственное планирование составляет едва ли не главное преступление, которое Истман вменяет социализму. Можно быть разного мнения об уместности государственного вмешательства в интимные стороны жизни населения. Но против государственного вмешательства и контроля над изготовлением и использованием атомной энергии может возражать только слепой или глухой к окружающим жизненным фактам.

И не только разрушительная сила расщепленного или сцепленного атома не может быть бесконтрольна. Контролю не могут не подлежать и благотворные силы. Целебная вакцина д-ра Солка уже стала объектом «свободной» игры противоречивых интересов. По подсчету сенатора Кифовера, фабрикантам вакцины отчислится за этот год до 20 миллионов долларов. Не исключена возможность образования для нее и «черного рынка». Хотя американская медицинская ассоциация, верная своим традициям, приписывает идею обязательного государственного контроля над распределением вакцины

«политическим демагогам», 37 из опрошенных 39 губернаторов США высказались за необходимость федерального контроля.

Можно возражать против необходимости государственного контроля или национализации той или другой индустрии. Но в условиях 1955 года нельзя быть *вообще* против всякой национализации. И тому свидетельство опыт Англии — Этли и Черчиля, который отменил национализацию стальной промышленности, но сохранил в силе все другие виды национализации, проведенной правительством Этли, — в том числе и, так называемую, социализацию медицинской помощи, встреченную с недоверием врачебной корпорацией, а сейчас встречающую в Англии почти всеобщее сочувствие и одобрение.

7. Истман извлекает из архивов доморощенное представление о социализме, как о земном рае или конце истории. Так думали сто лет тому назад и продолжают думать большевики. Но думы о конце земной истории не являлись монополией одних социалистов. И противники социализма в мечтах о преображении мира, о блаженном состоянии праведников в потустороннем мире и т. д. по существу исходят из представления о том же рае, как финале земной истории.

8. Многое из того, о чем пишет Истман, не ново — ново только для автора, — но верно и справедливо. Но когда он почти одним и тем же миром мажет всех, с кем не согласен: и большевиков, и социалистов, и либералов, и реформаторов, он применяет тот же прием упрощенной «амальгамы», который большевики унаследовали от французских якобинцев.

Приступая к ответственному делу, американцы обычно говорят о humility and confidence: о личном смирении и уверенности в успехе. М. Истман всегда уверен в том, что его последняя по времени правда абсолютная, — но смирения у него нет ни на гран. И когда он озаглавил свои размышления «провал социализма», он, вероятно, даже не представлял себе, что, в сущности, рассказал историю своего личного политического провала.

И М. Истман в этом смысле — не индивидуальное явление, а категория. *М. Вишняк*

АНДРЕЙ СЕДЫХ. Только о людях. Рассказы. Нью Йорк. 1955. Printed by Rausen Bros.

Это девятая книга прозы Андрея Седых. У зарубежного читателя рассказы Седых пользуются несомненным успехом. Темы их — наиболее любимы широким эмигрантским читателем. Они — либо о милом «далеке», либо из эмигрантской жизни. Рассказы всегда полны юмора и теплого лиризма. В этом смысле свою родословную Седых

ведет от Аверченко и Тэффи. Тот же зоркий ко всему смешному глаз, острая подача сюжета и лиризм, к которому уместен эпиграф, — «все суета сует и суета всяческая».

Лучшим в отчетной книге мне представляется рассказ «В недрах Авраама». Это «американский» рассказ о русском присяжном поверенном Николае Александровиче, прах которого по необычайному стечению обстоятельств неожиданно оказался развеянным возле ипподрома Джамейки. Для прозы Седых — рассказ типичен. В нем все черты его писательской манеры: легкая ирония над нашей эмигрантской повседневностью, в которой в то же время показано присутствие чего-то «страшноватого». Кажется, Герцен сказал: «эмиграция — страшная вещь». Вот эта «страшность» эмиграции и живет неизменно в юморе рассказов Седых. Та же тема и в другом «американском» рассказе «Take it easy»: о жизни середняка-эмигранта Алексея Колесова: всё как будто ничего и даже весело, а под конец всё-таки страшновато. Хочется отметить меткий язык автора. Но тут же — объективности ради — надо сказать, что и в этом языке не обошлось без описок и порой досадных. Так, например, «переходить вброд солончаки» никак невозможно. А в другом месте автор явно спутал сурик с охрой: охра краска желтая и красить губы ей неподходяще. Но у кого не бывает описок? Давним утешением писателям служит знаменитое лермонтовское «Терек прыгает, как львица, с косматой гривой на хребте» (как известно львица тем и отличается от льва, что у нее нет этой самой «косматой гривы на хребте»).

В целом «Только о людях» талантливая книга, которая прочтется каждым с удовольствием и не без лирической грусти. *Р. Гуль*

Л. А. КОВАРСКАЯ. Русские писатели. От Ломоносова до Чехова. Двадцать пять биографий для юношества с портретами писателей. 4-е дополн. издание. Нью Йорк. 1955. Printed by Rausen Bros.

Эта книга, предназначенная как для русского юношества, так и для иностранцев, желающих ознакомиться с биографиями русских писателей, вполне достигает своей цели. В ней даны краткие биографии Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Тютчева, Гончарова, А. К. Толстого, Некрасова, Кольцова, Никитина, Островского, Салтыкова-Щедрина, Короленко и Чехова. К каждой биографии приложен хорошо выполненный портрет писателя. Книга написана хорошим русским языком и читается легко и с интересом. К достоинству очерков о писателях надо отнести, что наряду с биографическими

данными в них умело вставлены отрывки из произведений, так что несмотря на краткость очерков у читателя составляется представление и о творчестве данного писателя. Лучшими в книге нам представляются очерки о Державине, Ломоносове и Карамзине. Жалко, что очерк о Достоевском чрезмерно краток (всего 6 стр.), в нем не упомянуты даже такие произведения, как «Бесы» и «Идиот». Жаль, что отсутствуют очерки о Боратынском, Батюшкове, Фете. Думается также, что очерк о Герцене был бы более оправдан в этой книге, чем очерк о Белинском: ведь книга говорит о русской поэзии и художественной прозе. Хотелось бы, чтоб при следующем издании книги автор расширил ее биографиями этих писателей. Общее впечатление от книги очень хорошее. Издана книга прекрасно. *Р. Гуль*

АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ. «*Новолунье*». Вторая книга стихов. Издательство «Рифма». Париж. 1955.

Стихи этого сборника легкие, звенящие, пронизанные голубоватым туманом «новолунья». Полутона, полунамеки. Нет резких контуров. Всё скользит, переливается. И всё в движении. Остановиться и углубиться в скользящее некогда. В этом печать современности, вызывающей тихий вздох автора: «Время, Господи, останови». О себе, о своем личном сказано мало. Оно запрятано глубоко, заставлено вещами: «сундуком, надевшим зеленый плед», «перчаткой, берегущей чье-то тепло». Боль есть, но она не о себе. Она о бабе, потерявшей сына, о разбившемся летчике, о том, что

«Человеком меньше стало,
Что-ж людей не перечесть».

или в горьком упреке родине:

«Сколько лет, сколько лет прошло,
Ты меня разлюбить успела!»

Есть удачи ритмические: резко обрывающиеся строчки в стихотворении: «День светил, маргаритка цвела», протяжное: «Ходит, ходит старый поп и всё крестится». Есть и чисто злободневное: о летающем блюдечке, о портном, но эти стихи никак не из лучших. Запоминаются отдельные образы: «Крестиком расшита русская душа», «В незабудке — уголок небес». *Ек. Таубер*

ИСПРАВЛЕНИЯ

Отмечаем в кн. 40 «Н. Ж.» необходимые исправления. На стр. 279-й, в 15-й строке сверху, должно быть: «литературных произведений». На стр. 284-й, в 8-й строке снизу, должно быть: «в барстве зачатая интеллигенция». *РЕД.*

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕНИ ЧЕХОВА

Ю. ЕЛАГИН. *Темный гений. Всеволод Мейерхольд.* Нью Йорк. 1955.
ТОРНТОН УАЙЛЬДЕР. *Мост короля Людовика Святого.* Нью Йорк. 1955.
Г. ДАНИЛЕВСКИЙ. *Сожженная Москва.* Нью Йорк. 1955.
В. НАБОКОВ. *Другие берега.* Нью Йорк. 1955.
В. ЧЕРЧИЛЬ. *Сумерки войны. Вторая мировая война.* Нью Йорк. 1955.
Н. АЛЕКСЕЕВ. *Идея государства.* Н. И. 1955.
О. ХАНДЛИН. *Вырванные с корнем.* Н. И. 1955.
Е. ЗАМЯТИН. *Лица.* И. И. 1955.

БОРИС ОЛЬШАНСКИЙ. *Мы приходим с Востока.* Изд. «Наша Страна», Буэнос Айрес. 1954.
К. МОЧУЛЬСКИЙ. *Андрей Белый.* Издательство YMCA-Press. Париж. 1955.
LEONARD SCHAPIRO, *The Origins of The Communist Autocracy.* Political Opposition in The Soviet State: First Phase, 1917-1922. Harvard University Press, 1955.
IRON CURTAIN. *Sketches by Alexander Romanovsky.* Sydney. 1955.
Баронесса Л. С. ВРАНГЕЛЬ. *Семья Раевских.* Образы минувшего века. Париж. 1955.
Проф. А. Д. БИЛИМОВИЧ. *Кооперация в России до, во время и после большевиков.* Франкфурт. 1955.
ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР. *Плечо с плечом.* Стихи. Изд. «Рифма». Париж. 1955.
ПАВЛО МАЛЯР. *Хліб.* Повесть. Видавництво «Прометей». Детройт. 1954.
МЫ ОБВИНЯЕМ. *Преступления советской власти (1917-54).* Изд. Центра Объедин. Послевоенных эмигрантов из СССР. Берлин. 1954.
ВЕНИАМИН ЛЕВИН. *Лик сокровенный.* Изд. «Гриф». Нью Йорк. 1955.
UKRAINIAN NATIONALISM (1939-45). *By John A. Armstrong.* Columbia University Press. New York. 1955.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

продается в Бразилии в магазине «Книга»

Livraria «Kniga»

rua Sao-Banto, 217, I andar Sala 124
Sao-Paulo, Brasil

Цена 40 крузейро

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,

of the East European Fund, Inc.

New York, N. Y., U. S. A.

КНИГИ ИЗВЕСТНЫХ АМЕРИКАНСКИХ АВТОРОВ
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ:

В долл.

ВИЛЛА КАТЭР — Моя Антония. Роман, 306 стр. 2.50

Американская писательница Вилла Катэр мало известна русскому читателю. Ее роман «Моя Антония» рисует жизненный путь тех европейских переселенцев, которые в молодом государстве — в Соединенных Штатах — создавали будущее новой нации. Проникнутая жизненной правдой и любовью к человеку, книга Виллы Катэр поможет русскому читателю познать духовный облик Америки.

СТИВЕН КРЕЙН — Алый шеврон мужества. 219 стр. .. 1.75

«К нему прикоснулась великая смерть. Он видел ее, смотрел ей в глаза и понял, что это была великая смерть. И теперь он стал человеком». В этих коротких словах выражен основной смысл книги «Алый шеврон мужества» — психологическая повесть, показывающая, как молодой новобранец, пошедший на войну добровольцем, превращается в зрелого и мужественного человека. Эпизоды из гражданской войны в Соединенных Штатах составляют фабулу произведения.

КОНРАД РИХТЕР — Дебри. Роман, 264 стр. 2.25

«Дебри» — величественная эпопея, посвященная жизни ранних колонистов и их борьбе с лесными просторами, покрывавшими американский материк. Просто и правдиво изображена суровая жизнь многочисленной семьи Локеттов в глуши чужого им Охайо. «Дебри» проникнуты мужественным лиризмом и глубокой человечностью. И суровые и задушевные страницы романа, имевшего в Америке большой успех, написаны с одинаковым мастерством.

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — Мост короля Людовика Святого. 156 стр. 1.75

«Мост короля Людовика Святого», овеянное лирической грустью повествование о перекрещивающихся между собой судьбах нескольких людей, погибших на разорвавшемся и упавшем в бездну мосту. Действие романа, получившего премию Пулитцера, происходит в Перу, в те далекие времена, когда Южная Америка была владением испанского короля.

Эти книги, как и многие другие, самого разнообразного содержания, можно получить в русских книжных магазинах.

Printed by Rausen Bros., 142 E. 32nd Street, N. Y. C.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

КНИГА 38-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. *П. Ершов* — Нинель. *В. Набоков* — Другие берега. *СТИХИ: Георгий Иванов* — Дневник. Стихи А. Величковского, И. Одоевцевой. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. Гофман* — Клевета о Достоевском. *В. Марков* — Мысли о русском футуризме. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Неведомская* — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой. *Е. Брешковская* — 1917-й год. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Тыркова* — Ф. И. Родичев. *Е. Кускова* — Трагедия М. Горького. *Б. Вышеславцев* — Ответ моим критикам. *М. Карпович* — Комментарии. *БИБЛИОГРАФИЯ: М. Карпович* — Our Secret Allies: The Peoples of Russia by E. Lyons. *Н. Тимашев* — Soviet Law and Soviet Society by C. Guins. *Роман Гуль* — Н. Клюев. Полное собрание сочинений. *М. Коряков* — The Five Seasons by Karl Eska. *В. Коварская* — Russian Icons, Introduction by Ph. Schweinfurth. *Ю. Мак Лейн* — Soviet Russian Literature by G. Struve. *Ю. Сазонова* — М. Осоргин. Письма о незначительном.

КНИГА 39-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. *Игорь Гузенко* — Падение титана. *Петр Ершов* — Нинель. *Алексей Ремизов* — Тонь ночи. *СТИХИ:* Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, М. Толстой, И. Лехкой, А. Величковского, Ю. Одарченко. *С. Маковский* — К стихотворениям М. Волошина. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов* — Застигнутый ночью. *С. Тарасов* — Возможный автор «Слова о полку Игореве». *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Л. Дадина* — М. Волошин в Коктебеле. *Е. Каннак* — С. Ковалевская и М. Ковалевский. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов* — Выдумки о ранней революционности Ленина. *Д. Иванцов* — Агрономы на производстве. *М. Вишняк* — О Вышинском. *Б. Двинов* — Пораженчество и власовцы. *М. Карпович* — Комментарии. *БИБЛИОГРАФИЯ: М. Гофман* — По поводу академического издания сочинений Пушкина. *Петр Ершов* — Б. Зайцев. Чехов. *С. Юрасов* — И. Одоевцева. Оставь надежду навсегда. *Глеб Глинка* — Еп. Иоанн Сан-Франциский. Время веры. *Г. Забежинский* — Л. Алексеева. Лесное солнце. *А. Гольденвейзер* — А. Марголин. Основы государственного устройства США. *Г. Аронсон* — Глеб Глинка. На перевале. *Вера Коварская* — J. Croisé. Sortie de secours. *М. Карпович* — Марк Вишняк. Дань прошлому. *Мих. Коряков* — А. Ренников. Минувшие дни.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1955-м году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 40 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня